Семен Болдырев

ПР

Трижды приговоренный





Издательство
ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
Москва
1968



СЕРИЯ • ПЛАМЕННЫЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ •

ПР

Сергей
Болдырев

ТРИЖДЫ ПРИГОВОРЕННЫЙ...

ПОВЕСТЬ
О ГЕОРГИИ ДИМИТРОВЕ

3КИ(092)
Б79

Книга Сергея Болдырева «Трижды приговоренный» выходит в серии «Пламенные революционеры». Она раскрывает историю человека, давно ставшего легендой, воссоздает обаятельный образ Георгия Димитрова — выдающегося борца за счастье народов всего мира.

Основа повести — самые насыщенные годы жизни и борьбы героя. Читатели побывают с ним в родной для него Болгарии и в молодой Советской России, увидят его в угольном забое среди шахтеров и в опасном подполье, на трибуне парламента и в зале фашистского суда — на поединке с Герингом. Эта единственная в своем роде схватка позволила писателю показать непреоборимую силу коммуниста, который стал победителем на Лейпцигском процессе, из подсудимого превратился в судью фашизма.

Автор описывает встречи Г. М. Димитрова с В. И. Лениным, рассказывает о дружбе с Д. Благоевым. Значительное место в книге занимает образ болгарской Ниловны — матери Г. М. Димитрова. Она потеряла трех сыновей, но сохранила высокое мужество и верность своему материнскому и гражданскому долгу.

Повесть адресована массовому читателю.

1—3—3
147—67

От автора

Передо мной стояла сложная, но и увлекательная задача: написать документальную повесть об удивительной, героической жизни — не историческое исследование и не биографию, а своеобразное художественное произведение, в котором нельзя выдумывать ни сюжетных ходов, ни событий личной жизни героя. Прежде чем я осмелился взяться за перо, мне пришлось разыскать в Москве и в Софии людей, знавших моего героя, прочесть его книги и исследования о нем...

Я долго бродил по Софии, пытаясь представить себе молодого Димитрова. Заглядывал в тихий дворик, в котором и сейчас еще растет старая виноградная лоза и где когда-то каждый вечер с трепетом ждала мать своего самого старшего, не склонявшего головы перед врагами, сына. В глубокой тени деревьев ночного сквера на Ополченской, у заветной скамейки под платаном, слышались мне неторопливые шаги Димитрова и его верной Любы...

Сама судьба этого человека помогала мне строить сюжет, ибо что может быть драматичнее, например,

сражения Димитрова на Лейпцигском процессе с главарями фашистской Германии, и что может быть героичнее его победы в этой битве, за которой тогда следил весь мир!

Но нельзя в одной повести рассказать о всей неповторимой жизни, о судьбе человеческой, связанной с судьбами многих людей. Да я никогда и не взялся бы за столь непосильное дело. Я отобрал для повести лишь те важные и значительные события, которые, переплетаясь с коллизиями личной жизни, как мне казалось, позволяли изобразить формирование характера Георгия Димитрова — бесстрашного борца международного коммунистического и рабочего движения, патриота своей родной Болгарии, и показать присущую ему прозорливость, заставлявшую его утверждать, что для болгарского народа «дружба с Советским Союзом так же жизненно необходима, как солнце и воздух для всякого живого существа».

Несомненно, можно написать еще не одну повесть и не один роман, посвященные Георгию Димитрову, о котором секретарь Болгарской коммунистической партии и Председатель Совета Министров Народной Республики Болгарии Тодор Живков говорил:

«Великий пример Георгия Димитрова живет и поныне в наших сердцах».

Моя книга — лишь частица эпопеи об этом человеке и его делах.

Часть первая

I

Люба встала рано, надо было успеть приготовить завтрак для Георгия. Выглянув из калитки на сонную еще улочку рабочего предместья,— теперь приходилось часто посматривать за ворота, чтобы узнать, следят ли за их домом,— она увидела шагавших посреди мостовой, взявшихся за руки девушку в дешевом платьице и высокого парня. Они, наверное, возвращались после ночной прогулки. Осень в Софии стоит долгая и теплая. По вечерам темнота городских скверов полна приглушенного смеха: не поймешь осень то или весна. И эта осень 1914 года была такой же долгой и теплой и так же бродили по ночным паркам и затихшим улицам спящего города молодые люди и, останавливаясь, близко заглядывали в глаза друг друга. И вот так же возвращались домой под утро...

Люба долго смотрела вслед молодым людям, погруженная в свои мысли. Ей вспомнилось, как и она сама и Георгий неторопливо прогуливались в ночном сумраке сквера у потемневшего от времени мрачноватого храма святого Николы, неподалеку от их дома, и возвращались с рассветом. Под густой листвой

деревьев на одной из дорожек сквера стояла давно знакомая скамейка. Теперь они редко приходили туда, к своей скамейке. То, чем полнилась для них наступившая осень, было, может быть, самым трудным и самым сложным со дня их встречи восемь лет назад, и они уже не часто вспоминали о своей скамейке. Люба подумала о том будущем разговоре с Георгием, которого не избежать и о котором он, наверно, и не подозревает. Прибавится горечи и сложности в их жизни, и так полной тревог. Свое, личное, что кажется таким маленьким и что так глубоко запрятано в душе, без спросу вмешивается в жизнь людей, и тогда жить и работать становится во много раз труднее. Особенно сейчас, в эту осень рокового четырнадцатого года...

После завтрака, как и всегда, Люба пошла с мужем до ворот. В дворике с раскидистым тутовым деревом, старой виноградной лозой и густым кустарником вдоль заборов было тихо. Младшие сестра и брат Георгия — Еленка и Тодорчо — ушли уже в школу. Только их мать, Параскева, сухонькая, в платке, туго повязанном вокруг головы, хлопотала возле таза с бельем и ласково кивнула Георгию и Любе, когда они проходили мимо.

У калитки они остановились. Откинутые со лба пряди волос обрамляли полное жизни и силы лицо Георгия. Наклонившись, он хотел поцеловать Любу. Она отстранилась, боясь нескромных взглядов прохожих, но все-таки на мгновение ощутила прикосновение шелковистой бороды и теплоту его губ.

Она долго смотрела вслед мужу. По его походке она привыкла различать владевшее им настроение. Георгий шел стремительным размашистым шагом. Не видя его лица, Люба знала, что глаза его светятся радостью. «Работать, работать!» — вот что было сей-

час в его душе. Да и те, кто шагал по улице — и рядом, и впереди, и позади него,— тоже чему-то радовались. Похоже было, что весь рабочий люд в это раннее утро покидал свои дома с таким чувством, точно каждого за углом стерегло само Счастье. Они все валом валили лишь бы поскорее добраться к нему. А ведь их ждет трудная и не всегда приятная работа, за которую после двух только что оконченных балканских войн платят гроши. И каждый из них будет гнуть спину до вечера и вернется домой усталой, неверной походкой, с измученным лицом и затуманенным взглядом. Так будет в конце дня. Но утром все они полны радости, точно раннее солнце, и синие тени от домов, и порывы свежего ветра с близких каменистых гребней Витоши обещают избавление от тягот жизни. Уж так устроен человек: как ему ни тяжело, в нем никогда не умирает ожидание света и радости, если ему дано трудиться.

Люба притворила калитку и направилась к дому, раздумывая о том же своем: замечает ли Георгий, как ей трудно?..

II

Георгий быстро шагал, сжимая под мышкой туго набитый письмами рабочих портфель. Сегодня ночью он все-таки успел написать ответы многим. Он направлялся к центру города, неподалеку от которого в узкой улочке Кирилла и Мефодия помещался клуб партии. Это был двухэтажный дом во дворе с редкими акациями. В нижнем этаже располагался небольшой зал, а наверху — рабочие комнаты.

Шагая через две ступеньки по гулкой и скрипучей деревянной лестнице, Георгий поднялся в комнатку

канцелярии рабочего синдикального союза. Весь центральный аппарат профсоюза, не раз повергавший в гнев полицию, директоров и управляющих государственных и частных компаний и промышленных предприятий, состоял... из одного человека. Георгий совмещал в своем лице и руководителя союза — секретаря-кассира, и делопроизводителя, и писаря.

Раскладывая на столе свои бумаги, Георгий как-то вдруг понял, что все время, пока шел сюда по улице и раздумывал о письмах рабочих и о том, как хорошо работается в утренние часы, он в то же время каким-то вторым сознанием непрестанно и тревожно думал о Любе. Работа дома с письмами помогла ему на время скрыть свое беспокойство. Люба не должна догадываться, что он знает всю правду о ее болезни. Пусть у нее будет такое чувство, что он не видит ее состояния. Так ей будет лучше, она не станет волноваться еще и за него. Но что же дальше?..

Беспокойство не оставляло Георгия, и ему пришлось напряжением воли заставить себя взяться за дело. Он постоянно вел переписку с местными синдикальными союзами во многих городах и с рабочими активистами. Часть писем он вчера захватил домой. Но многие надо было еще прочесть и выбрать из них факты, которые помогли бы разоблачить подготовку правительства к войне. Навалившись грудью на стол, Георгий вчитывался в письма.

В Бургасе докеры не могут прокормить свои семьи... Во многих городах пробная мобилизация, объявленная правительством, оставила женщин и детей без кормильцев... В Русе, на Дунае, женщины бунтуют против голода и дороговизны... Табачники Ксанти не имеют жилья, зарплата нищенская...

Георгий плотнее сжимал губы, сводил в сплошную линию густые брови, изредка покачивал голо-

вой. Он хорошо знал почти всех, кто писал ему. Бывал — и не раз — на юге страны, в черноморских портах Варне и Бургасе, на Дунае, в Русе, и во многих других городах и местечках Болгарии. В этих поездках по стране ему доводилось близко заглядывать в скорбное лицо горя людского, затопившего страну после Балканской войны. В двенадцатом году монархии Болгарии, Греции, Сербии и Черногории начали войну против полуфеодального турецкого государства. Но уже летом 1913 года, когда началась дележка освобожденных от турецкого владычества территорий, недавние союзники набросились друг на друга, и опять полилась кровь народная.

Две Балканские войны отняли кормильцев у неисчислимого количества крестьянских и рабочих семей. В первой погиб и брат Георгия Костадин, с тех пор мать надела на голову черный платок и уже не снимала его, а отец, не пережив горя, через год умер. Вторая война принесла новые людские жертвы. Вдобавок Болгария лишилась части освобожденных турецких владений. Это была национальная катастрофа, и письма рабочих по-своему рассказывали о ней. Кто остался без крова, у кого не вернулись с войны сыновья, и мать их от горя потеряла рассудок. Иные должны были бросить ветхие хижины в деревне и, перебиваясь по чужим углам в городе, как это было когда-то и с семьей самого Георгия, искать грошовый заработок на случайных или тяжелых работах в рудниках и шахтах, чтобы только не умереть от голода...

С лестницы послышались глуховатые удары: так могла стучать по деревянным ступенькам лишь палка Деда, на которую он опирался, взбираясь наверх. Георгий встал, открыл дверь и поклонился седобородому старику в темной широкополой шляпе, поднимавшемуся по лестнице. Грузный высокий Благоев —

Дед, как его, ветерана и организатора партии, почтительно называли, пожал руку Георгия. Пожатие его было сильным, зто был еще крепкий человек. Он опустился на стул и, сняв потертую шляпу и пригладив длинные пепельно-седые волосы, окинул взглядом из-под отяжелевших век стол, заваленный письмами и бумагами, и одобрительно, по болгарскому обычаю из стороны в сторону, покачал головой.

— Отвечаю на письма, ищу в них факты для обвинения нашей «самой патриотической»,— Георгий усмехнулся, произнося эти слова,— «самой патриотической» буржуазии.

— Да, нам придется еще крепко повоевать против войны,— сказал Дед, приглаживая свою патриархальную бороду.— Придется повоевать, и не только с нашей буржуазией и нашими оппортунистами...

Он замолк и опустил глаза, устало покачивая большой седой головой.

Георгий настороженно смотрел на Деда, ожидая вопросов. Но Дед молчал. Его изможденное, изрезанное крупными морщинами лицо с высоким и широким, нависшим над глазницами лбом выглядело усталым и болезненным. Было ясно, какой смысл вкладывал Дед в сказанные им слова: «...не только с нашей буржуазией и нашими оппортунистами». Георгий хорошо помнил, каким потрясением было для старика недавнее письмо Плеханова, полученное через несколько месяцев после начала войны в Европе, когда и без того у всех было тяжко и смутно на душе. Плеханов писал, что в случае поражения России в войне с Германией затормозится наступление революции на востоке Европы и призывал социалистов «во имя революции» стать на сторону Антанты против Тройственного союза. Это означало защиту русского царизма и участие в войне.

Плеханов знал, кому посылает письмо: Дед со студенческих лет, проведенных в России, учился по его статьям, использовал их в своих работах о марксизме. Велико было уважение Деда к учителю: прочтя однажды книгу «Что делать?», подписанную «Ленин», он решил, что незнакомое ему имя автора — это псевдоним Плеханова. Под влиянием «Что делать?» Дед написал свою работу «Оппортунизм или социализм» и использовал из книги определение об одинаковом социально-политическом содержании международного оппортунизма, радуясь тому, как метко и глубоко Плеханов вскрывает сущность и болгарского оппортунизма. В те годы и Георгий тоже читал по ночам «Что делать?» — книгу, странным образом повторяющую заглавие давно полюбившегося романа Чернышевского, и всей душой принимал ее боевой, наступательный тон. Эта книга помогла ему, типографскому рабочему, только что вступившему в социал-демократическую партию, осознать смысл внутрипартийной борьбы и отдать свои политические симпатии тем, кто шел за Благоевым и называл себя «тесными» социалистами в противоположность «широким» — оппортунистам в партии. Через год пятьдесят «тесных» в софийской партийной организации, в том числе и Георгий, откололись от «широких» и создали свою, марксистскую партию. Лишь позднее Георгий узнал, кто такой Ленин, и выяснил, что книга, которую читал от зари до зари при свете керосиновой коптилки, была лишь второй работой, подписанной именем, незнакомым тогда в Болгарии. Но в первые годы нового века никто из них не мог себе представить более начитанного и последовательного марксиста, чем Плеханов. И вдруг в начале войны — это письмо Плеханова, лично Благоеву, с расчетом на публикацию в Болгарии.

Дед нашел в себе мужество публично возразить своему учителю, и ответ этот был встречен в партии с одобрением. Но самому Деду крушение его политического и гражданского идеала, каким был для него Плеханов, досталось дорогой ценой. Георгий замечал, как постарел Дед, как стал часто углубляться в себя. Но в Народном собрании, в сражениях с буржуазными депутатами и оппортунистами, он оставался все тем же непримиримым и беспощадным бойцом, каким его привыкли видеть в годы его молодости и зрелости. За это Георгий и любил старика и оберегал от ненужных волнений, часто принимая на себя в Народном собрании удары, предназначенные Деду. Георгий не боялся полемики и всегда выступал в защиту партийных решений от имени парламентской группы партии, которую возглавлял Благоев и секретарем которой был Георгий.

Теперь он смотрел на ввалившиеся щеки Деда, на его большие, усталые глаза и думал о том, какую трудную жизнь прожил старик, сколько души, ума, сердца отдал им всем. Георгию захотелось чем-то высказать Деду свое уважение, успокоить, поддержать.

— «Магистер диксит»,— сказал Георгий, вспомнив название статьи Деда в «Новом времени», написанной в ответ Плеханову, и тут же перевел латинские слова: — «Учитель говорит». Мы все помним и это название, и содержание твоего ответа,— продолжал он.— Ты был прав, когда писал, что история знает много примеров, обратных тому, о чем говорил Плеханов, и что поражения больших народов ведут к революции и поражению старого порядка. Да, так это было во Франции в тысяча восемьсот семидесятом году. И так было в России: после русско-японской войны вспыхнула революция пятого года...

— Мы подвергнемся еще и другим атакам за открытое сопротивление войне,— сказал Дед и тяжело вздохнул.— То, что ты делаешь,— Дед глазами указал на разложенные по столу письма,— очень важно, продолжай. Но я, Георгий, зашел по другому поводу. Хочу посоветоваться с тобой.— Дед неторопливо провел широкой рукой по своей бороде, и поднял на Георгия большие, спокойные и умные глаза.— В Софии появился один человек...— Он замолк, глядя на Георгия, словно подчеркивая паузой значительность того, что хотел сообщить.— Говорит, что собирается ехать к Ленину в Швейцарию, ждет письма.

Георгий, шумно подвинув стул, подсел ближе к Деду.

— Но это нам и нужно! Кто он?

Дед опустил глаза и молча легонько постукивал короткими пальцами по столу, словно решал сам с собой какую-то сложную задачу.

— Странный человек,— наконец сказал он.— Появился совсем недавно. Говорит, что бежал из русской тюрьмы, пробрался в Турцию, потом в одежде бродячего монаха тайно перешел турецко-болгарскую границу.

— Смело! — воскликнул Георгий.— Если все это правда, он мне уже заранее нравится.

Дед смотрел на Георгия своими спокойными глазами.

— Сейчас его устраивают на квартиру,— сказал Дед.— У рабочего военного арсенала Ефтима Бончева. Через несколько дней, когда отдохнет, приведут ко мне. Надо быть осторожными, чужие люди не должны знать о его связи с нами: и ему будет плохо, и против нас поднимут вой прежде всего «широкие». Я извещу тебя, когда он придет, поговорим с ним вместе.

— Русский большевик! — Георгий загорелся предстоящей встречей.— Сама судьба посылает его нам.

— Посмотрим. Послушаем, что он скажет. В наше время многие меняются, война портит людей, ты это знаешь.— Дед оперся о край стола, медленно поднялся, взял шляпу и палку.— Фамилия его Гурули. Я знаю некоторых русских, но это имя мне ничего не говорит, может быть, партийная кличка, а может быть... Впрочем, посмотрим.

III

Георгий проводил Деда вниз и опять взялся за письма. Он торопился, его могли еще не раз оторвать от дела, уж такое бойкое место здесь. Ни одно письмо не должно остаться без ответа — это было его всегдашним правилом.

Со двора в открытое окно послышался звонкий молодой голос:

— Георгий, я принесу чашечку кофе...

Он обернулся к окну и помахал рукой молоденькой, светловолосой девушке, отвечавшей ему тем же из окна с другой стороны двора.

— Зайди, Елена, есть дело,— с удовольствием подставляя свое бородатое лицо ветру и горячим лучам осеннего солнца, крикнул Георгий.

Почти каждое утро, если рабочий день Георгия начинался в канцелярии синдикального союза, они перекликались так через двор. Елена Кырклийская снимала в доме напротив клуба партии комнату. Года два назад она вернулась из Женевы после окончания медицинского факультета. В Швейцарии познакомилась с русскими политэмигрантами — большевиками.

Не было ничего удивительного, что на родине молодой врач не захотела искать богатых клиентов, ходила в семьи рабочих, стала лечить многих деятелей партии и профсоюзов. За это Елену прозвали «синдикальным врачом», хотя никакого жалованья от профсоюза она не получала.

Она следила и за здоровьем Любы. Это она, Елена, настояла на том, чтобы Люба оставила слишком измотавшую ее нервы работу в Центральной женской комиссии. Елена и Люба по-настоящему подружились. Георгий только радовался, что Елена стала частой гостьей в их доме: Любе было интересно с веселой, полной жизни девушкой, покорявшей тех, кто ее знал, искренней верой в добрые начала человеческой души и мягкостью характера, хотя там, где требовали интересы больного, она могла быть непреклонной и решительной.

По лестнице бойко простучали каблучки, и Елена появилась в комнатке канцелярии — высокая, с русой косой через плечо,— осторожно держа в руках дымящуюся чашечку черного кофе.

— Елена,— заговорил Георгий, отхлебывая с ложечки ароматный, обжигающий напиток,— я хотел еще раз поговорить с тобой о здоровье Любы...

Он пристально взглянул на девушку. Улыбка, до того светившаяся в ее глазах, угасла. Елена села напротив и, положив на край стола загорелую руку с округлым локтем, откинулась на спинку стула — спокойная и независимая.

— Слушаю тебя,— сказала она.

— Действительно ли так велика опасность? — начал Георгий и быстро, как бы перебивая самого себя, продолжал: — Я хочу спросить, можно ли ей вести хоть какую-то общественную деятельность, не обостряя болезни?

— Это серьезно, Георгий. Очень серьезно! — сказала Елена и строго посмотрела на Георгия.— Я щажу ее и не говорю ей всего, но ты должен знать, я тебе уже объясняла.

— Значит, только покой? — спросил Георгий, полоснув Елену горячим взглядом и отодвинув в сторону чашечку с недопитым кофе.— А не кажется ли тебе, что твоя наука...

— Моя наука утверждает,— решительно сказала Елена, не изменив своей спокойной позы,— надо прежде всего устранить то, что вызвало заболевание. Причиной расстройства нервной системы и сердечной деятельности была напряженная работа. Обыски полиции в доме, постоянные преследования, бандитские нападения на тебя, твои аресты — все это еще более усложняет болезнь.

— Елена, ты же ее подруга...— Георгий подошел к девушке.— Покой, бездействие для нее губительнее самых тяжелых волнений. Ты ведь знаешь Любу.

— Знаю,— Елена опустила глаза. Ее молодое лицо оставалось спокойным, только едва вздрагивали веки. Она убрала руку с края стола и положила ее на колени.

Георгий, сцепив сильные пальцы, негромко заговорил:

— Я хочу попросить ее сходить в союз швейников, с которыми она связана, и собрать нужные нам факты о положении работниц.— Он помолчал и добавил: — Ей хоть что-то надо делать.

Елена взглянула на Георгия, пораженная тем, что он заговорил совсем не так, как обычно,— мягко, задумчиво — и увидела в его освещенных сбоку краешком солнечного луча, необыкновенно ярких, синевато-зеленых глазах набухшую влагу.

— Георгий,— тихо сказала она.

— Люба не сможет вынести покоя, который ты ей предписываешь,— с трудом произнес Георгий.— Я стараюсь не показывать ей, что понимаю ее состояние, но я же вижу...

Они долго молчали.

— Эти твои задания...— сказала Елена, и болезненная морщинка рассекла ее чистый лоб.— Может быть, она станет выполнять их только потому, что готова все сделать для тебя?

— Нет, Елена,— с живостью воскликнул Георгий,— оказывается, ты ее совсем не знаешь. Ей трудно жить без дела...

— Георгий, я знаю ее.— Елена подняла глаза и, открыто глядя на него, продолжала: — Она готова пожертвовать для тебя всем, даже здоровьем.

— Ты все-таки плохо ее знаешь.

— Я допускаю, что твои задания тоже важны для ее нормального самочувствия. Но это уже за границами моих знаний, моего опыта, здесь я не могу давать рекомендаций и советов. Тебе надо посоветоваться с более опытными врачами.

— С кем? — резко спросил Георгий, и глаза его недобро блеснули.

— Могу назвать тебе имена,— суховато сказала Елена, точно не замечая ни его тона, ни взгляда.— Могу сама пригласить...

— Врачей, которые лечат городскую знать? — почти крикнул Георгий.— И я должен буду рассказывать этим людям о наших партийных делах? Убеждать их, что Люба не может жить без партии.

— Но чего же ты хочешь от меня? — спросила Елена, вставая.

Георгий подошел к ней и, глядя в ее свежее, чистое лицо, которое теряло свой естественный нежный

оттенок и темнело от румянца, пробивавшегося сквозь летний загар, сказал:

— Не надо быть слишком опытным врачом, чтобы посоветовать. Ты часто видишь ее и можешь наблюдать, что с ней происходит.

— Но пойми, Георгий, ответственность слишком велика.

Он с горечью усмехнулся, покачивая головой, не соглашаясь с ней.

— Если бы ты хоть немного любила меня,— сказал Георгий,— как сестра...— добавил он.

Елена молча взяла со стола чашечку с недопитым кофе и вышла из комнаты. На середине лестницы стук ее каблучков замер. Георгий быстро открыл дверь. Елена стояла, прислонившись к стене.

— Что с тобой? — спросил Георгий.

Словно очнувшись, она сбежала вниз. Георгий, перепрыгивая через несколько ступенек, настиг ее у выхода и загородил дорогу.

— Совсем не хотел тебя обидеть,— сказал он.— Как это получилось...

— Я просто неважно себя чувствую сегодня,— пробормотала Елена.— Извини!..

Она быстро пошла к себе. Георгий, глядя ей вслед, пожал плечами. Потом поднялся в канцелярию и снова углубился в работу.

Вечером Георгий повел Любу в парк около храма святого Николы. «Он вспомнил о нашей скамейке,— думала Люба, стараясь в темноте угадать выражение его лица.— Он хочет что-то сказать?.. Может быть, и для меня самый подходящий случай?..»

В сумраке на их скамейке под деревом сидели двое, тесно прижавшись друг к другу.

— Это наша скамейка,— требовательно сказал Георгий, останавливаясь под платаном.

Молодые люди засмеялись и, вскочив, убежали прочь.

— Зачем ты? — с запозданием тихо воскликнула Люба.

Они опустились на освободившееся место. Люба сидела молчаливая, неподвижная, точно вслушивалась в робкий шелест листвы. Георгий порывисто привлек ее.

— Милая Люба, я все помню,— шептал он, пряча свое бородатое лицо в ее мягких волосах.— Все, что было восемь лет назад... Моя Люба...

Закрыв глаза, она стала перебирать длинные пряди его волос. Пальцы ее замерли, и рука безвольно скользнула на его плечо.

— О чем ты? — спросил Георгий, отстраняясь от нее и заглядывая в ее скрытое мраком лицо, на котором едва угадывались темные глазницы.

— А они...— внезапно сказала Люба, точно очнувшись от какого-то забытья,— те, что сидели здесь на нашем месте,— они поймут, что война никому не принесет счастья?

— Поймут! — сказал Георгий.— Мы никогда не сложим рук. Не смиримся, даже если правители Болгарии ввяжутся в чужую войну.— Он ударил кулаком по колену.— Надо работать, работать!

— Да...— сказала Люба.— Как много значения в твоих словах! Именно сейчас,— добавила она.— Мне кажется, что я не делаю того, что должна делать...

— Но ведь не ты сама, а врачи заставили тебя на время уйти от дел в Центральной женской комиссии.

— Ах, разве я говорю о здоровье или нездоровье?

— Ты делаешь то, что можешь.

— Наверное, я должна делать больше...

Георгию показалось, что Люба застыла в напряжении, словно внутренне отгородилась от него.

— Ну хорошо,— сказал он.— Сходи завтра в семьи работниц, узнай, как живут люди. Мы будем продолжать борьбу против войны, а для этого нужны факты.

— Георгий, как мне было бы трудно без тебя! — с неожиданным порывом воскликнула она.

Они поднялись и пошли по темной дорожке сквера. Георгий взял руки Любы, согревая их теплом своих ладоней. «Разве она сможет оставаться без дела? — думал он.— Как же нам быть?.. Но посмотрим, что будет дальше,— тут же с надеждой сказал он самому себе.— Посмотрим!»

Они возвращались домой поздно, неторопливо шагая по улочкам рабочей окраины с одноэтажными домишками, как случалось в то время, когда были моложе и не хотели расставаться с теплой ночью...

Я пришел в сквер у храма святого Николы спустя более полувека после событий, которыми начинается эта книга. Стены храма совсем потемнели, и жизнь в нем замерла. А деревья, как свидетельствуют старожилы, неузнаваемо разрослись. Но и в то время платан в глубине сквера у боковой дорожки был уже с густой листвою. Под ним и сейчас стоит скамейка — та ли, кто знает.

Никакой оградой сквер не отделен от улицы Ополченской. Неподалеку можно найти одноэтажный домик, в котором вырос Георгий и жил вместе со своей Любой и родными. Только теперь в доме никто не живет, а на стене, выходящей на улицу, укреплена мраморная доска с барельефом и мемориальной надписью, говорящей о том, что здесь с 1888 по 1923 год жил и работал Георгий Димитров.

В дворик, у ворот которого день и ночь несут почетную вахту милиционеры, часто входят и взрослые, и дети. Иногда в руках у ребят лопаты и кусты роз, завернутые в газеты. Я слышал, как, построившись в дворике, пионеры хором произносили торжественное обещание. Потом они посадили вдоль забора розовые кусты.

В глубине дворика у подгнившего забора растет почерневшая от времени виноградная лоза. Никогда не приходилось встречать такой; у корня она толщиной с большое дерево. Мне подумалось: много разного видела на своем веку в этом дворике старая виноградная лоза, пережившая посадивших ее людей...

IV

На другой день Георгию передали записку от Деда с приглашением зайти. «Будет гость...» — приписал Дед в конце своим неровным старческим почерком.

Вечером Георгий ушел к Деду, а Люба отправилась в семьи работниц.

В передней небольшой квартирки Георгия встретили хозяин и, видимо, только что вошедший сюда давний друг Деда, секретарь ЦК Кирков — Мастер, как он подписывался под своими юмористическими рассказами,— спокойный, в пенсне, с мирной острой бородкой и откинутыми с высокого лба назад длинными прядями волос. Георгий знал его еще с тех пор, когда был рабочим, активистом профсоюза печатников. Мастер давно угадывал в нем рабочего вожака и умно, тактично и незаметно помогал найти себя.

— Здесь? — спросил Кирков у Деда, указывая глазами на дверь комнаты.

— У меня,— сказал Дед, никак не выражая своего отношения к тому, ради кого они сегодня собрались.

Особенное доброжелательное внимание угадывалось на лице Киркова, когда они все трое вошли в комнату, заваленную книгами. Книги были и на полках вдоль стен, и на столе, и на подоконниках. Незнакомец оказался невысоким, бородатым, с болезненно-худощавым лицом, на котором выделялись полные жизни, подведенные синевой темные глаза. Чем-то он напоминал болгарина. Был он не русским, а грузином, но по-русски говорил хорошо, так же как и Дед. Спокойно расположившись в глубоком кресле, Благоев поглаживал бороду, расспрашивал гостя о том, как ему удалось бежать из России. Изредка он переводил Георгию — Кирков знал русский язык — непонятные русские слова и обороты речи.

Георгий с возрастающим интересом приглядывался к гостю. Казалось странным, что этот небольшой и с виду хрупкий человек весь насыщен скрытой, словно электрической энергией. Говорит сдержанно, рассказывает только то, что уже знают о нем, но взгляд его жгуч, скупые жесты резки и стремительны. Он бежал из русской тюрьмы, добрался до Одессы, а оттуда нелегально на небольшом пароходе проник в Турцию.

Неожиданно прервав свой рассказ, он спросил, указывая взглядом на книжную полку:

— Давно ли тут покоится Маркс? В этой книжной обители?

И прямо, неуступчиво, как показалось Георгию, посмотрел на Деда.

Дед не торопился отвечать. Он тяжело завозился в кресле и, с силой опираясь на подлокотник широ-

кой рукой со вздувшимися венами, поднялся, подошел к полке. Вытащил том «Капитала». И, как бы взвешивая на ладони, сказал:

— Эта работа Маркса у меня с тысяча восемьсот восемьдесят третьего года, еще со времени моей жизни в России.

Гурули хмыкнул себе под нос, не отрывая от Деда пронизывающего взгляда.

— Вот уже тридцать один год со мной,— продолжал Дед.— В России я читал этот труд, и когда был арестован царскими жандармами, при обыске убедил их, что это,— Дед еще раз, как бы взвешивая, качнул ладонь с книгой,— учебник по экономическим вопросам. Потом в Болгарии по этому тому я перевел «Капитал» на наш язык.— Дед, спокойно смотря на гостя, потряс «Капиталом».— Книга по праву находится здесь.

Пока Дед водружал том на место, Мастер, видимо сразу понявший, что вопрос Гурули таит какой-то скрытый смысл, с живостью, мягко поблескивая глазами за стеклами пенсне, сказал:

— Когда в доме Благоевых был пожар, наш уважаемый хозяин сумел спасти от огня из всего своего имущества только эту книгу.

Гость выслушал все это, встал и, сунув руки в карманы, спокойно, будто за ним и не следили настороженные взгляды трех людей, прошел вдоль полок, присматриваясь к названиям книг. Потом опустился на свое место против Деда.

— Извините, если я вас обидел своей сдержанностью,— сказал он.— Я встречал людей, у которых Маркс стоит на полках не для того, чтобы переводить его и даже не для того, чтобы читать, а вроде привычной обстановки, которой уже не замечают и которую из-за ветхости того и гляди заменят другой.

Дед подтвердил:

— Да, в наше время это случается. Я понимаю и одобряю вашу настороженность: нам надо обоюдно выяснить наши политические позиции. Но мне кажется, мы можем говорить друг с другом прямо. Вы имеете в виду вождей немецких социал-демократов?

— Угадали,— сказал Гурули.— И некоторых русских, и некоторых болгарских...

— Вы уже знаете о позиции наших «широких» социалистов? — спросил Кирков.— Это хорошо. Ну, а вы сами? Как относитесь вы к войне, защите отечества, военным кредитам воюющих и пока еще не воюющих государств?

Гость повернулся к Киркову и ответил вопросом на вопрос:

— Как может относиться к войне и военным кредитам социал-демократ, большевик? Я подчеркиваю, российский социал-демократ, хотя я по национальности грузин,— воинственно, словно возражая кому-то, сказал гость.— Я люблю свой народ, свой язык, но в вопросах политики я — российский социал-демократ. Буду с вами откровенен.— Он остановился посреди комнаты, оглядывая всех.— Просто расскажу о себе, и тогда вам будет яснее, с кем вы имеете дело. Думаю, что откровенность между нами самое лучшее, неправда ли, товарищи?

— Верно,— сказал Георгий, поняв многие русские слова.

— Мы вас внимательно слушаем,— сказал Мастер.

Дед, одобрительно качнув головой, подтвердил:

— Да, так будет всего лучше.

Гость заговорил отрывисто, резковато. Неподвижный взгляд его был устремлен куда-то вниз. Лишь

однажды он поднял глаза, и Георгий заметил в них притаившуюся боль.

Его звали совсем не Гурули, настоящее его имя было Ной Буачидзе. Он, сын бедного грузинского крестьянина из Белогор на Кавказе, рано начал жизнь революционера. В декабре 1905 года, во время первой русской революции, боевая дружина Ноя захватила Сурамский туннель. Под сводами туннеля столкнули два паровоза и приостановили железнодорожное сообщение Тифлиса с Кутаисом, Батумом и Поти. На родине Буачидзе ненадолго возникла Квирильско-Белогорская республика. Поражение Декабрьского вооруженного восстания в Москве заставило боевую дружину Ноя спрятать оружие в горах. Буачидзе вместе со своим земляком и школьным товарищем Кикнадзе зимой перешел через Мамисонский перевал на северную часть Главного Кавказского хребта. Зимой дороги через перевал не было. Они пробивались по пояс в снегу. Так удалось избежать ареста и смертной казни за участие в восстании. Позднее Ной приехал в Москву под именем князя Абуладзе. Он не только скрывался от полиции кавказских городов, он искал в Москве встречи с большевиками. Кое с кем ему удалось связаться, но его выдал провокатор, и последовал арест. Несколько месяцев длился поединок со следователями. Царская охранка не могла установить настоящего имени «князя Абуладзе», и все-таки его сослали в Сибирь.

— Ты был в Сибири? — спросил Георгий, не замечая, что называет Буачидзе как давнего друга на «ты».— Мой брат тоже сослан русским царем в Сибирь.

— Куда? — спросил Ной.— Сибирь велика.

Георгий назвал Енисейскую губернию. Нет, там Буачидзе не был. Его сослали в глухое якутское

селение, откуда он бежал весной 1911 года, едва вскрылась Лена и вверх по реке пошли суда.

— Теперь ты, как брат мне,— сказал Георгий.— Может, и Никола бежит? — И тут же ответил сам себе: — Не удастся ему, с ним жена и дети, а главное, он болен. Тяжело болен...

Ной многое уже понимал по-болгарски, кое-что переводил ему Дед, иногда вставлял слово Кирков. Слушая Георгия, Ной ничего не отвечал. Дед, видимо, догадывался, что гость молчит не потому, что не понимает — просто не хочет расстраивать Георгия. И Георгий это тоже чувствовал, тяжкое горе сдавило его сердце.

— Да... Трудно в Сибири,— сказал Буачидзе,— особенно нам, южанам. Все считали, что мне конец. Я тоже так думал. Хочу, чтобы ты,— гость взглянул на Георгия,— знал правду о Сибири. Но с Николой, ты говоришь, жена... Она смелая женщина, если поехала с ним. Вдвоем лучше. Я знаю это, потому что был один...

Он отошел и опустился в кресло. Надолго замолчал. Георгий понял: что-то тяжелое у Ноя на душе.

V

Дед приблизился к гостю, пожал его руку, безвольно лежавшую на колене. Кирков, подперев щеку двумя пальцами, наблюдал за ним. Глубокая складка рассекала его высокий лоб.

— Нас роднят,— сказал Дед негромко,— общие судьбы. Нас везде одинаково преследуют, и мы не даем друг другу упасть. В этом наша сила. Не забывайте этого, друзья, даже в самые горькие минуты.

А сейчас я также хочу ответить откровенностью на ваш рассказ о себе, Гурули.

Благоев стал рассказывать о том, как он, еще юношей, уехал в Россию, сначала в Одессу, потом в Петроград, стал учиться в университете. Попал в среду революционно настроенных студентов, познакомился с работами Маркса и создал первую в России социал-демократическую группу. Организовали рабочие кружки для изучения марксизма на петроградских заводах, начали издание подпольной газеты «Рабочий». Это была первая попытка издания в России социал-демократической рабочей газеты. Царские власти арестовали его и выслали в Болгарию.

Когда Дед замолк, Кирков заметил:

— Позвольте мне дополнить нашего уважаемого хозяина. Вернувшись на родину из России, Благоев стал пропагандистом марксизма в Болгарии, а потом — создателем и организатором Болгарской социал-демократической партии.

Буачидзе одобрительно качнул головой.

Они помолчали.

— Вы спрашиваете меня о моем отношении к войне,— сказал Буачидзе. Он был спокоен, только едва заметная бледность выдавала пережитую им горечь воспоминаний.— Я никогда не скрывал своих убеждений на этот счет. Надвое делится дорогое понятие родины. Мы, большевики, требуем не войны одного народа против другого, а войны трудящегося класса против капиталистов. В Турции я сказал то же самое на собрании грузинской колонии в Самсуне. Грузинские националисты стремятся отторгнуть Грузию от России. Стоит ли удивляться, что они начали охоту за мной...

Во взгляде Буачидзе не осталось ни страдания, ни горечи.

«Боец,— думал Георгий,— настоящий смелый боец... Побольше бы и нам таких».

— И что же дальше? — с интересом спросил Мастер, сощурившись, пристально глядя на Буачидзе.

— Да что же!.. Кончилось тем, что я должен был облачиться в одежду странствующего монаха и дать тягу. Иначе вы никогда бы не увидели меня в этом уютном кабинете...

Буачидзе бросил взгляд на окружавшее его книжное царство.

— Понимаю,— сказал Дед, уловив этот взгляд гостя,— вы привыкли к иной обстановке борьбы.

— Вы могли бы выступить в газете «Работнически вестник»? — спросил Мастер.

Георгий ожидал, что гость сейчас разразится гневной тирадой в адрес грузинских и турецких националистов, скажет, что готов громить их на каждом шагу.

— Да,— сказал Буачидзе с неожиданной для Георгия сдержанностью.— Но прежде надо посоветоваться с Лениным. Национальный вопрос наиболее запутанный, особенно во время войны... Впрочем,— продолжал он,— кажется, времени будет достаточно. Недавно мне передали из Швейцарии, чтобы я пока оставался на Балканах. Болгария — самая удобная страна, отсюда можно путешествовать,— гость едва приметно лукаво усмехнулся,— и в Сербию, и в Грецию, и в Румынию.

«Вот как! — подумал Георгий.— Ну и молодец же ты, друг. И дисциплины в тебе так же много, как и огня».

— Это просьба Ленина? — осведомился Кирков.— Извините за прямой вопрос. Для нас он важен. Мы знаем, что Ленина арестовала австрийская полиция по нелепому обвинению в шпионаже в пользу Рос-

сии, а затем он был освобожден и выехал как будто в Швейцарию. Судя по вашим словам, это так?

Буачидзе утвердительно нагнул голову.

— Если вы знакомы с его статьями двенадцатого года,— сказал он,— вы знаете, как пристально следит наш драгоценный товарищ за тем, что делается на Балканах.

Георгий с интересом ждал, что ответит Дед напористому гостю. Георгий прекрасно помнил, что давно уже, с тех пор как стало ясно, что за именем Ленина скрывается не Плеханов, что Ленин — это совсем другой, самостоятельно мыслящий, боевой марксист, «тесные» социалисты искали в немецких и русских социал-демократических изданиях и газетах его статьи. Люба помогала Георгию переводить их. Транспорт в Россию, в Одессу, ленинской «Искры» и «Социал-демократа» шел через Болгарию. Это облегчало знакомство с работами Ленина. Их перепечатывали в партийной газете «Работнически вестник», по ним вели занятия в рабочих кружках. В Ленине «тесные» почувствовали решительную поддержку своему наступательному духу.

Дед, процеживая свою бороду между пальцами, сказал:

— Мы читали статьи Ленина в «Правде», в «Социал-демократе» и в немецкой социал-демократической печати. А его оценку нашей идеи федерации Балканских стран знаем отлично.— Дед повернулся к Георгию.— Дай мне, пожалуйста, газеты.— Он указал глазами на подоконник.— Я приготовил их к вашему приходу,— обратился он к Буачидзе,— понимал, что разговор будет серьезным.

Дед принял от Георгия пачку газет и, найдя нужный номер, прочел:

— Сознательные рабочие Балканских стран пер-

вые выдвинули лозунг последовательного демократического решения национального вопроса на Балканах. Этот лозунг: «федеративная балканская республика».— Дед взглянул на Буачидзе.— Так писал Ленин. Мы гордимся этой оценкой. Мы выдвинули идею федерации Балканских стран накануне первой Балканской войны двенадцатого года. Считаем, что и теперь только федерация может предотвратить братоубийственную войну балканских народов [1].

Буачидзе, до сих пор внимательно слушавший Деда, быстро сказал:

— В своей статье «Новая глава всемирной истории», из которой вы прочли отрывок, Ленин говорит о том, что слабость демократических классов привела к союзу монархий четырех Балканских государств. Даже такой союз, по его убеждению, великий шаг вперед, к разрушению феодальных отношений в турецких владениях на Балканах и остатков средневековья во всей Восточной Европе. Таков ход реальных исторических событий — хотим мы этого или не хотим. Но с точки зрения наших классовых интересов не правильнее ли было бы видеть наиболее полное разрешение национального вопроса на Балканах в результате демократической революции? Это, помоему, в конечном счете имеет в виду товарищ Ленин.

— Война повлечет за собой революции,— сказал Дед.— Вы знаете, я отвечал так Плеханову. Но то будут революции в крупных, развитых капиталистических странах.

[1] Идея федерации Балканских стран была направлена против шовинизма и военной истерии в условиях первой мировой войны и потому была поддержана Лениным. После второй мировой войны Георгий Димитров, одно время выдвигавший эту же идею, затем указал на ее непригодность в новых условиях.

Он неторопливо и обстоятельно стал доказывать, что Болгария не созрела еще для пролетарской революции, так же как и Россия. Социал-демократическое движение и классовая борьба балканских рабочих должны заставить буржуазию создать федерацию буржуазных Балканских стран. Так будет решен национальный вопрос на Балканах...

— Мы порой забываем,— энергично заговорил Буачидзе,— что марксизм развивается в зависимости от новой исторической обстановки. Наша беда в том, что мы, подымаясь все выше и выше, не всегда ставим вехи на пройденном пути. Не всегда доказываем, что новый взгляд на вещи прямо вытекает из марксизма.— Буачидзе замолчал, на мгновение углубившись в себя, и продолжил: — Не поймите меня превратно: лозунг федерации Балканских государств — единственно правильный сейчас, он помогает противостоять военной горячке и вражде балканских народов. Но мы живем в переломную эпоху. Я убежден, многое — особенно в тактике — меняется на наших глазах. У нас есть возможность посоветоваться с Лениным, мне не все ясно, и я собираюсь уточнить кое-что, и в частности по национальному вопросу.— Улыбка совершенно преобразила аскетическое лицо Буачидзе, сделав его мягким и радостным.— Теперь я понимаю — вы ведете непримиримую борьбу с шовинизмом и военной горячкой в Болгарии. Пойти против течения не просто. Особенно в наше время всеобщего озлобления.

Буачидзе замолк. Мысль его продолжала работу, и черты лица оставались такими же напряженными, полными внутренней силы, как и во время спора.

VI

Дед поглаживал широкой ладонью высокий, шишковатый лоб, видимо, обдумывая то, что сказал Буачидзе. Кирков, прищурившись, как-то настороженно смотрел на гостя, словно ждал, что он опять начнет говорить.

Ого, какой ветер пронесся здесь! Георгий с невольной, глубоко запрятанной в глазах улыбкой смотрел на гостя. «Спасибо, что не обманул наших ожиданий...»

Мастер негромко заговорил, взглядывая на Деда:

— Я полагаю, что могу говорить от имени Цека.— Дед утвердительно качнул головой.— Мы считаем необходимым,— продолжал Мастер, обращаясь к гостю,— держать вас в курсе нашей политической деятельности. Просим в свою очередь информировать нас о задачах, которые товарищ Ленин ставит перед русскими социал-демократами, и о том, как он оценивает положение на Балканах. Мы сейчас воюем в печати и в Народном собрании против военных кредитов. Товарищ Димитров,— Кирков указал глазами на Георгия,— собирает для нашей парламентской группы очень сильные факты, изобличающие правительство в подготовке войны...

Дед остановил Киркова, неторопливо приподняв руку.

— Извини, что перебиваю. Выступление в Народном собрании поручим Георгию.

— И я так же думаю,— сказал Кирков.— Вся парламентская группа, конечно, присоединится к нашему мнению.

— У меня многое уже подготовлено,— сказал Георгий.— То, что мы слышали от Ноя, лишь придает больше энергии.

Пока велась беседа с русским большевиком, Георгия все более охватывала уверенность в том, что между ними, «тесными», и грузином-большевиком много общего, но главное, что их роднит,— наступательный дух, стремление к решительным действиям против военной горячки.

Георгий подсел к Ною и спросил, с какими еще статьями Ленина тот успел познакомиться. Разговор затянулся до поздней ночи. Георгий вызвался проводить Ноя, и они вдвоем зашагали по темным, затихшим улицам. А прощаясь, Георгий пригласил гостя в воскресенье за город, на Витошу, сейчас в неверном свете звезд призрачно стоявшую над городом. Условились встретиться ранним утром в воскресенье на конечной остановке трамвая.

На прощание Георгий сказал:

— Ты оставил мне частицу своей неспокойной души...

Люба не спала, когда Георгий постучал в окно своей комнаты, выходящей на улицу.

— Георгий!..— тихо воскликнула Люба, открывая калитку и бросаясь к мужу.— Я думала, опять что-нибудь случилось.

Она замерла, прижавшись к его плечу.

— Люба, сегодня я нашел друга,— сказал Георгий,— он будет и твоим другом...

Он рассказал, кто такой Буачидзе и как много общего нашлось у них, «тесных», с грузином, российским социал-демократом и большевиком.

Накрывая стол для ужина, Люба стала в свою очередь рассказывать о посещении семей текстильщиц.

— Трудно, у многих мужья не вернулись с войны, но женщины настроены по-боевому,— оживленно говорила она.— Многие из них прежде удержи-

вали мужей и сыновей от митингов и демонстраций, а теперь сами готовы протестовать против дороговизны и голода вместе с мужьями.

Она называла имена и фамилии тех, у кого побывала сегодня и кого знал Георгий. Он смотрел на нее, слушал ее возбужденный голос и радовался в душе: она не может жить без людей, среди которых всегда находилась, с которыми вместе боролась за их человеческие права и помогала им понять смысл политических событий. «Ну, а если Елена права? — спросил он себя, тревожно вглядываясь в дорогое усталое лицо с темными кругами у глаз.— Если все-таки Елена права?» Он не мог найти ответа на этот вопрос. Он понимал только, что Люба никогда не отступит, не сдастся в борьбе, как бы тяжела она ни была и какие бы удары ни пришлось ей принять. Нет, Люба не сдастся! Эта мысль не была ответом на вопрос, который он только что себе задавал, но она успокаивала.

Воскресным утром они отправились на Витошу. Ной уже ждал у остановки трамвая. Он строго и почтительно поклонился Любе, и они втроем стали неторопливо подниматься по каменистому, иссеченному тропинками склону.

Ноябрь стоял теплый, солнечный. С утра нагретые камни и пыль на горной тропе пахли солнцем, и ветер был напоен тонким и летучим ароматом горных лугов и лесов, какого не встретишь в долинах.

— Посмотрите! — воскликнул Георгий, останавливаясь и оглядывая раскинувшийся внизу город.

Вокруг грязновато-золотистых пятен осенних скверов и парков краснели черепичные крыши множества домов, слепившихся словно в огромные неправильной формы соты. Среди крыш высилась белокаменная скала храма Александра Невского с жарко

горевшими золочеными куполами. Еще дальше, за городом, тонула в дымке широкая долина и где-то далеко-далеко терялась в блеске солнечных лучей.

Ной изучал панораму города, медленно переводя взгляд с одной ее части на другую, словно стараясь прочесть что-то или разгадать жизнь, таившуюся под черепичными крышами.

— И для тебя станет родным этот город,— сказал Георгий, заметив взгляд товарища.

Ной ничего не ответил, и они пошли дальше. Тропа все круче и круче взбегала по склону среди сосен и скал. Ной зашагал чуть быстрее, словно ему захотелось переупрямить крутизну тропинки. Потом еще быстрее. Георгий и Люба тоже невольно ускорили шаги.

— Подожди, Ной,— попросил Георгий,— мы не поспеваем за тобой.

Ной остановился и, повернувшись, заговорил:

— У меня такое чувство, будто я ходил по этой тропе не раз. Мне кажется, знаю каждый камень, каждый поворот... Как на Кавказе, в Белогорах...

Люба не ожидала этой вспышки от молчаливого, несколько чопорного человека, каким он показался ей у трамвайной остановки.

Георгий понял его.

— Что может быть дороже родины? — сказал он.

Люба опустила глаза. Слова Георгия заставили ее вспомнить свою Сербию, такие же тропинки в горах и леса на скалах. И кровь, льющуюся там. Георгий заметил ее смятение, предложил отдохнуть. Люба опустилась на теплые камни под ветвями сосен, пронизанных солнцем.

— Вам плохо? — спросил Ной, подходя к ней.— Это я виноват...

Она слабо улыбнулась.

— Нет, вы ни в чем не виноваты. Каждый из нас вспомнил о своей родине. Я родилась в Сербии...

Люба отвернулась, пытаясь скрыть волнение.

— Понимаю, как вам горько,— сказал Ной.— Но ваш народ, народ маленькой Сербии, ни в чем не виноват, войну начал не он.— Прежнее сосредоточенное и болезненное выражение появилось в чертах его лица.— Только что я смотрел на город и думал о том, какие разные люди веками жили в нем — жили тесно, бок о бок и все-таки одиноко, как в пустыне, не понимали друг друга. Наша с вами жизнь и жизнь наших товарищей по борьбе совсем иная. У каждого из нас троих своя родина, и все-таки мы живем одной жизнью, верны одной идее, разуму нашего века. Одинокий в мыслях не выживет в Сибири. Со мной никого не было. Ни одной родной души...

Ной как будто перестал замечать синевшую внизу долину, и солнце на серебрившихся иглах хвои, и далекие светлые скалы в просветах между деревьями.

Люба, наблюдая за ним, спросила:

— У вас кто-то остался там, в России?

С неожиданной для этого сдержанного человека доверчивостью он взглянул на Любу.

— Невеста,— сказал он.— Моя Роза...

Георгий смотрел на них, не вмешиваясь. Он чувствовал, что этого не следует делать.

Помолчав, Люба спросила:

— Где она?

— Не знаю. Где-то там же, в Сибири...— Напряженность Ноя исчезла.— Роза хотела помочь мне бежать из Вологды, куда меня отправили вначале,— продолжал Буачидзе.— Приехала вслед за мной,— он обернулся к Георгию,— как и жена твоего брата. Передала мне с продуктами пилку. В тот же день пилку

 отобрали, меня избили, бросили в карцер, потом от-

правили в глубь Сибири. Розу арестовали и тоже сослали, но куда — неизвестно.

— Вы ничего не узнали после побега? — спросила Люба.

Ной отрицательно покачал головой.

— Я не мог задерживаться. Личные чувства не должны мешать выполнению долга.

— Вы считаете, что революционер не имеет права на личное счастье? — спросила Люба.

— Смотря на какое. Я признаю счастье, которое не противоречит чувству долга.— Ной посмотрел на Любу ясным, спокойным взглядом. В его глазах не было ни аскетической суровости, ни жертвенности.— Я знаю, если бы мы встретились в тот момент, она сама потребовала бы моего отъезда.

— Да, наверно, и я бы поступила так же,— задумчиво сказала Люба и вдруг с какою-то странной настойчивостью в голосе продолжала: — Если я когда-нибудь буду мешать Георгию выполнять его долг, я покину его первая.

Георгий нахмурился.

— Не понимаю, чем ты можешь мне помешать?

Люба ничего не ответила. Ной внимательно взглянул на нее:

— Я расстроил вас своими рассказами.

— Просто в наше время у каждого есть что-нибудь тяжелое на душе,— ответила Люба, и лицо ее стало отчужденным и замкнутым.

— Ну, пойдемте выше! — воскликнул Ной.— Так хорошо взбираться на гору.

Они поднялись с камней и зашагали дальше по тропе. Георгий вскоре почувствовал, что от движения, от усилий преодоления крутизны, и от ветра, и горячих солнечных лучей Любе опять стало хорошо. Он шел подле нее и думал о ее странных словах...

Вечером, когда на обратном пути случайно выяснилось, что Ной родился в том же самом 1882 году, как и Георгий, и даже в тот же день — 18 июня, и оба занялись революционной деятельностью двадцатилетними, он развеселился и принялся шутливо убеждать Ноя, что у них одна судьба.

Но смутное беспокойство, овладевшее им во время того разговора на камнях под соснами и отодвинувшееся теперь куда-то в глубину души, все-таки не исчезало.

VII

Тревога за Любу не оставляла Георгия и в то время, когда через несколько дней он начал готовить речь. «Работать, работать»,— подстегивал он себя ночью в затихшем доме, едва его охватывало беспокойство. И он вновь брался за перо, ловил утерянную нить мысли...

На собрании парламентской группы обсудили текст речи. Дед сказал, что за несколько дней до выступления Димитрова следует внести в Народное собрание три важных предложения. Они дополнят речь и подготовят разоблачение правительства. Благоев взял со стола листок, мелко дрожавший в его руке, и прочел: совместная оборона Балканских стран от внешней агрессии и создание балканской федерации; соглашение с правительствами нейтральных стран для воздействия на воюющие стороны; отмена военного положения.

Георгий подумал: вот бы порадовался Ной, услышав это. Ведь Дед сформулировал многое, о чем беседовали тогда весь вечер в кабинете Деда. Конечно, никто из буржуазных депутатов не согласится, и они разоблачат сами себя при голосовании.

Вскоре Дед выступил от имени парламентской группы «тесных». Предложения были отвергнуты. Пришла очередь действовать Георгию. Он появился в Народном собрании полный сил и внутренней психологической готовности сразиться с врагами. Здесь никто не прощал слабости или оплошности противной стороны.

В коридоре, у двери в зал, Георгий столкнулся с министром-председателем Радославовым, одетым в черный фрак, в крахмальном воротничке и манжетах. На Георгия пахнуло тонким запахом дорогих духов. Плечи фрака были засыпаны перхотью. Совсем недавно, каких-нибудь три месяца назад, Георгий с таким гневом обрушился на Радославова, произносившего речь в защиту военных кредитов, что старика на трибуне едва не хватил удар. Георгий поплатился за дерзость: его насильно вывели из зала.

— Хорошо ли ваше здоровье, господин министр-председатель? — поклонившись, осведомился Георгий.

Холеное лицо старика медленно заливалось нежно-розовой краской.

— Будь здоров и ты, Димитров,— сказал он.

— Вы как будто все еще сердитесь на меня, господин министр-председатель? — улыбаясь, сказал Георгий.

— Я ответил тебе так, как ты спросил меня. О, я тебя хорошо знаю, Димитров. Ты испортил мне много нервов, и сегодня, я чувствую, будет то же самое...

Судьба не раз сводила Георгия с этим человеком. Когда-то давно Георгий — наборщик в типографии Радославова — хорошо изучил характер хозяина и был одним из двух наборщиков, способных читать статьи, написанные его почерком. Однажды Георгий отказался набирать грязный пасквиль против рабочих.

Радославов прибежал в типографию и еще с порога закричал: «Это неслыханно! Чего ты от меня хочешь?» Наборщик потребовал выбросить целый абзац. Хозяин разбушевался, но в конце концов смирился. А спустя много лет на одном из заседаний Народного собрания министр-председатель вдруг узнал в новом депутате своего бывшего наборщика и улыбнулся ему. Но когда Георгий заговорил с трибуны о военной цензуре, Радославов вдруг вскочил с места, закричал: «Ты хочешь говорить про цензуру, именно ты, Димитров? Может быть, ты вспомнишь, что, работая у меня наборщиком, ты подвергал цензуре даже мою статью?» Георгий ответил: «Тогда, как и сегодня, я защищал интересы и честь рабочего класса...»

Зал Народного собрания!.. С душевным трепетом осматриваю я пустующий сегодня зал. Ему немало лет. Здание Народного собрания — в начале предполагалось, что это будет театр — начали строить в центре Софии в 1888 году — тогда же, когда на окраине города, на Ополченской, семья Димитровых закладывала фундамент своего домика. В левой стороне зала, если смотреть с трибуны, сидели Благоев, Кирков, Димитров, Коларов... Шумные бои разыгрывались в зале, и не только в 1914 году. Много лет спустя, уже после освобождения Болгарии от фашистских захватчиков, здесь бушевала оппозиция реакционного политического деятеля Николы Петкова, чувствуя поддержку крупнейших капиталистических стран. В упорной политической борьбе, особенно после возвращения Георгия Димитрова в Болгарию (в ноябре 1945 года), Коммунистическая партия разоблачила преступные связи главарей оппозиции с пред-

ставителями Соединенных Штатов Америки и Англии.

Никола Петков сидел в правой стороне зала в первом кресле первого ряда. Однажды здесь, в этом зале, было оглашено заявление прокурора о преступных связях Николы Петкова с иностранными дипломатами и заговорщиками...

На потолке светится, как огромный цветок, современная люстра из чешского стекла. А на столе председателя с давних времен стоит массивный серебряный ручной звонок. Я нажимаю кнопку. В зале разносится гулкий бой колокола — такие раньше висели на перронах вокзалов. Да иначе и нельзя было успокоить страсти депутатов.

Коридор ведет в зал библиотеки Народного собрания. На полках вдоль стен покоятся большого формата книги — стенограммы заседаний. В них зафиксировано все, что происходило во время заседания: речи, реплики с мест, проклятья, крики из зала — «А-а-а!», «Э-э-эй!..», гулкий бой колокола. Читаешь стенограммы — и перед тобой воскресает давно минувшая жизнь, полная драматических и трагических столкновений людей,— политическая жизнь страны...

. .

Ярко освещенный, отделанный дубовыми панелями зал был полон. Георгий поднялся на трибуну и окинул взглядом обращенные к нему лица депутатов. Он стоял на трибуне в спокойной, свободной позе, взявшись руками за ее края. Он видел, как в ложе правительства, против депутатских кресел, Радославов, вздохнув, откинулся на спинку кресла.

— Господа народные представители! — обычной формулой, громко и отчетливо произнося слова, начал свою речь Георгий.— При голосовании дополнитель-

ных военных кредитов наша парламентская группа пользуется случаем высказать причины, которые заставляют голосовать против подобных кредитов...

Он почувствовал движение в зале, приостановился, ожидая гневных выкриков справа. Правые молчали. Наступила настороженная, полная напряжения тишина.

— Мы не можем голосовать за военные кредиты,— продолжал Георгий со своей обычной напористостью,— до тех пор, пока существующее правительство,— резким движением руки он указал на правительственную ложу,— или завтрашнее правительство на его месте,— он опять указал на министров,— не воспримет единственно спасительную сейчас политику понимания между Балканскими странами, политику организации балканской федерации. Мы и сейчас утверждаем, как подчеркивали это здесь не раз, что такая политика вполне осуществима.

Раздался возглас справа:

— Серьезно ли говорите?

Первый предвестник бури! Георгий, не поворачиваясь на голос, продолжал:

— Мы и сегодня совершенно серьезно говорим перед болгарским парламентом, что эта политика — единственно спасительная политика. Вот почему парламент, если он не хочет изменить интересам народа Болгарии, не должен требовать голосования за кредиты на военные цели, до тех пор, пока правительство не усвоит балканской политики, которая одновременно была бы и болгарской политикой... Мы не можем жертвовать ни одного сантима, ни одной капли крови за политику, которая ведет не к гарантии свободы и независимости Болгарии, а к гибели Болгарии. Вот в чем наша основная идея, вот в чем наше принципиальное положение... Я спрашиваю,— воскликнул

Георгий, повернувшись к правительственной ложе и устремив на Радославова взгляд своих потемневших глаз,— я спрашиваю, что думает сделать правительство для гарантирования жизни тысяч семейств, главы которых призваны на трехнедельное военное обучение? Может быть, и вам не чуждо, может быть, и вам известно большое бедствие, охватившее всю страну благодаря призыву запасных солдат! Девяносто процентов из них — это рабочие, бедные крестьяне, земледельцы. Они оставили свои семейства без денег, у них нет никаких запасов, нет никаких накопленных средств, и, следовательно, они будут голодать, страдать от суровой зимы.

Радославов не выдержал обращенной прямо к нему обвинительной речи.

— Кто голодает? — выкрикнул он, то ли потеряв власть над собой, то ли стремясь сбить Георгия с мысли и вызвать спасительные для него реплики депутатов.

— Государство ничего не сделало для этих людей,— продолжал Димитров, не обращая внимания на реплику Радославова.

— Не занимайтесь демагогией! — раздался энергичный голос из правительственной ложи.— Государство все сделало.

Это на помощь Радославову пришел его друг — министр просвещения, в прошлом министр правосудия Пешев, пятидесятишестилетний, еще крепкий человек. Он был в таком же парадном фраке, как и большинство депутатов в этот день голосования за дополнительные военные кредиты. Георгий усмехнулся в душе:

«Старая лиса! Вырядился, как на праздник. Но ты своим криком не заставишь меня беситься, у меня есть еще что сказать».

Он повернулся к правительственной ложе.

— Господа министры! Мы не занимаемся демагогией, мы говорим истину, которую вы сами могли бы всегда установить.

Пешев не унимался:

— Наше государство не оставило людей голодать.

— Государство ничего не сделало для людей,— спокойно возразил Георгий.

— Оставьте! — все более теряя самообладание, крикнул Пешев.

Георгий прищурился и с явной насмешкой в голосе заметил:

— Господину министру просвещения,— он сделал ударение на этом слове,— следует сохранять спокойствие.

Пешев нагнулся к Георгию и, потрясая рукой, прокричал:

— Вы не знаете последствий ваших слов...

«Вот этот полицейский язык больше тебе подходит»,— подумал Георгий и бросил в лицо бывшему министру правосудия:

— Не смейте нас провоцировать!

Ему ответил дружный вопль из кресел правых депутатов.

Председатель, старик с обвисшими щеками, подняв руку, с трудом утихомирил правых депутатов. Потом повернулся к Георгию.

— Господин Димитров! Говорите о кредитах, иначе я лишу вас слова.

Тогда поднялся Дед и глуховатым от волнения, но твердым голосом сказал:

— Вы не имеете права, господин председатель. Мы протестуем против этого безобразия.

 Из министерской ложи послышался возглас мини-

стра иностранных дел Генадиева, человека благообразного и сравнительно молодого:

— Господин Благоев! Вы призываете связать ваше отечество, вы на старости лет забываетесь.

— Вы там... молчите! — бросил ему Благоев и неторопливо опустился в свое кресло.

— Господа народные представители! — продолжал Георгий.— Если бы вы пожелали и имели терпение нас выслушать...

— Как еще терпим! — послышался возглас.

— ...вы бы сами выгнали отсюда дюжину «патриотов», которые начали Балканскую войну. Они есть,— Георгий указал в один конец зала,— и здесь. Они есть,— он показал в другой конец зала,— и там...

Правые опять подняли крик. Сквозь шум прорвался чей-то отчаянный вопль:

— Выгоните его, накажите его!

Дождавшись, пока схлынут крики, Георгий продолжал:

— Десятки и сотни патентованных патриотов Болгарии и там,— Георгий наклонился с трибуны, указывая в зал,— и тут...

Председатель прикоснулся ладонями к поблескивающей лысине и трагически воздел обе руки кверху.

— Господин Димитров! Если вы не будете говорить по предмету и будете продолжать дразнить народных представителей, я лишу вас слова.

— Не имеете права, господин председатель,— живо сказал Георгий.— Я протестую: председатель не имеет права определять, кто говорит праздные, а кто умные речи.

— Я лишаю вас слова! — крикнул председатель.

Благоев вновь поднялся и, оправив бороду на груди, сказал:

— Как это лишаете слова? Это произвол!

Председатель воскликнул:

— Боже!..— Он повернулся к Благоеву и, показывая на Димитрова, простонал: — Но он должен говорить по предмету, не шутить с Народным собранием...

Благоев с достоинством ответил:

— Вам не нравится горькая истина.

Председатель развел руками, словно не зная, что еще делать, и снова обратился к Георгию:

— Господин Димитров! Говорите по предмету. Не заставляйте меня лишать вас слова.

— Господин председатель не сделал бы мне никаких замечаний,— воскликнул Георгий,— если бы я, как Григор Василев, воспел хвалебную песню нашей болгарской армии и увеличению военных кредитов. Но когда выходит представитель партии, которая не может разделить подобную точку зрения, вы всячески спорите и стремитесь лишить меня слова.— Голос его гремел в затихшем зале, он поднял руку, потрясая ею над разлохматившимися волнистыми прядями волос.— Вы всячески восхваляете парламентаризм, но где же теперь этот ваш парламентаризм? — Георгий глубоко вобрал в легкие воздух, с шумом выдохнул его, резким движением руки отбрасывая упавшие на лоб пряди волос.— Позвольте мне кончить,— спокойнее сказал он.— Я искал вашего внимания для того, чтобы указать вам на необходимость гарантирования жизни тех семейств, которые страдают, которые бедствуют в Болгарии...

— В сверхсметных ли кредитах искать эти средства? — крикнул кто-то из правых депутатов.

Георгий стремительно повернулся на возглас.

 — Вы утверждаете сверхсметные военные кредиты,— нагнувшись с трибуны в зал, крикнул он,—

а для социальных реформ оставляете одни слова. Средства, на которые вы создаете военные организации, вы употребляете не для защиты нации...

— А для чего же? — раздался тот же голос.

— ...а сознательно или бессознательно,— продолжал Георгий,— на гибель национальной свободы и независимости народа, не на солидарность с ним, а против него. Народ решительно протестует против политики, направленной на уничтожение свободы и независимости страны!

Когда Димитров сходил с трибуны под аплодисменты «тесных» социалистов, Радославов обмахивал платочком разгоряченное лицо — ему не хватало воздуха. Он провожал Димитрова цепким взглядом до самого его места. Председатель некоторое время сидел, откинув голову на спинку кресла и прикрыв глаза. Потом, взглянув на опустевшую трибуну, с облегчением вздохнул и потянулся к листку с повесткой заседания.

Георгий опустился в свое кресло рядом с Дедом, шумно вздохнул, вновь привлекая к себе этим внимание всего разгневанного зала. Бесцеремонно вытер ладонью пот со лба, словно дровосек после тяжелой работы.

— Браво! — сказал Дед, крепко пожимая его руку.— Браво, Георгий. Ты всегда полон сил и решимости, ты выполнил свою задачу...

VIII

Рано утром на другой день к Георгию пришел знакомый шахтер из Перника — Иван. Георгий увел его в дальний, заросший густыми и уже безлистыми в конце ноября кустами, угол дворика. Светлые

и яркие глаза его весело смеялись, когда он окинул шахтера быстрым взглядом.

Иван был худощав и мускулист — неподатлив, как жердина крепи в шахтных выработках. Он скорее все-таки был похож на крестьянина, чем на шахтера, половину жизни проводящего под землей: лицо его и руки с побелевшими от солнца волосками огрубели от ветра на горных склонах. Да он и был наполовину крестьянином. Жил Иван не у самой шахты в Пернике, а в одной из окрестных деревень, как и многие шахтеры, в своем крестьянском домике и вместе с женой, выкраивая время от сна и отдыха после работы в шахте, на клочке земли выращивал хлеб и кукурузу. Он стал работать шахтером всего лет восемь назад, когда в семье появились дети и доходов от крестьянского труда не стало хватать. Георгий хорошо его знал, что-то в душе Ивана роднило с ним. Не раз за последние годы убеждался Георгий, каким дельным и нужным работником становился Иван в профсоюзном комитете шахтеров Перника.

— Георгий, тебе надо приехать к нам,— заговорил он и уперся негнущимся пальцем с синим от угольной пыли ободком на ногте в грудь Георгия, словно хотел сдвинуть его с места.

Георгий и не думал отступать, лишь усмехался и выпячивал грудь, словно говоря: «А ну еще разок, толкни-ка покрепче»...

— Взрывникам дают порох, который употребляется для пушек,— продолжал Иван.— Пушечный порох непригоден в шахте.— Он снова нажал пальцем на грудь Георгия.— Приезжай, посмотри, можно ли так работать. Шесть увечий за последнее время...

Лицо Георгия стало строгим.

— Иван, надо выяснить, почему вам дают этот порох.

— Я думаю вот что,— сказал Иван,— пороха этого у наших военных хоть отбавляй, они его и дают управлению шахты почти задарма. Правительство тратит деньги на вооружение и военное обучение и не улучшает шахты. Министры знают, что нам без шахты в это трудное время не прожить. Какая она ни есть, шахта, она кормит нас и наших детей. Вот что они хорошо знают. И потому делают с нами что хотят.

Иван с облегчением вздохнул после длинной речи и, отодвинувшись от Георгия, искоса следил за ним. Георгий, нахмурившись, пощипывал свои усы около уголков губ.

— Ладно, приеду завтра,— сказал он.— Можешь быть спокойным.

Иван покачал головой из стороны в сторону — мягкое болгарское «да».

— Знаю, не подведешь!

— Скажи в рабочем комитете: надо выяснить, чего не хватает в шахтном оборудовании, сколько было аварий в этом году, сколько увечий и смертных случаев.— Георгий говорил быстро, суховатым деловым тоном, который производил на Ивана неотразимое впечатление: лицо шахтера стало жестче, сероватые губы плотно сомкнулись, и двойная короткая складка рассекла его лоб меж бровей.

— Сделаем,— коротко сказал он.

— Нужны точные данные, понимаешь,— продолжал Георгий.— Рабочим надо самим изучать факты и делать правильные выводы. Спасибо, что приехал. Ты научился видеть дальше забот о собственном благополучии... Не все способны на это.

— Георгий, ты должен понимать шахтеров,— осторожно сказал Иван.— Тяжело смотреть на своих голодных детей.— Он направился к воротам.— Мне

пора. От Софии до Перника не близкий путь. Завтра встретим тебя.

Проходя мимо матери Георгия, Иван поклонился и почтительно сказал:

— Будь здорова, мать.

Она предложила гостю выпить чашечку кофе, но тот отказался и быстро вышел на улицу.

— Они любят тебя,— сказала мать, подходя к Георгию.— Это видно по их глазам, когда они приходят к тебе.

— Рабочие бесконечно благодарны, мама, если встречают сочувствие и помощь. Они слишком редко встречают их,— добавил он, с горечью покачивая головой.— Потому я готов ради них на всё. А Иван особенно дорог мне. Радостно видеть, как в человеке пробуждается мысль. Я думаю, нет большего наслаждения, чем наблюдать человеческое обновление и помогать ему. Если бы это ушло из моей жизни, она потеряла бы для меня всякий смысл.

— Ты говоришь со мной так, сын, будто бы я все могу понять. Я неграмотная старая женщина, а ты ушел в ученье дальше других из нашей семьи,— сказала мать, и ее светлые, как и у Георгия, лишь выцветшие от времени глаза словно говорили: «Но все-таки я знаю, что ты думаешь, сын...».

— У тебя была тяжкая жизнь, и сейчас тебе нелегко,— сказал Георгий.— Как же мы можем не понимать друг друга?

На следующий день он уехал в Перник. Тридцать километров поезд тащился долго. На склонах холмов среди голых, без листвы деревьев проглядывали черепичные крыши крестьянских домиков. У самых окон вагона мелькали каменные заборы с цепкими, узловатыми ветвями виноградных лоз. Наконец, холмы отступили от железнодорожного полотна, показались

грязновато-синие, островерхие и громадные, как египетские пирамиды, кучи пустой породы, вынутые руками рабочих из нутра земли и сгрудившиеся около прокопченных угольной пылью строений.

На вокзале, едва Георгий соскочил с подножки вагона, к нему подошел Иван и еще двое немолодых шахтеров — все в чистой, крестьянской одежде — члены местного профсоюзного комитета.

— Мы ждем тебя, Георгий,— сказал Иван.— Инженер не захотел с нами разговаривать. Пойдем в шахту, посмотри сам: изменилось ли в нашей работе что-нибудь с тех пор, как ты был там.

В доме одного из шахтеров все четверо переоделись в лоснившиеся и почерневшие от угля, заранее приготовленные робы. Захватив лампочки, они направились к темной дыре в склоне холма. Штольня уходила в толщу земли почти горизонтально. Дневной свет вскоре скрылся за поворотом. Темнота поглотила их, казалось, что слабые огоньки шахтерских лампочек ничего не освещают.

Георгий любил бывать под землей. Здесь он становился ближе к рабочим. Он не раз брал в руки обушок, рушил в лаве угольный пласт или в штреке забрасывал лопатой в вагонетку тяжелые осколки взорванной породы. Шахтеры учили его точным, сильным ударам обушком и одобряли его работу — настоящий забойщик. Такую же радость он испытывал и в море, вытаскивая вместе с рыбаками сети. И среди докеров в портах, когда учился у них взваливать на плечо пятипудовые мешки и, уперев кулак в поясницу и расправив грудь, шагать по качающимся трапам. Он любил простой, тяжелый труд, так же как и труд наборщика в типографии, где он работал с двенадцати лет. И может быть, именно потому,

что он с детства научился испытывать радость труда, он с особенной силой ненавидел все то, что несло горе и лишения трудовому люду.

В глубине штольни шахтеры то и дело останавливались, подносили лампочки, излучавшие желтоватый реденький свет, к подгнившей, забеленной плесенью крепи, поднимали их, освещая заколы породы, свисающие с кровли и угрожающие обвалом. Из бокового штрека потянуло сладковатым запахом сгоревшего пороха. Свернули туда и вскоре подошли к нескольким шахтерам. Они громко о чем-то спорили посреди штрека, поставив лампочки у ног. Лица их были в тени, только иной раз поблескивали белки глаз.

Георгий прислушался: оказалось, старший неправильно разделил заработок между ними. Каждый хотел получить больше, чем получил. Молодые крестьянские парни, видимо, совсем недавно попали в шахту. Один из них, приземистый крепыш, вдруг выхватил из-за пояса ломик, шагнул к товарищу. Неосторожным движением он свалил лампочку у своих ног, угловатая тень метнулась по кровле. Георгий растолкал шахтеров и выхватил у парня тяжелый ломик.

— На своих? Опомнись!

— А тебе что за дело? — спросил тот, на которого замахнулся парень — высокий, длиннорукий шахтер.— Откуда взялся? — Он переступил через лампочку и с такой силой ткнул Георгия в плечо, что тот, хотя и весил немало и крепко стоял на земле, качнулся и, не удержавшись, повалился на груду породы у стенки штрека.

— Бросьте, ребята,— вмешался Иван, поднимая лампочку и освещая свое лицо,— тебе добра желают, а ты толкнул незнакомого человека.

— Начальство, что ли? — угрюмо спросил длиннорукий.— В темноте не разберешь.

Георгий встал, подошел к ним.

— Возьми.— Он протянул приземистому парню его ломик.

— Наш,— сказал Иван.

Шахтеры с интересом рассматривали Георгия.

— Бородатый,— оправдывался шахтер, толкнувший Георгия.— Я уж подумал, начальство. А свой — так ничего. Мало ли как бывает.

Из темноты выступил высокий, плотный человек в шахтерской каске.

— Господин Димитров? — сказал он.— Вот не ожидал. Здравствуйте!

Георгий оглянулся. Перед ним стоял главный инженер управления шахты.

— Здравствуйте,— спокойно ответил Георгий.

Шахтеры взяли с земли свои лампочки, пошли в глубину штрека. Рядом остались лишь провожатые Георгия.

— Я наблюдал всю эту сцену,— усмехаясь сказал инженер.— Вы заботитесь о людях, которые скорее напоминают зверей. Как видите, они совершенно лишены чувства благодарности. Могут вести себя ужасно... если, конечно, рядом нет администрации. Только страх делает их сдержанными.

— Откуда же у них может быть чувство благодарности? — спросил Георгий.— Вы рвете породу пушечным порохом, в забой долго нельзя войти, от этого страдает заработок.

— Все сразу не делается. Вы не специалист и не понимаете этого... Я надеюсь, что члены профсоюзного комитета покажут вам дорогу на поверхность и защитят в случае необходимости.

— К тому же,— сказал Георгий, продолжая свою

мысль, не желая замечать насмешки инженера,— администрация неправильно оплачивает труд и сеет раздоры среди рабочих.

— Это не мое дело. Я должен вас предупредить: вряд ли вам следует приезжать на шахту и тем более спускаться под землю без ведома администрации. В этом случае мы не в силах отвечать за безопасность депутата Народного собрания.

— Господин инженер,— вмешался до сих пор молчавший Иван,— мы знаем, что рабочие всегда защищают Димитрова, но мы также знаем, что управление шахты нанимало бандитов, чтобы стрелять в Димитрова.

— Откуда вы можете это знать? — резко спросил инженер.— И вообще... Вам тут нечего делать в нерабочее время.— Повернувшись, он зашагал прочь.

— Там телефон,— тихо сказал Иван, глядя ему вслед,— он сейчас позвонит в управление и в полицию.

IX

Вскоре они вышли из шахты. Свет ослепил Георгия, робкое тепло осеннего дня ласкало его лицо. Но Иван словно не замечал ни солнца, ни тепла, был молчалив и сумрачен. Оставшись наедине с Георгием, он сказал:

— Не сердись на ребят в шахте. Им трудно приходится. Им не хватает дня на то, чтобы дойти к себе, переночевать дома и вернуться на шахту. Идем я покажу тебе, как они живут.

Он привел Георгия к дощатому бараку. Пришлось нагнуться, чтобы не удариться о притолоку. В полумраке комнаты — оконца были занавешены каким-то

тряпьем — Георгий разглядел двухэтажные нары. На них вповалку лежали истомленные после ночной смены люди. Когда глаза привыкли к темноте, Георгий увидел на спящих почерневшую от угольной пыли робу. Негде было ни отмыться как следует от угля, ни хранить чистую одежду.

Они вышли наружу. Георгий спросил, останавливаясь около барака и оглядывая его:

— Так это и есть общежитие, о котором министр труда говорил в Народном собрании, как о благодеянии для шахтеров?

— Не знаю, о чем говорил министр, но другого общежития у нас на шахте нет.— Иван опустил глаза, перекатывая носком грубого башмака камешек в пыли.— Я тоже прошел через все это,— продолжал он, не поднимая глаз.— Ты помнишь, Георгий, как я в первый раз разговаривал с тобою, когда еще не знал тебя? Перед началом забастовки, помнишь? Я тоже принял тебя за чужого. Уж ты не сердись на тех...

Георгий положил руку на крепкое плечо Ивана.

— Слушай меня как следует,— сказал он с такой энергией, что Иван в изумлении вскинул на него глаза.— Те, что бросились на меня сегодня, должны стать такими же, как и ты. Запомни, Иван, это обязанность рабочего комитета. Из них хотят сделать животных, но мы не должны отдавать их души грязи и страху перед администрацией и полицией.

Георгий уезжал из Перника в конце дня. Он сидел в подрагивающем, гремевшем вагоне, провожая взглядом строения шахтерского поселка и серовато-зеленые холмы, и думал о том, что случилось сегодня в шахте и что сказал ему Иван перед дощатым бараком. Да, несколько лет назад Иван был таким же, как и те, в шахте. Он прав — так было...

Они встретились с Иваном много лет назад, еще

до стачки 1906 года, когда горняки Перника сумели продержаться тридцать пять дней. Партия тогда обратила особое внимание на организацию революционных профсоюзов. Администрация Перникской шахты увольняла тех рабочих, которые требовали создания профсоюза. Тогда ЦК послало в Перник Георгия. Однажды он заговорил с группой молодых шахтеров о профсоюзе. К нему подскочил парень в грубошерстных сужающихся книзу и широких в пояснице крестьянских штанах — потури и неказистой обуви.

— Чего тебе здесь нужно? — крикнул он.— Не подбивай нас на плохое дело. За это увольняют с шахты, а у меня двое детей. Ты приехал и уедешь, а мы куда денемся?.. Уходи, если не хочешь испробовать моих кулаков!..

Георгий понял, что парень слишком возбужден и не стал с ним спорить. Позднее ему все-таки удалось организовать рабочую комиссию из старых шахтеров. И вот как-то, уже летом 1906 года, после заседания рабочей комиссии Георгий уехал из Перника в Софию. Ему хотелось проведать Любу, с которой они еще не были женаты, в то время белошвейку, активистку профсоюза швейных работников. Вечером она оказалась занята в профсоюзном комитете. Георгий не захотел ей мешать и договорился о встрече на следующий день в сквере у храма святого Николы. Поздно ночью к нему явился тот самый парень в потури и крестьянской обуви, который хотел испробовать на нем свои кулаки. Это был Иван. Парень не ожидал, что Димитров, к которому послали его, и человек, которого он ругал год назад,— одно и то же лицо. Иван был смущен, скороговоркой сообщил: после заседания рабочей комиссии, на котором был Димитров, администрация уволила ее членов. Комиссия в ответ объявила назавтра стачку. Как ни упра-

шивал Георгий посланца шахтеров закусить и переночевать, тот отказался и ушел обратно в Перник, до которого было тридцать километров. Георгию не удалось предупредить Любу, поезд уходил рано утром. «Она поймет,— убеждал он себя,— и не обидится, даже лучше, что так случилось. Пусть знает — легкой жизни со мной не будет...»

У вокзала в Пернике его встретили шахтеры с красными знаменами и отряд полиции. Шахтеры не подпустили к нему полицейских. Иван, почерневший от усталости, с ввалившимися за ночь глазами, был здесь же и потом не отходил от Георгия. Вечером он увел его ночевать в свой домик на косогоре.

На следующий день шахтеры привели к нему бледную, расстроенную Любу.

— О, Георгий, теперь я поверила, что ты жив! — воскликнула она.

Люба рассказала, что накануне вечером, не встретив Георгия в сквере и заподозрив недоброе, она пошла к его матери. От нее и узнала о забастовке шахтеров. А утром побежала к поезду. Через час они сидели в задней комнате корчмы, обедали вместе с комитетом забастовщиков. Георгий с нежностью смотрел на ее возбужденное счастливое лицо.

— Люба, тебе лучше уехать в Софию,— посоветовал он.

— Хорошо,— покорно сказала Люба, наклоняясь над тарелкой.

Он не мог сказать, что вместе с ним в Пернике ей будет небезопасно, не хотел, чтобы она боялась за него.

— Ты поможешь нам больше, если предложишь в своем профсоюзном комитете поддержать шахтеров,— пояснил он.— Я приеду к тебе, как только мы выиграем стачку.

— Хорошо,— снова сказала она, и глаза ее засветились лаской.

Люба уехала в Софию организовать помощь шахтерам. Трудной была их борьба. Для Георгия она чуть не окончилась трагически. Он не раз потом радовался, что Люба далеко от опасности и не знает всего, что случалось с ним.

Во время митинга появился конный отряд полиции. Офицер потребовал от Димитрова прекратить речь. Георгий вынул из кармана синюю книжку, поднял ее и, показывая офицеру, крикнул через головы рабочих, что конституция разрешает митинги. «Прежде чем запретить митинг,— заявил он,— нужно отменить законы государства». Офицер прокричал в ответ, что для бунтовщиков нет конституции. «Есть! — ответил Георгий в наступившей во время этого необычного спора зыбкой тишине.— Для рабочих есть еще и безработица,— продолжал он,— и голод, и болезни, и такие, как вы, которые расстреливают их. Все это есть для рабочих». Офицер дал знак своему отряду.

Иван первым бросился к полицейским, рабочие хлынули вслед за ним и оттеснили всадников от стола, на котором стоял Георгий. Он успел соскочить в толпу и скрыться. Пока полиция металась по шахте в поисках Димитрова, он оставался в доме Ивана.

Позднее полиция дважды арестовывала его, и дважды вынуждена была освободить по требованию рабочих. Он опять являлся в Перник, выступал на митингах, создавал рабочие пикеты, вел заседания стачечного комитета. Тогда администрация шахты наняла бандитов, чтобы убить его из-за угла. Один раз он спасся бегством, в другой — рабочие обратили в бегство бандитов. Но и покушения не заставили его

 покинуть Перник. Не раз в эти дни ночевал он у

Ивана и до поздней ночи рассказывал ему о своих товарищах по партии, рассказывал потому, что и сам был полон тем братством, которое делало сильными их всех. Иван, щурясь от табачного дыма, молча слушал и приглядывался к Георгию. Впоследствии он вошел в состав профсоюзного комитета.

А Люба в том же 1906 году стала женой Георгия...

Похожи ли теперешние свадьбы на те, что играли полвека назад? Мне довелось быть на одной в Софии осенью 1965 года. Осенью свадеб особенно много — шумных и веселых. По воскресеньям мчатся автомашины с треплющимися на ветру белыми платочками, привязанными к радиоантеннам или прутикам, высунутым в окно. Это едут после записи брака молодожены. На улицах играют маленькие оркестры — аккордеон, флейта, скрипка,— пляшут посреди мостовой гости, встречая невесту и жениха.

На самой свадьбе по старинному обычаю мать и отец невесты приносят большой каравай пшеничного хлеба и отрезают от него по кусочку всем. Невеста с подносом, на котором стоят две рюмки ракии, обходит гостей: надо отхлебнуть крепкого болгарского вина и положить на поднос подарок на счастье — деньги, а самые крупные купюры наколоть невесте на платье...

Свадьба у Георгия и Любы была трудной, как трудна была и сама их жизнь. В Софии они не получили разрешения на женитьбу. Ведь Люба иностранка. Один протестантский поп согласился венчать их в Плевене, не в церкви, а в доме знакомых. Сразу после

венчания они вернулись в Софию. Вся семья встречала их на вокзале...

Отрываясь на минуту от воспоминаний, Георгий взглянул в окно. Город был близко, потянулись домики пригородных поселков.

X

К Софийскому вокзалу перникский поезд подошел засветло. Георгий шагал по тихим улочкам рабочей окраины, все еще охваченный глубокой задумчивостью.

На углу пустынного переулка к Георгию кинулись трое. Было еще светло. Георгий заметил, что они хорошо одеты и что в кулаках у них что-то зажато. Мгновенно возвращаясь к действительности, он отскочил в сторону, прижался спиной к стене дома. Его окружили.

— Попался, Димитров,— зло прошипел один из нападавших.— Будешь ли ты ездить в Перник?..

— Буду! — сказал Георгий и упрямо качнул бородатой головой.

— Ну-ка скажи еще раз!

— Буду! — повторил Георгий.— Буду!..

Сильный удар в лицо чем-то металлическим на мгновение ошеломил его. Почти сейчас же он пришел в себя и ногой отбросил бандита. Но у них были кастеты, дело принимало скверный оборот. Георгий вспомнил, что у него с собой связка ключей от шкафов канцелярии синдикального союза. Он выхватил из кармана увесистые ключи.

— Буду! Буду! — крикнул Георгий и, зажав ключи в кулаке, бросился на бандитов. Кто-то из них схватил его за ворот пиджака, пытаясь повалить. Ге-

оргий крутнул сильными плечами, пуговицы пиджака с треском отскочили и запрыгали по мостовой. Тут же он нанес еще несколько ударов и, раскидав нападавших, припустил по улице. Его не преследовали.

Он отбежал на безопасное расстояние, пошел шагом, отдуваясь и прикладывая холодные ключи к зреющей опухоли под глазом. «Эх, Георгий, Георгий,— журил он самого себя,— и когда только ты научишься, возвращаясь из Перника, смотреть по сторонам. Это тебе еще один сюрприз от управления шахты...»

В дворике первой увидела Георгия младшая сестра Еленка. Угловатая, голенастая девочка-подросток на мгновение замерла, оставив лейку, из которой поливала цветы, и тотчас кинулась к брату. Подлетев к нему, она остановилась, вглядываясь в синяки на лице, и, вскинув руки, прижала ладони к своим щекам. Не дав вымолвить брату ни слова, она круто повернулась и стремительно бросилась в глубину дворика.

— Пришел, пришел...— кричала она.— Идите же!..

Люба торопливо подошла к мужу и тихо вскрикнула.

— Я так и знала! Они тебя караулят каждый раз, когда ты ездишь в Перник.

Она не могла заставить себя даже при своих, при матери и Еленке, обнять мужа, прижаться головой к неподатливому плечу. Никогда у нее это не получалось...

Георгий привлек ее, не обращая внимания на слабое сопротивление. К ним подбежала Еленка, остановилась неподалеку и, прижав к щекам худенькие руки, смотрела на брата и Любу.

— Их было трое,— сказал Георгий.— Но прежде чем убежать, я надавал им ключами от профсоюзных шкафов.— Он весело засмеялся.

Мать приблизилась к ним и слушала, стоя со сцепленными на животе руками и покачивая головой.

— Нас всю жизнь преследовали,— грустно сказала она.— Когда тебя, сын, еще не было на свете, на нас нападали турки; едва мы остались живы. Потом, в Радомире, нас преследовали голод и нищета, и мы должны были убежать сюда. Но и здесь, когда ты подрос, тебя стала преследовать полиция. Уж такая у нас судьба...

— Ничего не поделаешь, мама, так устроена жизнь,— сказал Георгий.

— За тобой гоняются, мой сын, потому что ты немирный,— сказала мать, поднимая к нему светившееся любовью, покрытое сеткой морщин лицо.— Я рада, что ты отделал их ключами. Бог на твоей стороне, потому что их было трое, а ты один. Но все-таки тебе надо быть осторожным. Тебе еще покойный отец говорил не ходить на собрания.

— А я ему ответил, что никуда не уйду... до утра. Ты помнишь? — Он, улыбаясь, смотрел на мать.

— Помню, Георгий, я все помню. Но теперь и я хочу сказать, потому что отец твой умер и никогда больше ничего не скажет. Я хочу сказать тебе: незачем ездить в Перник, оставь эти митинги. Довольно того, что убили на войне нашего Костадина. Хватит горя на мою голову!

— Не надо, мама,— сказал Георгий, наклоняясь к ней и гладя ее плечи.— Зачем ты все это мне говоришь?

— Это не я говорю, а мое материнское сердце,— произнесла она.— Я не могу тебя осуждать. Ты не

 похож на нас — многих из нашей семьи. Ты далеко

ушел от нас всех, у тебя своя дорога. Я хочу только предостеречь тебя. Ты мой первенец...— В голосе ее послышались слезы, и она замолчала, опустив глаза и поникнув худыми плечами.

Еленка неожиданно резко повернулась и убежала к оставленной ею лейке. Она не любила, когда кто-нибудь плакал.

— Тебе тяжело, мама, я это понимаю,— негромко сказал Георгий — куда только девались его возбуждение и энергия.— Ни ты, ни я ни в чем не виноваты. Что сделаешь!..

Он ушел вместе с Любой в комнату. Минутная вспышка, овладевшая им, когда он рассказывал о схватке с хулиганами, погасла. Он молча скинул пиджак, также молча умылся и спустился в нижнюю комнату. Георгий сидел у столика, сгорбившись, молча ел, не поднимая глаз от тарелки.

Поздно вечером неожиданно пришла «синдикальный врач» — Елена.

— Меня позвала баба Параскева,— сказала она,— просила утром посмотреть Георгия. Я подумала: если пожилая женщина пошла в город, значит, мне надо поторопиться к больному.

Она осмотрела ушибы Георгия, сказала, что, слава богу, глаз не затронут, велела класть холодные примочки и выписала рецепт. Девушка говорила с Георгием решительно, и ему пришлось подчиниться.

— Елена, ты останешься ночевать,— сказал Георгий,— Люба тебя уложит.

Оказалось, что мать уже приготовила Елене постель и поставила для нее на столик кусок баницы — пирога с брынзой — и чашку кислого молока.

После ужина Люба и Елена вышли во дворик. Ночь была прохладной. Елена накинула на свои и Любины плечи пальтишко.

— Как ты себя чувствуешь? — спросила она.— Опять взялась помогать Георгию?

— Мне было бы труднее ничего не делать.

— Я бы тоже, наверное, отдала все для такого, как Георгий,— с неожиданным порывом сказала Елена.— Как врач, я не должна была бы тебе этого говорить.

«Милая моя девочка,— подумала Люба,— жизнь проста для тебя. Когда-нибудь и ты поймешь, как трудно живут люди».

— Это не жертва,— сказала она.— Пойдем отсюда. Ночи уже стали холодными, пора спать.

Они направились к низенькой двери в полуподвальный этаж, где помещалась комната матери.

— Не сердись,— быстро заговорила Елена.— Ты для меня образец чистой, мужественной женщины, жены-друга, жены-товарища.

— Зачем говорить обо мне так...— Лица Любы не было видно в темноте, но в голосе чувствовалась улыбка.— Когда люди воображают то, чего нет на самом деле, разочарование неизбежно и особенно больно.

— Я говорю только то, что чувствую,— возразила девушка.— Когда я в первый раз увидела тебя и услышала, как ты читаешь свои стихи... Если бы я могла, как и ты, писать стихи! — Елена остановилась у трех ступенек, спускавшихся к двери в полуподвал, и досадливо топнула ногой по обкатанным речным голышам, которыми была вымощена земля у стены дома.— Ну почему у меня нет ничего за душой? — воскликнула она.

Люба тоже остановилась и оперлась о холодное, пахнущее пылью и чем-то терпким молодое персиковое дерево, росшее у двери. Тонкий ствол упруго качнулся.

— Как просто все для тебя...— сказала Люба.
— Что с тобой? — проговорила Елена, дотрагиваясь до ее плеча.
Люба не отнимала лба от холодной пахучей коры.
— Стихи не просто пишутся, стихами живут,— сказала она, отрываясь от дерева.— Я ушла от стихов, все отдала Георгию... Это не жертва, это обязанность. Он нужен людям больше, чем мои стихи...
Елена молча стояла перед ней, напрасно вглядываясь в скрытое темнотой ее лицо. Потом сказала:
— Прости, я не понимала...
— Иди спать, милая девушка, и не обращай на меня внимания.— Люба обняла Елену.
Проводив Елену, Люба пошла к себе. На дорожке около ступенек в верхние комнаты мелькнула чья-то тень. Худенькая высокая девочка кинулась к Любе из кустов и обхватила ее шею тонкими холодными руками. Через мгновение она отпрянула и с тихим смехом скрылась в темноте, так же внезапно, как и появилась.

XI

Георгий вынужден был на несколько дней улечься в постель. Удар кастетом был слишком силен и, по мнению Елены, вызвал небольшое сотрясение мозга. Если бы Георгий, пересилив недомогание, и встал с постели, все равно нельзя было показаться разукрашенным синяками в Народном собрании и в общинском городском совете, депутатом которого он также был избран. Люба не стала ничего ему читать — не разрешила Елена — и во дворике хлопотала с матерью по хозяйству. Оставленный всеми, Георгий пытался обдумывать статью для «Работнического

вестника» о положении на Перникской шахте, но не мог как следует собраться с мыслями.

В открытое окно, вблизи которого стояла кровать,— день выдался на редкость для глубокой осени теплым — был виден дворик, освещенный вспышками солнца. В его глубине у подгнившего деревянного забора росла старая виноградная лоза. Она распластала свои узловатые ветви-руки с лохмотьями почерневшей от времени коры на деревянной решетке, которую держали четыре столба. Летом сквозь широкие виноградные листья, словно через цветное стекло, падал на столик и скамьи, стоявшие перед решеткой, подкрашенный зеленью свет. Сейчас на почерневших ветвях торчало всего несколько съежившихся, бурых листьев. Под этой лозой в детстве они все играли, а теперь Георгий любил там, под ней же, под этой лозой, проснувшись раньше всех, неторопливо отхлебывать кофе и раздумывать о предстоящих делах.

По дворику деловито шла мать с мотком белой шерсти в руках. Из-под косынки над ухом выбивалась седоватая прядь. Взгляд матери был спокойным, пристальным, чуть удивленным и чуть ироническим, словно говорившим: «А я и не ожидала увидеть в тебе то, что уже видела когда-то давным-давно в других». Немало пожив на свете и немало испытав, она смотрела так всегда.

— Люба,— позвала мать,— поди помоги мне разобрать шерсть. Нитки перепутались так, что я ничего не могу понять.

Мать всегда была чем-нибудь занята. Георгию редко случалось видеть ее без дела. Она вязала носки детям и внукам, или ткала коврики и половички, или готовила еду на очаге, варила кофе в медной луженой изнутри кружке — джезве — с длинной рукояткой,
 оберегавшей от жара углей ее худые руки с водяни-

сто-синими нитями вен. Ее руки не знали покоя, и сама она тоже никогда не оставалась в покое.

Люба пошла за матерью к старой виноградной лозе. Женщины опустились друг подле друга на низкие скамеечки. Люба растянула на своих руках спутавшиеся толстые шерстяные нитки. Мать стала быстро и ловко отделять одну нить от другой и сматывать шерсть в клубок, а затем, кладя клубок к себе в подол темной юбки, опять распутывать пряжу.

Георгий наблюдал за ними с завистью: он готов был сейчас хоть перематывать шерсть, лишь бы чем-нибудь заняться. Вынужденное безделье было мучительным тому, кто привык к жизни на пределе человеческих сил. Глядя на мать и Любу под виноградной лозой, он принялся вспоминать. Ему ничего не оставалось, кроме воспоминаний.

В мыслях своих Георгий, казалось, без всякой связи перескакивал от одного события к другому, как это часто бывает у людей, оставшихся наедине с собой. Но если бы расположить в порядке все, о чем он думал, возникла бы картина жизни: и той, которой он жил месяц, год назад, и той, которая минула давным-давно...

В первые недели нынешнего 1914 года шли предвыборные митинги в Варне, Белой Слотине, Пернике, Сливне, Берковице. Он призывал бороться против войны, обвинял правительство в дороговизне, в невнимании к солдатским вдовам, в полицейском произволе. Его арестовывали и в Белой Слотине, и во Враце, и в Берковице. Протесты партии и рабочих помогали освобождаться. Тотчас после выхода из тюрьмы он мчался на новые митинги, и его опять арестовывали, и опять он вырывался на свободу. Власти делали все возможное, чтобы он не был избран депутатом Народного собрания. Но рабочие отдали

свои голоса за Деда и группу «тесных», а в их числе и за него. Почти каждый день ему приходилось выступать в Народном собрании, в общинском городском совете, на рабочих собраниях. От имени партии или по поручению парламентской фракции «тесных», секретарем которой его избрали весной, он протестовал против полицейского террора, требовал амнистии осужденным во время двух Балканских войн, защищал забастовавших табачных рабочих на юге, в Ксанти, и трамвайщиков Софии, протестовал против эксплуатации женского и детского труда, а потом — против военных кредитов. Он выступал и по множеству других вопросов, связанных с последствиями Балканских войн и борьбой против подготовки новой войны. Люба помогала ему искать статистические данные, готовить необходимые материалы для выступлений и статей, но и на его долю оставалось много, и он просиживал ночные часы за составлением текстов речей, протестов правительству, писал статьи.

Да и мог ли он жить иначе? С каждым годом в партии ему доверяли все более ответственные и серьезные дела. Он понимал, что те, кто создавал партию во главе с Дедом и Мастером, постепенно перекладывают на его плечи часть своей доли вовсе не потому, что устали и хотят покоя. Им, может быть, иной раз и обидно и горько оказываться в стороне от живого дела. Но они знают, что только в борьбе, в непрестанном и вечном бою создаются кадры партии. В непрестанном и вечном... И тот человек, большевик из России, Ной, тоже был все время в непрестанном бою, и в этом — они братья. Кстати... Надо обязательно увидеть его еще раз!..

Размышления отвлекли на время Георгия от матери и Любы. Он снова повернулся к окну, наблюдая,

как они перематывают шерсть. Белый клубок в коленях матери стал намного больше за это время.

Спокойно поглядывая на невестку, мать заговорила, и Георгию было слышно каждое ее слово.

— Виноградная лоза, около которой мы с тобой сидим,— говорила мать,— очень старая лоза. Ты посмотри, ее ствол у корней толще, чем рука сильного мужчины. Она росла здесь, когда еще не было нашего дома, а дому, как я помню, пошел тридцать пятый год... Каждую весну старая лоза дает жизнь молодым побегам и завязям виноградных гроздей. Вот и я так же... Я бы давно умерла от горя, если бы всю жизнь, как и эта лоза, не трудилась.— Мать опустила глаза, губы ее горестно сложились в тонкую линию, она едва приметно покачивала головой, отдавшись своим воспоминаниям, но руки ее, не останавливаясь, ловко распутывали шерстяную нитку.— Работа — здоровье,— продолжала она,— работа — богатство. Если бы не работа — правду тебе говорю,— я бы давно умерла, и все бы вы забыли меня. Столько бед пало на мою голову. А я о них не думаю, я тку или вяжу, считаю петли и ни о чем не думаю. И так забываю свое горе...

Георгий с доброй улыбкой прислушивался к словам матери. Вот зачем позвала она Любу распутывать шерсть: хочет помочь легче пережить несчастье—его ранение, поддержать, отдать часть своих сил.

— Старому человеку, наверно, легче забыться в работе,— проговорила Люба, опуская глаза.

«Бедная Люба»,— подумал Георгий, понимая, что только душевная боль вырвала у нее эти горькие слова.

— Горе для всех одинаково,— произнесла мать, пристально взглянув на Любу,— горе одинаково тяжело для старого и молодого.

Люба молчала, низко склонившись над нитками. Мать тоже не произносила ни слова. Клубок ниток делался все полнее, и, намотав на него распутанную нитку и кладя на колени, мать вдавливала его поглубже в складки платья, чтобы он не скатился на землю, в пыль.

— А молодость ты свою помнишь, мама Параскева? — мягко спросила Люба, видимо, стараясь искупить вырвавшиеся только что у нее жестокие слова.

— Наша жизнь долга,— сказала мать,— может быть, даже слишком долга, чтобы все запомнить...— Она задумалась. Улыбка озарила ее худощавое лицо, и она сказала: — Однажды на площади в бедном горном селении, где мы жили, девушки и парни танцевали хоро. Встала и я в круг и положила руки на плечи своих соседей, как это делается, когда танцуют хоро. Около меня танцевал высокий сильный парень и все, улыбаясь, заглядывал мне в глаза. Стало стыдно, и я убежала. Потом он пришел к отцу свататься. Я заплакала, мне стало жаль хоро. До сих пор, когда я слышу музыку, мне хочется танцевать.— Она замолкла, оставив нитки и задумавшись над чем-то.— Но даже в молодости мне не так часто приходилось танцевать,— продолжала она.— Жизнь была трудной, а когда пошли дети, стало еще трудней. Отец Георгия искал работы, и мы приехали в Софию, он стал шляпным мастером. Несколько лет мы строили этот дом около виноградной лозы...

XII

Мать оглядела заросший зеленью дворик. Лицо ее было одновременно радостно и печально. Сердце Георгия сжалось: он вспомнил свои детские годы.

 Мать казалась ему и в то далекое время совершенно

такою, как сейчас, хотя этого не могло быть, она тогда была молода и красива. Он вспомнил слезы матери, когда его шалости огорчали ее и отца, вечно занятого сшиванием овечьих шкурок в своей мастерской, и то, как отец учил мать по складам разбирать купленную на базаре для нее библию — единственную книгу, которую могла она читать...

— Здесь, вместе с виноградной лозой,— раздался голос матери, и Георгий вновь повернулся к окну, прислушиваясь к ее словам,— вместе с виноградной лозой выросли мои дети. Когда они были малы и неразумны и дрались между собой, я выносила им мешок с лесными орехами и давала по горсти. Каждый получал от меня какое-нибудь дело. Георгий мыл полы и вязал чулки, Магда помогала мне по хозяйству, а маленькие вскапывали грядки, сажали цветы или делали еще что-нибудь. Иначе как бы справилась с ними? Самым озорным был твой Георгий. Однажды я поручила ему снести в пекарню баницу. По дороге он поставил противень с тестом себе на голову. Потом он рассказывал, что улочка была слишком узкой, и потому он не мог нести противень в руках. В этих словах было немного правды, для него все улицы были тогда слишком узкими. Конечно, он вывалил тесто в канаву. Какой-то добрый человек помог ему собрать тесто вместе с пылью на противень. Пока баница пеклась, Георгий сбегал за большим носовым платком на тот случай, если придется пролить много слез...— Мать улыбнулась, замолчала и, опустив глаза, некоторое время разматывала нитки.— Да... Многих моих детей уже нет в доме,— продолжала она.— Вырос и уехал работать в далекую Россию мой второй после Георгия сын Никола, и разве кто-нибудь скажет, вернется ли он из Сибири, куда сослал его русский царь? В этом доме вырос мой третий, Коста-

дин, ушел в двенадцатом году на Балканскую войну. О нем мы получили точное известие: не вернется никогда. Любомир и Борис стали мастеровыми людьми, построили собственные дома и ушли к своим семьям. И старшая моя дочь Магдалина тоже живет в своем доме в городе Самокове... Я повторяю тебе то, что ты сама давно знаешь, только потому, что хочу сказать: какое бы горе ни выпало на нашу долю, мы должны оставаться опорой для своих близких...

Георгий одобрительно покачал головой. Перед ним опять потекли картины прошлого. Мать! Это верно: много добра принесла она им стойкостью, лаской и сочувствием в трудные минуты жизни. Георгий вспомнил, как она провожала его на работу в типографию двенадцатилетним мальчиком. Позднее она рассказывала, что плакала втайне от всех, согласившись отправить на заработки сына — совсем еще ребенка. Но что она могла сделать? Денег для продолжения учения не хватало, да и семья была многодетной.

Мать не показывала ему ни жалости своей, ни горя. Она ободряла мальчика, помогала ему справиться с недетскими заботами о заработке: дома старалась накормить получше, пораньше уложить спать, потеплее одеть зимой... Мать!

Она не разделяла непримиримости сына ко всему, что было ему не по душе. Вначале, как и все ученики, он подметал пол в цехе, носил воду, бегал за табаком для рабочих. Но однажды вместе с молодым переплетчиком из соседней переплетной мастерской Йорданом Караивановым составил макет сатирической газеты «Кукареку» и вместе с ним написал статьи и сам набрал текст. Он смог это сделать потому, что не раз внимательно наблюдал, как обращаются со шрифтом наборщики. В газете высмеивался за пьянство свя-

 щенник. Отец еле уговорил «пострадавшего» не пода-

вать в суд. Это было давно, многие подробности истории с газетой «Кукареку» стерлись в памяти. Осталось ясным и не тронутым временем воспоминание о матери. Она тогда спросила Георгия: «Зачем ты задираешь людей? Нам и так нелегко живется, сын мой, а тебе, если ты останешься таким нетерпимым, будет еще труднее». «Я напечатал про него правду»,— возразил Георгий, и мать больше ничего не сказала.

Вскоре началась первая большая стачка печатников. Ученики, не без помощи Георгия, создали свой особый стачечный комитет. Георгия избрали председателем. Каждое утро он собирал несколько десятков учеников и обсуждал с ними, как идет стачка. Это была первая в его жизни стачка! Он перестал приносить домой даже те гроши, которые иной раз перепадали ему. Ни одного упрека не услышал Георгий от матери. Она сказала только: «У тебя, наверно, есть люди, с которыми можно посоветоваться. Слушайся их, Георгий, и не поступай самовольно»...

Через несколько лет он вспомнил слова матери: нашелся такой человек. В 1904 году Георгия выбрали управляющим делами Общего рабочего синдикального союза. Он оставил типографию — к тому времени он был уже опытным наборщиком — и переселился в маленькую комнатку канцелярии на втором этаже партийного клуба, куда вела узкая деревянная лестница. Руководил союзом Георгий Кирков — Мастер. Он являлся на работу в черной широкополой шляпе, с потертым, набитым бумагами портфелем в руке и сразу брался за статьи и листы корректуры газеты «Работнически вестник», которую партия поручила ему редактировать.

Георгий знал его по выступлениям на рабочих собраниях, статьям и рассказам. Особенным успехом среди рабочего народа пользовались веселые и груст-

ные происшествия с героями сатирических миниатюр Мастера — неутомимым тружеником Нейчо Молотом, бедняцким философом дядей Ганчо Натруженным и жизнерадостным пролетарием Трайчо Заработком. Многие читатели считали, что автор был их братом, рабочим — так хорошо знал Мастер горести, радости и заботы трудового люда. Когда Мастер решил расстаться со своими героями и написал, прощаясь с ними, что их смешные прозвища и скромные деяния постепенно перейдут в обширный храм забвения, их никто не захотел забыть. Герои в заплатанных шароварах и облезлых бараньих шапках оставались в душах людей. Над ними попрежнему смеялись, но не насмехались,— смеялись потому, что нельзя скорбеть и плакать, когда видишь светлые образы людей, отмеченные печатью нищеты и непосильного труда, но исполненные житейского героизма. Они будили дремавшие до поры силы. Скромные герои эти помогли Георгию заглянуть и в душу самого автора, понять и полюбить его.

С тех пор как Георгий начал сотрудничать с Мастером, иной раз целые дни проводя подле него в маленькой комнатке, слушая его советы, его беседы с рабочими, он понял, в чем заключалось скрытое от посторонних глаз обаяние личности этого человека: Мастер пробуждал в людях стремление мыслить, действовать, искать новые пути. Это был друг Деда. Так же как и Дед, Кирков в юности учился в России. Потом в Австрии получил специальность техника-топографа. Вернулся в Болгарию убежденным социалистом. Вместе с Дедом создавал партию, стал одним из ее руководителей. Оба эти человека вели непримиримую борьбу с оппортунистами — «широкими» и оба стремились к тому, чтобы партия укрепила свое

влияние среди рабочих и наиболее талантливые рабочие пришли к ее руководству.

Мастер предоставил Георгию свободу действий, посылал его руководить стачками, иной раз и сам появляясь в стачечных комитетах, но лишь затем, чтобы поддержать, посоветовать, укрепить в своем помощнике веру в собственные силы. Потому-то во время крупных стачек, подвергаясь опасности быть арестованным и даже убитым из-за угла наемными террористами, Георгий привык к смелости и решительности.

Так было и во время стачки шахтеров в Пернике в 1906 году, когда они встретились с Иваном, так же было и в 1907 году, когда забастовали рабочие деревообделочного комбината в Кочериново. И в этот раз на собрание рабочих явилась полиция. Пристав объявил Димитрова арестованным. Георгий потребовал письменный приказ об аресте. Рабочие тоже начали спорить с приставом, и толпа окружила полицейских. Георгий спокойно ушел, избежав ареста, и продолжал руководить забастовкой.

В том же 1907 году в Пернике вновь забастовали шахтеры, и Георгий тотчас же приехал туда, получив от Мастера задание руководить стачкой самостоятельно. Потом Кирков и Димитров вместе руководили новой стачкой в Пернике. Мастер был доволен: Георгий научился действовать самостоятельно. Весной следующего года Георгий поехал во Врацу к рабочим медного рудника «Плакалница». Здесь было сильно влияние оппортунистов — «широких», профсоюза не существовало. Георгий выступил на нескольких митингах, убедил создать профсоюзную организацию. На одном из митингов подкупленные бандиты стреляли в него. Он не сошел с трибуны, продолжал речь. Он должен был доказать рабочим, что им следует

верить в стойкость «тесных». Бандиты только помогли ему в этом.

Когда он вернулся в Софию, Люба сказала, что знает о выстрелах на митинге и что провела несколько бессонных ночей. Она готова была уехать к нему, и выступать на митингах вместе с ним, но ее удержало его задание — растить актив среди женщин-работниц. От женщин многое зависело: там, где жены поддерживали мужей в стачечной борьбе, стачка шла успешнее.

— Днем, когда я была с людьми,— говорила Люба,— я чувствовала себя рядом с тобой — тоже боролась за успех стачек. Только по ночам становилось плохо.

В то время ей поручили редактирование газеты «Швейный рабочий», она стала писать стихи, читала их на вечерах в клубе партии. Однажды сыграла главную роль работницы в пьесе «Стачка». Георгий смотрел на нее из притихшего, темного зала и думал о том, что Люба на сцене живет своей реальной жизнью и что переживания героини, которую она играет,— председателя стачечного комитета — это ее собственные переживания. Прекрасным помощником и агитатором партии стала Люба...

XIII

Размышления о пережитом завладели Георгием, и он отдавался им, не замечая ничего вокруг. Его мысли обратились к тем дням, когда Мастер уступил ему свое место — предложил избрать Димитрова руководителем синдикального союза. Это случилось в

1906 году. Но Мастер по-прежнему оставался для

него человеком, с которым обо всем можно было посоветоваться.

В 1909 году Дед и Мастер предложили избрать Георгия членом Центрального Комитета партии. Оба эти человека давали дорогу Георгию, и это окрыляло его, заставляло работать и работать. Его арестовывали на митингах и во время демонстраций, в 1912 году заживо погребли в страшной тюрьме — Черной Джамии, нападали из-за угла, стреляли. Усилия врагов были напрасны. На каждое нападение, на каждый арест он отвечал еще более яростным «работать, работать»...

Но вот случилось то, чего он никогда не ждал и от чего наконец душа его дрогнула: силы Любы стали падать, сердце ее сдавало. Она не оставляла его в беде. Спасла его здоровье в Черной Джамии — вновь стала работать белошвейкой и на заработанные деньги каждый день передавала ему продукты. Она защищала его на демонстрациях от полицейских и мужественно держалась во время обысков, пряча у себя на груди прокламации партии. Георгий видел, что Люба тает на глазах. Бледность заливала ее лицо, едва она хоть немного утомлялась, и синие тени ложились под глазами. Тогда-то Елена и заставила ее уйти с работы в Центральной женской комиссии и заняться своим здоровьем.

Георгий старался никому, даже Любе, не показывать, какая тяжесть легла ему на душу. Он оставался так же непримирим к врагам, так же беспощаден и грозен в своих выступлениях в Народном собрании, и все так же видели его у себя рабочие Перника и Варны, Ксанти и Русы, Плевена и Видина. И никто не знал, какой ценой доставалось ему быть прежним, неистовым Георгием Димитровым. Разве что мать догадывалась, без навязчивости старалась подбодрить

его ласковым словом и улыбкой в те редкие часы, когда он бывал дома.

Да, мать!.. Немало бед свалилось на ее голову — она права в этом. Второй после Георгия ее сын Никола уехал в Россию работать переплетчиком, прислал письмо, просил номера болгарских газет с перепечатанными в них статьями Ленина. А четыре года назад, в 1910 году, его арестовали и отправили в Сибирь, и никто как следует не знает, что с ним случилось. Мать теперь чувствует, что судьба самых младших — Тодорчо и Еленки тоже может принести ей немало горя. Они еще малы — старшему, Тодорчо, шестнадцать, а Еленке и того меньше,— а уже расспрашивают о Николе и о том, почему русский царь сослал его в Сибирь, и хотят знать, что говорит на митингах Георгий и что написано в книгах, стоящих на полках в комнате их старшего брата. Мать хорошо знает, что́ все это может означать, и готовит себя к новым испытаниям.

...Со двора до Георгия донесся спокойный голос матери. Начала того, о чем она сейчас заговорила, он не слышал, занятый своими мыслями. Напрягшись, он ловил ее слова.

— Молодым,— говорила мать,— кажется, что несчастья никогда не кончатся. Так происходит оттого, что у молодых меньше терпения.

Мать замолчала, наматывая на разбухший клубок нитки. Клубок все увеличивался и увеличивался, и за это время все прибавлялось и прибавлялось новых картин ушедшей жизни в воспоминаниях Георгия. Мать сунула клубок в складки платья на коленях и принялась отделять одну от другой спутавшиеся нитки, натянутые на руках Любы.

— Посмотри,— вновь заговорила мать,— как медленно мы с тобой работаем, а клубок у меня на коле-

нях стал уже больше спелого яблока. Если бы мы потеряли терпение и стали торопиться, мы бы только еще больше запутали пряжу...

Мать проста и бесхитростна, и в этом ее сила. Смуглые суховатые пальцы ее проворно работали, и она спокойно говорила о том, откуда берется у людей способность сопротивляться горю и — работать, работать...

Вся шерсть была смотана в клубок. Мать поднялась.

— Я совсем заговорилась сегодня,— сказала она.— В доме еще столько дел. Кто же будет работать за меня!

— Спасибо тебе, мама Параскева,— сказала Люба, вскидывая на нее глаза.

— За что ты меня благодаришь? — пожимая худощавыми плечами, сказала мать.— Я позвала тебя помочь распутать пряжу. Это я должна сказать тебе спасибо.

...Георгий вылежал в постели два дня, но дольше оставаться в бездействии не мог. Наутро третьего дня он встал. Люба решила проводить его. Синяк и опухоль еще не прошли, но голова стала ясней. На узкой улочке Кирилла и Мефодия при входе во двор, залитый холодным солнцем, где стоял дом партийного клуба, они расстались; Люба направилась к работницам, у которых еще не успела побывать.

Едва он устроился за столом в комнатке канцелярии, Елена крикнула через двор из своего окна:

— Добрый день, Георгий! Я принесу чашечку...

Она пришла быстро. Осмотрела ушиб, сказала, что опасности нет, хотя лучше не слишком переутомлять себя.

— Где Люба? — спросила она.

— Ушла к работницам.— Георгий нахмурился.— Я знаю, что ты против, но что я могу сделать!

Елена молча опустила глаза. Георгий смотрел на нее, не притрагиваясь к кофе.

— Почему ты не пьешь? Кофе остынет,— суховато сказала Елена.

Он стал отхлебывать с ложечки густую ароматную жидкость.

— Может быть, принести еще чашечку? — монотонным, безразличным голосом спросила Елена.

Он внимательно взглянул на нее.

— Ты считаешь, что стало хуже? — спросил он.

— Я принесу тебе еще чашечку,— так же безразлично повторила она и поднялась.

Георгий резко встал и подошел к ней.

— Елена,— воскликнул он,— делай все, что считаешь нужным. Все! Слышишь?

— Я хочу показать ее более опытному врачу,— спокойно произнесла Елена,— скажи ей, что ты настаиваешь.

Елена ушла, не спросив, нужно ли еще кофе.

Вскоре пришел Мастер. Он остановился у порога, прижимая к груди портфель и сняв шляпу,— невысокий, в пенсне, с откинутыми назад волосами, с мирной бородкой клинышком... Молча посмотрел на Георгия. Невольным движением Георгий прикрыл свой синяк под глазом.

— Я уже слышал,— сказал Мастер.— Убери,— и он махнул шляпой, заставляя Георгия отнять пальцы от лица.— Был сейчас у тебя дома, баба Параскева сказала, что ты здесь. Не рано ли?

— В порядке.— Георгий усмехнулся.— Я живучий!

— Это банда «широких»! — воскликнул Мастер.— Предатели!

Он кинул на стол портфель, а вслед ему — шляпу. Затем подошел с подобревшими сразу глазами за стеклами пенсне, крепко, обеими руками сжал плечи поспешно вставшего Георгия. Что-то дрогнуло в глазах Мастера. На мгновение Георгию показалось, что он хочет по-отцовски обнять.

— Ну, ничего! — воскликнул Мастер, поборов минутную слабость.— Ничего! — Повторил он, сильнее сжимая плечи Георгия.— Русские говорят: за одного битого двух небитых дают.

Он отошел от Георгия, снял пенсне. Щурясь, стараясь скрыть волнение, стал протирать платком поблескивающие в руках стеклышки.

— В Пернике обнаружились разительные факты,— сказал Георгий, помогая ему своим деловым тоном успокоиться.— Шахта в ужасном состоянии, общежитие скорее похоже на тюрьму...

— Знаю,— сказал Кирков, прерывая его и, надев пенсне, глянул на Георгия острым, полным мысли взглядом.— Потому и зашел к тебе. Перник — это еще один случай поднять свой голос против войны. И мы поднимем его! Нужна речь по бюджету министерства труда, и ее должен произнести именно ты — вчерашний рабочий.— Кирков с ободряющей улыбкой посмотрел на Георгия.— Ничего! Ничего, что они тебя побили. Ты, рабочий, ответишь им не кулаками, а разумом. Этих прожженных буржуазных политиков будет громить достигший политической зрелости и культуры пролетарий.— Мастер весело и просто взглянул на Георгия.— Ты помнишь моих героев, моих любимцев в старых бараньих шапках и крестьянских шароварах?

— Кто их забудет!

— Ты знаешь, почему я расстался с ними? — Мастер не дал ответить Георгию и оживленно продол-

жал: — Я смотрел на таких, как ты, появлявшихся уже тогда, много лет назад, и думал, что нужны другие герои. Я променял литературу на жизнь, литературных героев — на живых людей,— Мастер лукаво подмигнул ему,— и, кажется, не прогадал...

— Эй, Георгий,— послышался со двора звонкий голос Елены,— я принесу две чашечки...

Она помахала рукой из своего окна. Мастер подошел к окну и ответил ей тем же...

А спустя полмесяца Георгий опять стоял на трибуне Народного собрания и с обычной своей энергией произносил новую речь.

XIV

Георгий перечитывал работы Ленина, искал в них поддержки и ответа на вопрос, что делать сейчас, немедля, пока война не захлестнула и Болгарию. Его все время не оставляла мысль, что тем человеком, который связан с Лениным, и, может быть, потому както свежее, смелее оценивает события на Балканах, был Буачидзе, и что именно от него следовало ждать известий о новых ленинских оценках политического положения, новых слов Ленина и новых его советов. Некоторое время с Буачидзе не удавалось встретиться. Поездка в Перник, болезнь после стычки на улице, подготовка к выступлениям в Народном собрании отняли все время. Потом были консультации с врачами о состоянии здоровья Любы и ее лечении.

Люба понимала, что отнимает у него слишком много времени, и с горечью говорила, что, пожалуй, ей лучше уехать от него куда-нибудь в Сербию и там лечиться одной, чтобы не отрывать его от партийных дел. Но в Сербию из-за войны не уехать. Да и он не

хочет этого. Георгий убеждал ее, что все равно никуда не отпустит. Врачи, смотревшие Любу, склонялись к тому же, что и Елена: нужен покой, хотя бы временный. Люба вынуждена была на время оставить всякую работу.

Когда все эти хлопоты и тревоги немного поутихли, оказалось, что Ноя уже нет в Софии. С помощью некоторых «тесняков», имевших связи в высших кругах, его удалось устроить на хорошо оплачиваемую должность в провинции — управляющим крупным имением в болгарской житнице — Фракии. Лишь в начале 1915 года Буачидзе опять появился в Софии.

Георгий встретил его в нижнем салоне клуба партии вечером, перед началом выступления немецкого социал-демократа Парвуса. В зале было уже порядочно народу и, как всегда, шумно: на собрания приходили не только послушать очередного оратора, но и встретиться с друзьями, поговорить о партийных и семейных делах. Ной выглядел здоровее, крепче, чем осенью, на нем был добротный костюм, в руках — трость. Оглядывая его, Георгий негромко смеялся, долго тряс ему руку.

— Как мне не хватало тебя, друг,— сознался он.— Давно тянуло услышать твой голос. И вот...

— Это не случайная встреча, Георгий,— сказал Ной.— Я должен послушать вашего гостя. Парвус недаром остановился в Софии проездом из Константинополя в Германию. Уж мне-то можно верить, я знаю обстановку в Константинополе. На собственной шкуре испытал. Будьте с ним осторожны!

— Не беспокойся, он не встретит у нас сочувствия.

— Кажется, Парвус собирается говорить по-русски. Хочу записать все слово в слово. Наш товарищ

в Швейцарии по-прежнему проявляет интерес к Балканам. Кстати, получил очередную почту, если интересуешься...

— Ной, за ночь прочту, утром зайди наверх,— Георгий указал глазами на потолок и сунул переданную Ноем пачку газет в карман пиджака.

Они сели в зале рядом, неподалеку от трибуны.

— Где Люба? — тихо спросил Ной.

— Врачи приговорили ее к покою,— сказал Георгий.— Произошло самое тяжкое...

— Да, невероятно тяжкое,— подтвердил Ной.— Я не так уж хорошо знаю ее, но все-таки достаточно для того, чтобы понять это.

— Она говорит,— сказал Георгий,— что не хочет отрывать меня от дела своей болезнью, что ей лучше уехать.

— Понимаю ее, мужественная женщина. Но... Права ли она? Не знаю, каждый решает по-своему. И все ж...— Ной прямо взглянул в глаза друга,— Георгий, она имеет право решать. Впрочем, каждый решает по-своему.

Георгий хмуро спросил:

— По-твоему, я должен согласиться?

— Настоящее, подлинное человеческое счастье — в непрестанной борьбе,— загораясь, произнес Ной.— Ты должен найти силы остаться борцом, как бы она ни решила поступить. Другого она тебе не простит.— Ной положил свою горячую ладонь на руку Георгия.— Я верю в твои силы, Георгий.

На трибуну поднялся Кирков. За ним шел тучный, подвижной человек. Маленькие глазки гостя оживленно оглядывали собравшихся. Все на лице его было в движении: и полные губы, то и дело расплывавшиеся в любезной улыбке, и налитые здоровьем щеки с ямочками, и тонкие, словно выщипанные, брови.

Ной вынул из кармана карандаш и пачку линованных сверху вниз листов, выдранных, видимо, из конторской книги, и приготовился записывать.

Парвус говорил по-русски, Кирков переводил на болгарский. «Интернационал и война» — так озаглавил свое выступление докладчик. Вскоре стало ясно, что выступление Парвуса ничего общего не имеет с названной им темой. Он поносил русскую социал-демократию, говорил, что она не помнит Девятое января и что тени и муки борцов за свободу России зовут немцев освобождать русскую демократию...

— Наивозмутительно и подло,— тихо процедил сквозь зубы Буачидзе, не в силах сдержаться и продолжая быстро записывать слова «освободителя России».— Чего можно еще ожидать от этой туши!

Все полтора часа Парвус призывал болгарских социал-демократов и Болгарию участвовать в войне на стороне Германии...

Не испытанное прежде волнение охватило меня, когда я увидел в Центральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма в Москве письма Ноя Буачидзе Ленину. Они писались в Софии в конце 1914 и в 1915 году и регулярно приходили к Ленину в Швейцарию. Посеревшие от времени листы конторской книги и графленные в крупную клетку тетрадные странички густо покрывали написанные мелким, неразборчивым почерком строки.

Представилось, с какой нервной быстротой, иногда пропуская буквы или запятые, исписывал Ной многие страницы, торопясь поскорее сообщить Ленину о реферате Парвуса. Содержание его было изложено почти дословно и резко прокомментировано. В других письмах Ной спрашивал совета ЦК РСДРП по

национальному вопросу, сообщал лично Ленину о положении в социал-демократических партиях Румынии, Греции, Сербии. Смелый и преданный революционным идеям грузин по национальности, российский социал-демократ и большевик по убеждениям, как он сам себя называл, проникал нелегально в Балканские страны, чтобы как можно обстоятельнее ответить на вопросы Ленина.

В одном из писем Ноя оказались и такие строки:

«Масса везде с нами, но из лидеров только на Благоева, Димитрова... можем всегда и везде вполне рассчитывать».

Многое сказало мне это свидетельство большевика, дошедшее к нам из того бурного военного времени, которое отделяли всего два с лишним года от Октябрьской социалистической революции...

В конце «реферата», вытирая платочком капли пота на острых залысинах, Парвус прокричал:

— Объединение демократических стран против России — вот наша задача, вот историческая заслуга германской социал-демократии перед всей Европой!

В зале раздался откровенный смех, все задвигали стульями, громко заговорили.

У выхода к Георгию и Ною подошел Иван, приехавший на доклад из Перника.

— Дрянной человек,— сказал Иван.— Его могли побить, если бы нас не предупредили, что надо сохранять спокойствие.

На улице Буачидзе сказал Георгию:

— Его не побили только по партийной дисциплине.— Буачидзе зло рассмеялся.— Прекрасное продолжение нашего разговора; если уйдем мы, наше место

займут агитаторы за уничтожение человечества и мировой культуры.

— Нет, вечный бой!..— решительно сказал Георгий, отрываясь от своих дум.

— Вечный бой! — с силой повторил Ной.

Спустя месяц оба они были на всебалканском митинге, созванном «тесняками» вместе с румынскими и сербскими социал-демократами в Софии. Ной опять записывал выступления ораторов, слушая, как Дед говорил о братской солидарности с большевистскими социал-демократическими депутатами Думы, которые были осуждены на пожизненную каторгу в Сибири «хулиганствующим царизмом».

Осенью Ной передал Георгию брошюру Ленина «Социализм и война» в издании редакции газеты «Социал-демократ».

— Читай,— сказал он.— Тут и о болгарских товарищах есть кое-что.

Они сидели в канцелярии синдикального союза. Георгий взял брошюру, начал просматривать. Вскоре он уже впился глазами в текст, позабыв о друге. Ной не мешал, догадывался, что́ испытывает сейчас Георгий. Лицо Георгия стало сосредоточенным, торжествующая улыбка осветила его и придала ему какую-то особенную живость и силу.

«И парламентаризм признают наши товарищи из РСДР Фракции,— читал Георгий,— признают болгарские, итальянские товарищи, порвавшие с шовинистами. Парламентаризм парламентаризму рознь... Парламентская деятельность одних приводит их на министерские кресла, парламентская деятельность других приводит их — в тюрьму, в ссылку, на каторгу. Одни служат буржуазии, другие — пролетариату. Одни — социал-империалисты. Другие — революционные марксисты».

— Мы на правильной дороге,— сказал Георгий, отрываясь от брошюры,— вот это для меня очень важно.

Георгий был прав. Вскоре после этого, в сентябре, на международную конференцию социалистов-интернационалистов в Швейцарии, в деревеньке Циммервальд, поехал Коларов. Потом он рассказывал, как познакомился с Лениным. На одной из дорожек Циммервальда делегаты увидели Ленина с рюкзаком за плечами, он возвращался с гор, где перед этим отдыхал. На конференции Коларов изложил интернационалистскую позицию Балканской социал-демократической федерации, рассказал о борьбе тесняков против войны. «Когда я говорил,— вспоминал Коларов,— я заметил, что Ленин слушал с особым интересом... Насколько заинтересовала Ленина эта часть моего доклада, видно из того, что, сидя рядом со мной, он передал мне записку, в которой спрашивал: «Как вы думаете, можно ли работать в армии, в окопах?»»

Антивоенная деятельность тесняков нашла поддержку Ленина и группы революционных интернационалистов. Да и в самом деле, на год с лишним было задержано вступление Болгарии в войну на стороне Германии. Лишь в октябре 1915 года болгаро-германские войска совместно с австро-венгерскими оккупировали Сербию и Черногорию.

Той же осенью у софийского почтамта Ноя арестовали. Через третьих лиц Георгий узнал, что связь Буачидзе-Гурули, как он все еще назывался по паспорту,— с «тесными» социалистами не доказана. Ной опять выиграл поединок со следователем. Все-таки подозрительного иностранца выслали в Швейцарию. Георгий понимал, почему Ной избрал Швейцарию — там был Ленин.

XV

Почти через год теплым летним вечером Георгий и Люба возвращались из ресторана неподалеку от центральной улицы Марии-Луизы — места встреч деятелей партии, художников, писателей. Люба шла молча, погруженная в свои мысли. Когда-то она познакомилась в этом ресторане с Мастером и его женой — тоже партийным работником — Тиной, с Благоевым, с другими товарищами Георгия. Здесь же она встретила «синдикального врача» Елену. Сегодня Люба в душе прощалась с ними, прощалась с непринужденной обстановкой вечерних бесед, когда каждый юнец по неписаным традициям мог вступить в спор с признанным бойцом партии.

Она прощалась со всей той жизнью, которой жила много лет. За этот военный год у нее созрело твердое решение уехать и тем освободить Георгия от забот о своем здоровье. Она видела, как тяжело ему разрываться между работой для партии, которая с началом войны требовала от него всех сил, и заботами о ней, Любе, о ее лечении, думами о ее тяжкой судьбе. Надо набраться мужества и уехать на родину — теперь туда можно проехать, Сербия оккупирована.

— Георгий,— произнесла Люба, шагая подле него по темным улочкам,— мне тяжко говорить, но я все обдумала и должна сказать...— Она заметила, с какой тревогой посмотрел на нее Георгий. Ей трудно было продолжать.

Георгий, наверное, почувствовал ее состояние и сказал, как бы ободряя ее:

— Говори, я слушаю.

Ей даже показалось, что он ждал разговора, готовился к нему.

— Я должна уехать,— сказала Люба.

Георгий остановился на темной улице и молча смотрел ей в глаза.

— В чем бы я ни был виноват перед тобой, ты этого не сделаешь,— сказал он, отступая от нее.

— Ты ни в чем не виноват... Пойдем.

Некоторое время они шли молча. Люба снова заговорила:

— Врачи запретили мне работу. И стихи я не могу писать... Не знаю отчего. Может быть, для этого надо все время гореть, как и ты, а может быть, потому, что я давно оставила поэзию. У меня не хватало ни сил, ни времени для стихов и для тебя, и я выбрала тебя. А наверное, все-таки, я не должна была бросать ни тебя, ни стихов. Лучше бы совсем сгореть, чем сейчас...

Георгий молчал. Любе показалось, что только сейчас он начинает осознавать смысл ее слов. Его рука, на которую она опиралась, перестала быть неестественно напрягшейся.

— Милая Люба, что же нам теперь делать? — сказал Георгий, осторожно пожимая ее пальцы.

— Мне надо уехать,— сказала Люба.

— Моя Люба! Мне казалось, что я знаю тебя, а я все-таки не знал. Как ты будешь жить там?

— Я привыкла жить самостоятельно. Ты ведь знаешь, у меня не было родного дома. От тетки ушла с тринадцати лет, зарабатывала себе на хлеб. Потом Белград, Вена, работа белошвейкой на богатых господ... В Белград приехала в поисках работы совсем девочкой. Тот человек, который стал моим первым мужем,— я знаю, тебе всегда неприятно, когда я вспоминаю о нем, но сегодня я должна сказать,— он хотел сделать из меня послушную домашнюю работницу, и я не вытерпела. Ушла от него через несколько месяцев, хотя мне и некуда было идти. Я скиталась

всю молодость, так же как скиталась и ваша семья, и другие бедняки. Не обвиняй себя в том, что ты не понимал меня. Зачем эти мучения? Просто мне не привыкать скитаться — вот в чем дело...

Они долго молчали, шагая рядом, и со стороны могло показаться, что в этот поздний час идут по пустынным, темным улицам города двое влюбленных. Впрочем, так оно и было.

— Я никогда не примирюсь... Ты можешь уехать, но ты не в силах заставить забыть себя.

— Георгий, я думала, что ты поймешь меня и поможешь мне быть сильной. А ты...

— Хорошо, уезжай,— воскликнул Георгий.— Я верю, что ты иначе не можешь. Но ты совершаешь ошибку и рано или поздно поймешь это. Ты вернешься! — сказал он.— Ты не сможешь не вернуться!

Они долго шли молча. Наконец Люба сказала:

— Может быть, я окрепну немного, снова смогу работать и тогда приеду...

Люба уехала через два дня. Она ничего не сказала ни «синдикальному врачу» Елене, ни своим знакомым и товарищам по прежней партийной работе. Прощаясь с матерью, она увидела в ее глазах такую невысказанную горечь и скорбь, что едва не расплакалась.

С отъездом Любы во дворике подле старой лозы стало совсем тихо. Георгий по-прежнему уходил рано утром и возвращался к вечеру усталым и молчаливым. Даже Еленка притихла и, приходя из гимназии, забивалась в гущу кустов с книгой в руках.

Здесь ее однажды и разыскал Георгий.

— Хочешь пойти со мной в ресторан? — спросил он, с улыбкой оглядывая девочку, как-то неожиданно для него вытянувшуюся. Вечно занятый своими делами, он и не заметил, как она повзрослела.

Еленка вскочила.

— Со мной в ресторан? — воскликнула она, подняв на брата вопрошающие глаза.

— А почему же нет! Ты совсем большая. Смотри, платье тебе стало коротко.

— У меня есть другое, школьное. А в какой ресторан? В этот, недалеко от нас?

— То не ресторан, Еленка, а обыкновенная корчма,— Георгий весело рассмеялся.— Мы пойдем с тобой в настоящий, около улицы Марии-Луизы.— Улыбка почему-то сбежала с его лица, глаза потемнели.

— В тот, куда вы ходили с Любой? — вырвалось у Еленки.

Георгий молча опустил глаза. «Наша Еленка стала совсем взрослой,— подумал он,— все понимает!»

— Да, в тот...— подтвердил он, и боль разлуки с Любой пронзила его с такой же силой, как на вокзале, когда поезд на его глазах неотвратимо все дальше и дальше увозил ее.

Они пришли в ресторан около восьми вечера. Многие столики были уже заняты. Веселый гул стоял в зале, огни люстр празднично сверкали, заливая все вокруг ровным ярким светом. Еленка остановилась около двери, не смея сделать ни шагу. Глаза ее искрились, она сжимала кулачок у едва определившейся груди. Георгий с доброй улыбкой наблюдал за ней.

— Прошу,— сказал он, уступая ей дорогу и жестом приглашая следовать вперед.

Их увидели, заулыбались. Какой контраст: совсем юная, ослепленная блеском огней девушка и прекрасно владеющий собой, модно одетый, с элегантной бородой господин!

Они прошли в глубину зала.

 — Здесь,— сказал он, останавливая свою спут-

ницу перед свободным столиком.— Прошу,— он отодвинул кресло, приглашая сестру сесть.

Еленка подняла глаза.

— Вы с ней сидели за этим столиком?

— Ты — на ее месте,— сказал Георгий.

Заметив Георгия, к ним спешил официант. Это был поживший на свете человек с вышколенными манерами. Георгий знал его — он всегда обслуживал их с Любой — и раскланялся с ним, как со старым знакомым.

— Вы сегодня устало выглядите,— сказал официант, отвечая на поклон,— желаю вам отдохнуть у нас вместе с вашей дамой.

Он поклонился Еленке. Глаза его вдруг сузились, выражение лица стало холодным. Георгий заметил и, ему показалось, понял эту внезапную перемену: официант не ожидал увидеть вместо Любы другую. Приняв заказ, он еще раз с подчеркнутой холодностью поклонился. Георгий невольно следил за его поведением, проверяя догадку. Уходя, официант искоса глянул на клиента, и столько укора и презрения было во взгляде пожилого человека, привыкшего сдерживать проявление своих чувств, что Георгий отвел глаза. Горечь и негодование на этого человека, посмевшего заподозрить Георгия в том, что он променял Любу на молоденькую девчонку, охватили его. Он заставил себя подавить волнение и взглянул на Еленку. Девочка с бледным, напрягшимся лицом, смотрела на него.

— Уйдем отсюда...— прошептала она.

Георгий нахмурился и ничего не ответил. Они молча дождались официанта с заказанными блюдами, молча поели и, торопливо пробираясь между столиками, вышли на улицу.

XVI

На следующий день Георгий появился в залитом электрическим светом зале Народного собрания таким, как всегда: его спутавшиеся волосы были откинуты назад, он шел, раздаривая улыбки немногочисленным друзьям. Все должно быть, как всегда! Он знал, что его появление в зале Народного собрания не проходит незамеченным. Пристальнее всего за ним следили враги. Их большинство, в этом зале с дубовыми креслами и стенами, отделанными дубом. Он ловил на себе внешне безразличные взгляды, но всякий раз кому-нибудь изменяло хладнокровие, и в толпе добротно одетых людей нет-нет да и блеснут полные ярости глаза... Здесь нельзя показать своей слабости. Никто не должен догадаться, что́ у него на душе, никто не должен увидеть в его глазах ни слез, ни горя, ни отчаяния. Как бы ни кровоточило сердце — самое обыкновенное человеческое сердце,— все должны быть уверены, что Димитров пришел драться. Только драться! И другим войти сюда он не может, не имеет права и никогда не войдет.

Вечером, вернувшись из Народного собрания, Георгий опустился в кресло за рабочим столом. Все в нем продолжало еще кипеть. Его отсутствующий взгляд скользнул по толстой конторской книге, лежавшей на столе: список книг домашней библиотеки. Его место на книжной полке. Люба — кто же еще? — положила его на стол.

Он машинально открыл книгу. В глаза бросились написанные свежими чернилами почерком Любы строчки. Названия новых книг. Вот в чем дело: перед тем как уехать, она приводила в порядок книги... Он листал пожелтевшие страницы, перечитывал старые записи, сделанные ее рукой по-немецки. Вот как это

было: они сидели рядом, перебирали купленные книги. Люба помогала переводить немецкий текст.

Он вскочил. Не осознавая того, он громко заговорил:

— Где ты сейчас? Где? Да вернись же, твое место здесь!

Он сжал ладонями лоб и, упав в кресло и застонав, уткнулся головой в раскрытую конторскую книгу.

Шарканье туфель по ступенькам, донесшееся снаружи, едва достигло его сознания. Он скорее почувствовал, чем услышал, что кто-то вошел в комнату. В дверях стояла мать, придерживая сухонькой рукой края накинутого на плечи теплого клетчатого платка. Светлые глаза ее смотрели с тревогой и покорностью, словно она просила прощения за то, что не смогла пересилить себя и пришла к сыну. Казалось, будто сейчас она опустит глаза и начнет робко оправдываться, просить извинения за свою назойливость. Но она не склонила головы и не опустила глаз. Взгляд ее как-то неуловимо изменился, в нем уже не было ни тревоги, ни покорности.

— Ты опять пишешь ночью...— спокойно, ровным голосом произнесла мать, точно она не видела, как только что голова сына безвольно лежала на книге.— Разве тебе не хватает дня? — ворчливо продолжала она, не желая замечать слез в его глазах.

Мать прошла через комнату и присела на край стула около окна. Рука ее с бугристыми синими прожилками вен продолжала сжимать края платка. Она молча, строго и спокойно смотрела на сына.

Георгий глубоко вздохнул. Давно позабытое детское чувство всесилия матери, полноты ее справедливости, неистощимости материнской доброты и нежности охватило его. Он быстро встал, поставил у ног

матери низенькую скамеечку и, опустившись на нее и обхватив мать руками, уткнулся головой в ее колени, как, бывало, когда-то давно, в детстве. Высохшие, но все еще сильные руки матери стали перебирать его спутавшиеся волосы, приводя их в порядок, как делали это, когда он был ребенком. Сын и мать долго сидели так, не произнося ни слова.

Георгий тяжело поднялся со скамеечки. Он расправил плечи, глубоко вобрал в себя воздух и пошел к своему месту за столом. Он опустился в кресло и, не тая своих чувств, с любовью смотрел на мать. Она заметно постарела с тех пор, как погиб Костадин. Прибавилось морщинок у глаз и около губ. Но и лицо, и глаза ее, некогда исполненные особенной, яркой и светлой красоты, свойственной горянкам, попрежнему привлекали живостью выражения, лаской и умом.

— Ты хочешь так поздно работать? — спросила мать.

— Я должен завтра выступать на митинге,— ответил он.— Я не могу просто так говорить перед людьми, которые придут меня слушать, мне надо подготовиться.

Мать слушала его, сжав тонкие губы, едва приметно по-старчески покачивая головой и не отрывая строгого взгляда от его лица.

— Ты пропадаешь весь день,— сказала мать,— а потом приходишь ночью и садишься за работу. Точно ты живешь у чужих. Я готовлю тебе еду, но она стынет и становится невкусной, потому что тебя нет с утра до ночи. Разве ты забыл, что у тебя свой дом, и своя семья, и что ты старший мужчина в семье?

— Нет, я ничего не забыл. Но у меня много других обязанностей.

— Я не хочу вмешиваться в твои дела, мне их трудно понять.— Мать тяжело вздохнула.— И не хочу спрашивать, что у тебя случилось с Любой. Может, надо было, чтобы она уехала. Я старая, и все равно ничего не пойму. Но у тебя есть младший брат и младшая сестра. Им тяжело сознавать, что ты мучаешься, не находишь себе места и целыми днями не появляешься дома. Ты должен подумать о них. Может быть, я виновата во всем, может быть, я вела себя не так, как надо, и готовила не такие кушанья, которые готовят другие. Скажи мне, что я должна теперь сделать, как себя вести.

— Мама, ты ни в чем не виновата,— сказал Георгий.— Я не могу объяснить, почему уехала Люба, но ты — повторяю — ни в чем не виновата.

Мать сидела, положив усталые руки в колени, склонив голову набок, и скорбно смотрела перед собой.

— Не мучай себя,— сказал ей Георгий.

— Когда ты был маленький,— тихо промолвила мать, продолжая смотреть куда-то в пространство,— я хотела, чтобы ты стал священником. Потом ты вырос, и тебя отлучили от церкви за насмешки над попами... Мое материнское сердце чувствует, что самый младший мой сын, твой брат Тодорчо, пойдет твоей дорогой. Сейчас его нет с нами, наша бедность заставила его бросить учение и уехать в далекое село работать. Но я знаю: когда он вернется в Софию, он опять станет вожаком молодежи из рабочих кварталов... И ты был таким же, я хорошо помню. Он во всем берет пример с тебя. А вот характером Тодорчо совсем другой. Боюсь, не выдержит он, слишком мягкое у него сердце и слабая душа... Георгий, можешь ли ты сказать ему, чтобы он выбрал для себя другую дорогу?

Слушая мать, Георгий нахмурился и опустил голову. Он встал, принялся ходить по комнате, сунув руки в карманы.

— Нет, мама, не могу я этого сделать,— сказал он, останавливаясь перед матерью.

— Ты не хочешь выполнить моей просьбы? — Мать подняла на него глаза, в которых стояли слезы.

— Мама, нельзя уговорить любить или ненавидеть. Само сердце подсказывает человеку, что он должен чувствовать и как поступать. Среди твоих детей есть разные люди. Мой брат Борис не похож на меня. Бесполезно его уговаривать, он останется таким, как есть...

— Ты несправедлив к Борису,— перебила его мать.— У Бориса есть недостатки, и я ему говорила, что он пропадет, если будет давать себе волю. Но он добрый, хороший человек. Только я одна знаю, как он меня любит.

— А как же можно не любить тебя? — мягко сказал Георгий.— Ты опора нашей семьи, опора всех нас... Но уговорить Бориса тебе не удастся — таков уж он на всю жизнь. Точно так же нельзя уговорить и Тодора оставить книги, рабочую молодежь. Сама жизнь развела их в разные стороны, хотя оба они из одной семьи.

Георгий опять опустился на скамеечку у ног матери. Она устало заговорила:

— Я боюсь, что Тодорчо уйдет от меня так же, как ушел и ты. Я скоро перестану понимать и его. Научи, что я должна делать, чтобы всегда оставаться вместе со своими детьми.

— Не знаю, мама.— Георгий свел над переносьем широкие брови.— Сердце тебе само подскажет...— Он помолчал и спросил: — Хочешь пойти завтра со мной на митинг, послушаешь, что там будут говорить?

— Нет. Не сердись на меня, Георгий, я все равно ничего не пойму. К тому же... я старая женщина, меня могут задавить в толпе.

— Ты встанешь около трибуны. Тебя будут оберегать.

Мать вновь возразила:

— Люди подумают, что старая женщина хочет что-то сказать. Но что я могу им сказать? Если я буду говорить о протестантском боге, в которого верю, рабочие меня осмеют и прогонят с трибуны. О чем же еще я могу сказать?

— Послушай то, что я буду говорить, и посмотри, как отнесутся к этому люди.

Мать подошла к Георгию, провела рукой по его плечу.

— Я знаю,— сказала она,— мне рассказывали, что тебя любят слушать. Ты говоришь, как апостол Павел...— Мать опустила глаза и, по-старушечьи покачивая головой, о чем-то задумалась. Георгию не хотелось прерывать ее дум, и он тоже молчал. Странным, как бы надтреснутым голосом она продолжала: — Каждый раз, когда ты идешь на митинг, я вспоминаю, что люди, которым апостол Павел говорил правду, побили его камнями...

Георгий встал и хотел привлечь мать, поцеловать ее в щеку, успокоить. Но она отстранилась, с болью в глазах вглядываясь в его усталое, потерявшее свежесть лицо.

— Со мной на митинге ничего не случится,— сказал он,— не надо волноваться понапрасну.

— Не сердись на меня, Георгий, я прожила на свете дольше, чем ты, и видела много горя. Нашей семье выпала тяжкая судьба, и потому я всегда боюсь, что с моими детьми что-нибудь случится. Но ты не обращай внимания на мою болтливость и живи

так, как тебе велит твоя совесть. Мне пора спать. Сегодня я почему-то устала больше, чем всегда...

Мать повернулась и неторопливо пошла к двери, шаркая по полу своими туфлями.

XVII

Рано утром мать вышла во дворик. Между темными, лишь кое-где затлевшимися от лучей раннего солнца виноградными листьями проглядывало чистое, без дна небо, словно синеющая в глубоком колодце вода. Под широкими листьями свисали наливающиеся соком гроздья винограда.

«Я такая же, как и эта виноградная лоза, прикрывающая своими листьями гроздья новых ягод,— привычно подумала мать. Она всегда думала так, глядя на старую виноградную лозу.— Вся забота о детях... Да разве одна я такая? У всех жизнь проходит в заботах о детях. Иначе все остановится, а так никогда не может случиться...»

Она начала мыть пол в своей комнате и вскоре, услышав осторожные шаги Георгия над головой, отнесла ему наверх холодную закуску и джезве горячего, пенистого кофе. Он всегда любил сам наполнить из горячего джезве свою чашку. Мать ничего ему не сказала, кроме обычных слов приветствия. Днем у него хватит работы, а работа — лучший лекарь для душевных ран.

После завтрака Еленка деловито собрала книги и тетради и убежала в школу, на ходу крикнув матери «до свидания». Матери невольно вспомнился Тодорчо. Он ведь всегда перед тем, как уйти, целовал ее в щеку. Опустив руки, провожала она его долгим взглядом. А он шел по дворику к калитке упругим, моло-

дым шагом, в простой косоворотке, туго подпоясанный ремнем. Мать очень ясно видела его сейчас в своем воображении. В руках он сжимал стопку книг. У калитки оборачивался — знал, что мать смотрит ему вслед. Лицо его светилось лаской и добротой.

Мать торопливо подметала дворик самодельным веником из прутьев. Время от времени на сухую землю падали капли слез, оставляя в пыли темные следы. Мать сейчас же заметала их, словно боясь самой себе признаться в своих чувствах. Каждый раз, когда Тодорчо уходил, ей казалось, что она теряет его навсегда.

Теперь он уже подрос, ему восемнадцать, но и мальчиком он поступал совсем как взрослый. Год назад мать не раз встречала его на улице: Тодорчо вел своих сверстников на митинг или демонстрацию. Георгий как-то сказал, что Тодорчо и его друзья еще тогда охраняли клуб партии во время рабочего собрания...

Воспоминания о младшем сыне заставили ее подумать и о другом — его тоже не было с ней — о втором после Георгия — Николе. Она оставила веник и спустилась к себе в полуподвал. Солнце высветило всю ее комнатку с небольшими, подобравшимися под низкий потолок двумя окошками и побеленными стенами. На потолке выделялись в крапинках ржавчины балки перекрытия. В углу стоял старый ткацкий станок из пожелтевшего от времени и прикосновений рук дерева.

Мать опустилась на потертый цветной коврик около сундучка, тоска охватила ее.

Никола уехал из родного дома несколько лет назад, еще до гибели Костадина на Балканской войне. Он сказал, что едет в Россию учиться мастерству переплетчика. Но не потому ли он уехал, что дом полон

братьев и сестер и ему не по душе отнимать у младших часть родительских забот? Не так уж много было места в их доме... Смелый, независимый, честный — такие люди, как он, не очень-то заботятся о самих себе. За что в Одессе арестовали Николу и царь отправил его в Сибирь — кто может сказать?..

В наши дни удалось узнать то, чего в подробностях не знали баба Параскева, родные и близкие Николы в Болгарии. Папки с протоколами дознаний Одесского жандармского управления долго хранили тайну. Перелистывая аккуратно подшитые листы, исписанные рукой жандармского ротмистра черными, прекрасно сохранившимися чернилами или аккуратно напечатанные на машинке, я понял, что сердце матери верно угадывало мужество сына в России и его борческий дух — трудно подыскать русское слово, более точно определяющее состояние души молодого болгарина.

Николу выдал живший с ним провокатор. 9 января 1910 года при обыске полиция захватила у Николы экземпляры большевистских газет «Пролетарий» и «Социал-демократ» с опубликованными в них работами Владимира Ильича Ленина «На дорогу», «Классы и партии в их отношении к религии и церкви», «Ликвидация ликвидаторства» и другими. Обнаружила полиция и Программу РСДРП, принятую на II съезде партии.

Вещественными доказательствами было установлено, что в Одессе переплетчик Никола Димитров стал большевиком. Вместе со своим соотечественником Стояном Джаровым, Вацлавом Вацлавовичем Воровским и еще несколькими большевиками он участвовал в восстановлении разгромленной в 1908 году

одесской социал-демократической группы. Никола и Стоян отправляли в Болгарию «тесным» социалистам большевистские издания и получали с родины газету «Социал-демократ», выходившую в Женеве под редакцией Ленина, а также орган «тесных» социалистов «Работнически вестник».

В марте 1911 года Николу Димитрова вместе с пятнадцатью товарищами суд приговорил к лишению всех прав и ссылке в Сибирь, в Енисейскую губернию.

Так потянулась ниточка к далеким событиям. Неожиданно для меня она привела опять к нашим дням. Но об этом дальше...

Однажды вернулся из России человек, который все-таки кое-что рассказал бабе Параскеве о Николе. В Одессе этот человек познакомился с еврейской девушкой Лизой: она пришла на занятия рабочего кружка послушать молодого болгарина. А Никола умел хорошо говорить, у него был такой же дар, как у Георгия. Русские рабочие слушали его, как болгарские — Георгия. До ареста Никола и Лиза не успели ни пожениться, ни даже сказать друг другу о любви. Лиза написала в тюрьму, что жить без Николы не может и что поедет вслед за ним в Сибирь. Перед отъездом в ссылку он написал в Болгарию. Письмо было адресовано его старшей сестре Магдалине: он знал, что мать с трудом разбирает печатные строчки библии и не прочтет письма.

Не раз читали матери его письма...

Сидя на коленях у сундучка, она медленно шептала запомнившиеся из письма слова:

— ...Я ни о чем не жалею, хотя я и ничего в жизни еще не узнал, кроме страдания со дня своего

рождения...— Мать скорбно поджала губы и покачала головой, как бы соглашаясь со словами сына.— И как видно, в страданиях я кончу свою жизнь...— негромко продолжала мать, глядя куда-то в пространство и представляя себе листки письма с неровными косыми строчками. Она запнулась, не в силах овладеть собой, прижала к тонким губам стиснутые в кулаки свои пальцы, как будто хотела сдержать рыдания. Сколько раз, слушая эти строки письма, она испытывала непреодолимое желание положить к себе на колени голову Николы и разгладить его волосы, как она перебирала вчера ночью кудри Георгия. Сердце ее болело от сознания, что не может она приласкать сына и передать ему частицу своей силы и своей веры в милосердие бога.

Вновь губы ее почти беззвучно зашептали то, что она запомнила из письма.

— ...Но я считаю, что счастлив, что страдаю за правду, и будь благословенна та звезда, которая указала мне путь к правде...— Мать судорожно вздохнула, эти слова сына чем-то напоминали ей библейские изречения.— По этому пути шло много молодых людей,— продолжала она вслух вспоминать письмо.— И они знали, что рано или поздно станут жертвами, погибнут за правду, но никто из этих храбрецов не отступил ни на шаг назад, хотя шел на верную смерть... Об одном тебя прошу: утешай мою милую мать. Пусть она не плачет, а гордится мною...

Письмо пришло несколько лет назад. А на коленях у нее лежит фотография, полученная совсем недавно. Мать до сих пор помнила веселый возглас почтальона, заглянувшего во дворик: «Для Параскевы Михайловой письмо из России!» Вместо того чтобы пойти, побежать к почтальону, она тогда в бессилии опустилась на скамеечку под лозой... Вот она, эта

фотография, из конверта, поданного ей почтальоном. Мать смотрела в изможденное лицо сына, лежащего на дощатой кровати. Рядом с ним сидела женщина с девочкой на коленях, а другая девочка стояла подле нее. До самой земли поклонилась бы мать этой незнакомой женщине, уехавшей вместе с Николой в Сибирь и ставшей там его опорой, радостью, утешением. Велика и бескорыстна может быть любовь женщины.

Мать перевернула фотографию и, разглядывая строчки, написанные неверной рукой тяжелобольного сына, прочла по памяти:

— Моей дорогой матери посылаю этот портрет... Скоро мне придется проститься с этим миром... Как хочется хоть перед смертью тебя обнять... Тут ты увидишь моих милых детей и мою подругу. Очень мне хочется, чтобы они были с тобой...

С тех пор как пришла от сына фотография, мать, не сознаваясь даже самой себе, с гнетущим чувством ждала, когда еще раздастся голос почтальона: «Параскеве Михайловой письмо из России». То будет последнее его письмо.

Мать спрятала фотографию и тяжело поднялась с колен. Постояв над сундучком, она вдруг стала торопливо поправлять платок на голове, подтыкая под его край выбившиеся пряди волос. Потом вышла из своей комнатки, потушила огонь в очаге на кухне и решительно направилась к воротам.

XVIII

Мать шла по улице походкой занятого человека, который не может терять даром времени. В одном из переулков в центре города она разыскала дом, в котором жила Елена.

— Баба Параскева! — воскликнула Елена, отступая от порога.— Что-нибудь случилось?

Она взяла гостью под руку и провела в свою небольшую комнатку. Мать, опустившись на стул, расправила складки своей широкой юбки.

— Меня никто не просил заходить к тебе, я пришла сама,— сказала мать,— так подсказало мне мое материнское сердце. Один мой сын в Сибири, я ничего не могу для него сделать. Но у меня есть еще один сын, которому очень плохо. И я подумала, что должна помочь ему, хотя он и ни о чем меня не просил.— Мать смотрела на девушку своими светлыми добрыми глазами.— Елена,— произнесла она мягко и просительно,— приди поговори с Георгием, ему плохо, он страдает.

Елена тревожно наклонилась к гостье:

— Что с ним?

— Люба уехала в Сербию, это его мучает,— произнесла мать и, заметив, что девушка хочет что-то сказать, продолжала: — Подожди, выслушай меня. Мне трудно с ним говорить, я старею и не знаю вашей новой жизни. А ты молода, ты лучше поймешь Георгия, и он поймет тебя.

Елена остановила гостью, вновь прикоснувшись к сухощавой ее руке:

— Что ты говоришь, баба Параскева? Почему уехала Люба? Я ничего не понимаю.

Мать развела руками:

— Я сама не знаю. Одно только могу тебе сказать: Георгию плохо, он страдает. Пойди к нему.

— Люба уехала от Георгия! — воскликнула Елена и прикоснулась к губам тонкими пальцами, словно испугавшись тех слов, что вырвались у нее.

 Мать тяжело вздохнула.

— Мы часто думаем,— медленно заговорила она,— что все люди живут так, как нам хочется, чтобы они жили. Но у каждого своя жизнь, она идет сама по себе, не спрашивая у нас совета. Много горя пало на мою голову, прежде чем я стала это понимать. Но я до сих пор не научилась склонять голову перед несчастьем. Может быть, бог когда-нибудь покарает меня за непокорность и непослушание... Ты должна пойти к Георгию, поговорить с ним...

Под взглядом матери Елена отвела глаза и приложила ладонь к горевшей щеке.

— Смогу ли я?..— произнесла она, словно спрашивая сама себя.— Это совсем не дело врача.

— Ты дружила с Любой,— сказала мать,— он поверит тебе.

Елена закрыла лицо руками.

— Боже мой! — прошептала она.— Что же я, девчонка, могу сделать?

— Больше мне некого просить...

Елена долго молчала.

— Хорошо,— сказала она,— я пойду.

Елена пришла к нему вечером. На приветствие девушки он безразлично, молча качнул головой, словно не в силах был оторваться от своих дум. Уголки его плотно сжатых губ, едва прикрытых усами, были опущены, веки тяжело нависли над глазами. Большой сильный человек не хотел или не мог скрывать придавившее его горе.

Елена присела на стул напротив Георгия. Профессиональная привычка врача сдерживать свои чувства помогла ей в первые минуты подавить робость.

— Георгий, что с тобой такое, скажи? — спросила Елена и сама поразилась естественности своего голоса и спокойствию, звучавшему в нем. Может быть, в первый раз за те несколько лет, в течение которых

она знала Георгия, она почувствовала, что уже перестала быть той несколько восторженной девочкой, какой приехала на родину из Женевы после окончания медицинского факультета. Она слепо отдавалась своему чувству, боготворила этого человека, преклонялась перед ним и все-таки не понимала его. Теперь выдуманный в ее девических грезах герой стал реальным, земным человеком, нуждавшимся в ее помощи.

— Ты слышишь меня, Георгий, что с тобой? — настойчиво повторила она и осторожно коснулась его плеча.

— Ничего...— ответил он.

— Где Люба? — Елена опять тронула его за плечо.

— Она ушла...

— Она придет! — вдруг сказала Елена.

Георгий медленно повернулся к девушке, посмотрел на нее каким-то странным взглядом, точно впервые увидал. Елена не опустила глаз.

— Откуда ты знаешь? — спросил он.

— Я тебе говорю, Георгий, она вернется. Я знаю, она вернется.

Георгий тяжело вздохнул и болезненно нахмурился. Потом бросил на нее косой, сверкнувший взгляд.

— Этим нельзя шутить,— пробурчал он.

— Ты похож сейчас на ребенка,— усмехаясь, сказала Елена. Ей вдруг захотелось потрепать его спутавшиеся, густые волосы.

— Девчонка! — воскликнул Георгий.— Когда ты научилась так разговаривать?

Елена сжалась, ей захотелось выскочить из комнаты. Она собрала все свое мужество.

— Как ты разговариваешь с женщиной!

Георгий насупился, засопел и повернулся к ней спиной, всем своим видом говоря, что не желает иметь с ней никакого дела. Вдруг он резко обернулся:

— Да говори же, в конце концов, что ты знаешь? Она тебе писала или ты разговаривала с ней перед отъездом?

Елена встала и начала медленно отступать к двери, растерянно глядя на него. Что она могла ему ответить? Она боялась расплакаться и расстроить его еще больше. Скорее уйти, скорее...

Георгий вскочил и быстро подошел к ней.

— Извини, Елена,— просто сказал он,— я веду себя и в самом деле глупо. Ну... я не буду больше. Сядь, пожалуйста, прошу тебя.

Елена стояла перед ним и молча слушала его извинения.

— Нет, я не останусь,— строго сказала она, в упор глядя на него.— Успокойся, возьми себя в руки, тогда мы поговорим. Я могу только сказать тебе еще раз: она вернется...

Я не выдумал отъезда Любы в Сербию ради «интересности» сюжета. Так действительно было.

У повести-документа есть свои законы рождения, не похожие на законы научно-исторического исследования. Иногда мне приходилось писать некоторые сцены, руководствуясь лишь побочными данными и впечатлениями от облика Димитрова, которые возникали после всего, что я прочитывал или слышал о нем от людей, хорошо его знавших.

Но и главные события и решающие конфликты характеров — не произвольная выдумка автора.

Нет, я не выдумал отъезда Любы. В записках старой коммунистки, ныне уже умершей Елены Кырклийской — той самой Елены, которая изображена в

моей повести в пору, когда была молодой, яркой девушкой, я прочел следующие строки:

«Рассказывая о некоторых случаях из жизни Димитрова, я надеюсь, что помогу его биографу. С этой надеждой и верой в свежесть моих воспоминаний я начинаю...

...Однажды после обеда в пятницу, когда я уже несколько дней не видела Димитрова и спрашивала себя, куда он мог деться, ко мне пришла баба Параскева. Она была встревожена. Она сказала:

— Елена, пойди посмотри Георгия, ему плохо, он страдает.

— Что с ним?

— Люба уехала в Сербию, это его мучает.

Я нашла Димитрова сидящим перед фотографией Любы, он был задумчив, и в глазах его были слезы.

Я спросила:

— Георгий, что с тобой, скажи мне?..»

Читая этот удивительный человеческий документ, я, может быть, впервые по-настоящему понял, как сложны были души всех этих людей и с какой беспощадной честностью относились они к самим себе. А ведь сила и обаяние политического деятеля-коммуниста заключены и в его преданности своей партии. и своему народу, и в его стойкости и бесстрашии, но также и в его требовательности к себе, в его человечности и способности любить и быть любимым. Да — и любить и быть любимым!..

Елена вышла из комнаты, быстро сбежала по ступенькам крыльца и только на углу какой-то темной улочки оперлась локтем на стену дома и уткнулась лицом в руку. Наплакавшись вдоволь и наспех вытерев платочком лицо, она зашагала дальше, в отчая-

нии говоря себе: «Что же я наделала? Как теперь быть?» Неожиданная мысль заставила ее ускорить шаги: надо сегодня, сейчас послать Любе срочную телеграмму. Пусть она немедленно вернется. Адрес Любы известен, его оставила баба Параскева...

Елена ворвалась на телеграф, хлопнув дверью. Девушка в окошечке с тревогой следила за тем, как она кинулась к столу с чернильницей. Строчки неровно ложились на телеграфный бланк. Не объясняя причин, Елена писала, что Люба должна вернуться немедленно...

XIX

Через три дня на улице Георгий увидел Любу. Еще не замечая его, она торопливо шла, почти бежала с чемоданом в руке. На ней был строгий дорожный костюмчик, на мягких волосах кокетливо сидела шляпка, которой Георгий никогда прежде не видел,— наверное, купленная в Сербии. Что-то незнакомое во всем ее облике поразило Георгия. У нее был подтянутый, деловито-официальный вид. Движения ее были стремительны и энергичны. На какое-то мгновение ему показалось, что сейчас она пройдет мимо, даже и не взглянув на него, что все ее мысли где-то далеко и она спешит домой лишь затем, чтобы взять что-то позабытое ею и сейчас же уйти.

В следующее мгновение они столкнулись.

Лицо Любы стало мертвенно-серым, голова безвольно качнулась, и, выронив чемодан, она почти упала на его плечо.

— Георгий...— шептала она, дотрагиваясь лбом до его сильной шеи,— Георгий... Я думала — с тобой что-то случилось...

Она закинула ему руки на плечи и крепко обхватила его, точно боясь, что сейчас он вырвется и уйдет от нее. Георгий положил широкую ладонь на ее затылок и осторожно прижал к себе ее голову. Пальцы его перебирали мягкие пряди ее волос. Он приник к ее уху и, касаясь щекочущей бородой ее лица, негромко спросил:

— Надолго?

Люба оторвалась от него и ладонью плотно прикрыла его губы.

Георгий взял ее за плечи и отодвинул от себя. Вглядываясь в ее разгоряченное лицо, он сказал:

— Я сейчас должен уйти от тебя, моя Люба. Но что я могу поделать! — воскликнул он.— Ты опять останешься одна, и опять тебе будет плохо.

Она отрицательно покачала головой.

— Иди, Георгий,— сказала она.

— Я провожу тебя домой и донесу твой чемодан. На это у меня хватит времени,— добавил он хмуро и поднял чемодан.

— Не расстраивай себя,— сказала Люба.— Ты скоро поймешь, я говорю тебе правду...

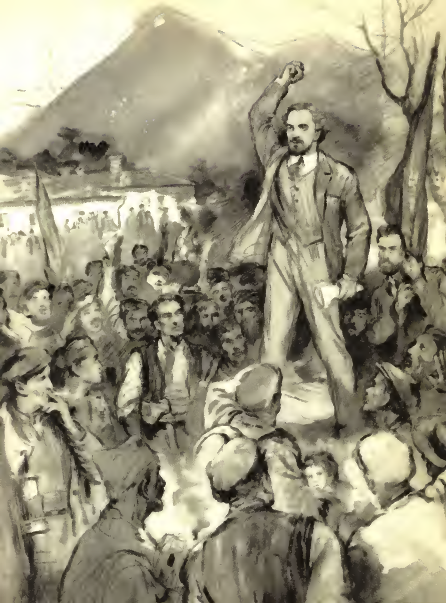
— Ты почувствовала себя лучше? — спросил Георгий.

— Да, совсем хорошо! — воскликнула она и засмеялась. Но что-то в ее смехе было неестественным. Он вновь глянул на нее и нахмурился.

Когда они вошли во дворик, Георгий крикнул:

— Мама, где ты? Приехала Люба, ее надо накормить с дороги.

Мать вышла из флигелька в глубине дворика, в котором когда-то была шапочная мастерская ее покойного Димитра, поздоровалась с невесткой и заговорила так, будто с минуты на минуту ждала ее появления:



— Все уже давно готово, я поставлю еду на стол. Иди умойся с дороги, Люба.

И она неторопливо направилась к двери в нижние комнаты.

Люба окинула взглядом дворик и, глубоко вздохнув, пошла к лозе. Она опустилась на скамеечку под виноградной листвой и, закрыв глаза, подставила свое лицо пробившемуся между листьями солнечному лучу.

Вернувшись из гимназии, Еленка весь остаток дня не отходила от Любы. Она помогала ей мыть окна и полы в верхних комнатах, а когда Люба вышла отдохнуть во дворик, устроилась подле нее. Люба понимала чувства девочки, да и у нее самой становилось теплее на душе, когда она слушала рассказы о гимназии и о подругах. Люба не делала попыток приласкать девчушку, зная, что этим только обидит и оттолкнет ее. Она говорила с ней спокойно и серьезно, как говорила бы с близкой подругой.

К вечеру, когда Георгий уже вернулся, пришла Елена Кырклийская. Ее встретили смехом и шутками. Ничто, казалось, не напоминало о шторме, пронесшемся над этим домом. Елена не стала ни о чем спрашивать и не сказала о своей телеграмме, да никто и не говорил о ней. Девушка почувствовала себя хорошо и уютно в комнатке, стены которой были заставлены полками с книгами, а на полу лежали затертые, но чистенькие, выглядевшие совсем по-домашнему коврики...

Не судите строго, если я приведу еще несколько строк из записок Елены Кырклийской:

«Без ведома Димитрова я отправила Любе телеграмму, в которой сообщала, что ей надо немедленно

вернуться. Я не объясняла причины. Через несколько дней Люба вернулась. Я пришла снова в их дом, нашла Любу и Димитрова радостными, смеющимися и веселыми»...

Люба принесла чашечки с кофе и, опустившись на свое место рядом с Георгием, со смехом сказала, что Георгий сегодня слишком часто вспоминал Елену. Он стал шутливо оправдываться. Елена ответила тоже шуткой. Весь вечер они непринужденно болтали, смех то и дело раздавался в комнате, и мать даже заглянула к ним, чтобы узнать, почему у них так шумно.

Вечером, когда Елена собралась уходить, Люба сказала:

— Я провожу тебя. Георгий останется, ему еще надо поработать.

Они медленно пошли по темной улице. Люба молчала, устав от болтовни и смеха или задумавшись о чем-то своем. Елена украдкой поглядывала на нее и, наконец, взяв под руку, сказала:

— Ты была такой веселой весь вечер...

— Больше не могу...— тихо сказала Люба.— Нет сил...

— Ты утомилась с дороги, иди спать,— сказала Елена, сжимая ее локоть и пытаясь остановить.— Я провожу тебя обратно к дому.

— Не надо. Мне приятно подышать ночной прохладой.

Они пошли дальше. Елена не решалась нарушить молчание, что-то в голосе Любы останавливало ее.

— Сегодня мне удалось обмануть Георгия,— негромко сказала Люба,— он поверил, что мне стало лучше. Он должен в это верить!

— Я не понимаю, о чем ты? — Елена повернулась к Любе и заглянула в ее лицо, едва определявшееся в темноте ночи.— Люба,— торопливо заговорила она.— Неужели ты думаешь, что Георгий разлюбит тебя, если ты не будешь казаться веселой? Нет, подожди, не отвечай,— продолжала девушка,— выслушай, что я тебе скажу...— Лицо ее разгорячилось, несмотря на свежесть ночи, голос звенел.— Он не может без тебя жить. Не может! Он был как помешанный. И тогда я побежала на телеграф и послала тебе телеграмму. Какое счастье, когда женщину так любят! Я до сих пор не понимаю, как ты могла уехать от него...

— Хорошо, слушай,— заговорила Люба.— Я хотела, чтобы ему стало лучше. Ты понимаешь?.. Мне казалось, что ему будет спокойнее, если я исчезну из его жизни, не буду дергать ему нервы заботами о моем здоровье, своей тоской от безделья, к которому приговорили меня вы, врачи. Как же ты до сих пор не можешь всего этого понять? Ведь ты же врач, ты лучше других знаешь мое положение, тебе известно, каким тяжелым может быть расстройство нервной системы и заболевание сердца. И именно ты меня обвиняешь!..

— Люба, я причинила тебе столько страданий...

— Нет, это я вам всем приношу одни страдания.

— Зачем так говорить! — воскликнула Елена. «Почему я не возражаю ей? — спрашивала она себя.— Я должна крикнуть, что она ошибается, что еще не все потеряно — пусть даже это и не так — и есть надежда на выздоровление. Но почему же я не могу произнести ни единого звука?..»

— Мне не надо было посылать телеграммы? — только и спросила Елена.

— Твоя телеграмма заставила меня понять, что я не перенесла бы его несчастья...— Люба повернулась к подруге и спокойно, точно речь шла о самых обычных вещах, спросила: — Скажи мне, Елена, скажи, как врач, много ли мне еще осталось, как долго я смогу чувствовать себя более или менее нормально? Ты врач и моя подруга — ты должна сказать правду.

— Трудно ответить с определенностью,— так же негромко и спокойно, невольно переходя на деловой тон, каким заговорила Люба, произнесла девушка.— Одно можно сказать точно: чем меньше ты будешь волноваться и умереннее будет режим, тем лучше. Большего ни один врач не сможет сказать.

— Умеренный режим! — В голосе Любы прозвучала горькая усмешка.— Ты не поняла, Елена. Я хочу знать, на сколько меня хватит, если я буду жить, как прежде, жить той жизнью, какой живет Георгий.

— Что ты задумала? — сразу охрипшим голосом спросила Елена. В одно мгновение она все поняла: поняла, почему Люба вернулась, почему весь вечер шутила и смеялась и почему сейчас говорит суховатым, деловым тоном человека, который пришел к твердому, окончательному решению.

— У меня нет другого выхода,— спокойно сказала Люба.— Мой отъезд был ошибкой. Пусть лучше я проживу немного, но проживу по-настоящему. Да, у меня нет другого выхода.

Они пошли дальше обнявшись, как две сестры, и долго молчали, думая об одном и том же.

— Ты можешь выйти из строя,— наконец заговорила Елена, тщательно подбирая слова и стараясь оставаться спокойной,— ...выйти из строя еще прежде, чем наступит окончательная развязка. Ты понимаешь, что это значит?

Люба молча утвердительно качнула головой. Через некоторое время она спросила:

— Когда это может произойти?

— Трудно сказать. Может быть, через десять лет, может быть, раньше. Как бы мне хотелось сейчас верить в чудо! — воскликнула Елена, не в силах больше сохранять спокойствие. В голосе ее послышались надтреснутые нотки, и Люба сжала ее руку.

— Ты должна помочь Георгию оставаться самим собой, и ты поможешь ему! — твердо сказала Люба.— Он ни о чем не должен догадываться...

XX

В те дни счастье вновь поселилось в домике на Ополченской. Георгий видел, что Любе и в самом деле стало лучше. Он разрешил ей время от времени помогать в его делах: переписывать статьи, искать в библиотеке материалы для речей в Народном собрании. Люба как-то душевно успокоилась, чувствовала себя бодрее, физически крепче. С затаенной радостью следил за ней Георгий, боясь, что ошибается.

Давно ожидаемое и все-таки неожиданное событие изменило наладившееся было течение жизни: зимой, в самом конце года, из России пришло известие о смерти Николы в сибирской ссылке. Роковым стал этот 1916 год. Не успевала утихнуть боль в семье от одного несчастья, как разражалась новая беда. Точно какой-то злой дух витал над домиком в рабочем квартале Софии подле старой лозы.

Мать не вскрикнула и не заплакала, когда Георгий прочел ей извещение о смерти Николы. Только как-то вся сжалась.

Георгий в этот вечер долго смотрел на фотогра-

фию Николы, снятую в те годы, когда брат жил вместе с семьей. Таким его и помнил: полным жизни, внутренней силы и прирожденной гордости.

На другой день мать вышла в кухоньку простоволосая, без платка, с изможденным, посеревшим лицом, на котором темнели полукружия под мертвенно-неподвижными глазами. Георгий, увидев ее, чуть не вскрикнул. Волосы матери за одну ночь покрылись белесыми полосами. Она заметила взгляд сына, коснулась волос ладонью и быстро ушла в свою комнатку. Вскоре она опять появилась в черном, туго повязанном платке на голове. Потом, в кухоньке, согнувшись над тазом, молча принялась за стирку, а кончив стирать, стала готовить обед, и никто не видел, чтобы она присела хоть на минуту.

Так начался для семьи новый, 1917 год. Нервный подъем охватил Любу, болезнь ее как будто на время отступила. Ей приходилось думать не только о своем здоровье. Она видела то, чего не могли заметить другие: горе надломило Георгия, приглушило в нем свойственное ему ощущение неодолимости жизни. Многим, наверное, Георгий казался таким же, как всегда. Его речи и реплики в Народном собрании вызывали, как и прежде, гнев правых депутатов. Он работал с утра до вечера, появлялся на митингах. Все, как прежде...

Но Люба не могла обмануться. Борьба с самим собой не давала покоя в душе. Он стал странно молчаливым и сдержанным. Люба не пыталась его утешать. Георгий сейчас нуждался в другом. Пока его не было дома, Люба, нарушая предписания врачей, уходила в семьи рабочих, как делала это и прежде, до болезни, говорила с работницами о причинах, породивших войну, неграмотным помогала писать мужьям на фронт, обшивала детей... Она видела, как ожи-

вают глаза Георгия, когда по вечерам она рассказывала о своих беседах с работницами.

Вскоре Люба поняла, что ему труднее, чем ей казалось.

Однажды вечером — это было в феврале, когда на вершине Витоши еще тускло поблескивал ледяной панцирь, а внизу, в городе, снега уже не было и кое-где днем бежали ручьи,— Георгий сказал ей:

— Я уже перестал верить, что мы когда-нибудь заживем спокойной жизнью. Не могу видеть тебя усталой и не могу решиться обречь тебя на покой, который может оказаться гибельнее усталости. Что делать?

— Я ни в чем тебя не виню,— сказала Люба.— Я сама решила возобновить работу, ты знаешь. Елена не возражает против моих занятий.

— Только это немного успокаивает. Но иногда мне кажется, что ты горишь, как факел на ветру, и тебя хватит ненадолго.

— Георгий,— тихо сказала Люба,— перестань мучиться. Я хочу быть рядом с тобой потому, что тебе сейчас хуже, чем мне. Это так просто понять.

— Последнее время мне не дает покоя одна мысль,— заговорил Георгий.— Иногда мне кажется, что человеческая жизнь слишком коротка и что человек, даже если он избежит насильственной смерти, не в состоянии все-таки дожить до того момента, когда осуществятся его самые далекие и самые дорогие ему мечты и станет реальным фактом то, за что он всю жизнь боролся и страдал, чему радовался в своих раздумьях о грядущем. Чем же должен жить человек, в чем его счастье? А может, оно в том, чтобы не ощущать себя закончившим путь? Понимаешь: всегда быть в пути. Всегда!

Люба как-то затаившись слушала Георгия. Через

десять лет совместной жизни этот уже сложившийся, зрелый человек раскрывался перед ней новой своей стороной. Она понимала, что Георгий говорит ей то, что было глубоко запрятано в его душе, что не давало ему покоя, вероятно, внутренне ослабляло и мучило его после известия о смерти брата.

— Ну, а если у человека все кончено,— как-то неожиданно, против воли вырвалось у Любы,— и он, хотя бы время от времени, это сознает?

— Это ужасно! — воскликнул Георгий.— Ужасно!

Он, наверное, не понял, что Люба говорила о самой себе.

— Ты прав: надо всегда быть в пути,— поспешно сказала Люба, боясь, что он все-таки поймет.— До последних сил,— добавила она решительно.

Георгий молчал, и Люба не пыталась его беспокоить. Не сразу наступает душевное выздоровление, надо быть терпеливой...

В этот вечер к ним в верхние комнаты пришла мать. Остановившись у двери, она сказала:

— Я не буду вам мешать, я ненадолго...

Георгий усадил ее в кресло. «Матери трудно одной, пусть посидит с нами»,— подумал он.

— У Николы осталась в Сибири жена,— заговорила мать,— и две девочки. Не можем ли мы пригласить их к нам в Болгарию и послать им денег на дорогу? Лиза будет где-нибудь работать. У меня хватит сил ухаживать за внучками.

— Ты верно решила, мама.— Георгий ласково смотрел на мать.— Мы непременно должны это сделать. Ты всегда в трудные дни приходишь всем на помощь. Спасибо тебе.

— Но это я должна благодарить тебя,— сказала мать, пожимая плечами.— Без тебя я не могла бы пригласить их, у меня нет денег им на дорогу...

Днем Люба пришла в канцелярию синдикального союза. Георгий встретил ее без удивления, без вопросов, подвинул папку и попросил проверить итог собранных членских взносов. Сам он принялся за составление ответов на письма рабочих. Он не упрекал Любу в нарушении предписанного врачами режима. Мог ли покой в это тягостное для семьи время принести кому-нибудь успокоение?

В середине дня, по обыкновению, появилась Елена с двумя чашечками кофе.

— Я не стала кричать через двор,— сказала она,— зимой холодно открывать окна. Погрейтесь, прошу вас.

Пришел Кирков, и Елена сбегала за третьей чашечкой. Кирков не удивился, что застал Любу вместе с Георгием. А может быть, лишь сделал вид, что не удивился. Он бросил на стол портфель, шляпу и подошел к Георгию.

— Ты слышал, какие вести идут из России? — и пристально посмотрел на него через стекла пенсне.

Георгий был благодарен Киркову за то, что он не заговорил о смерти брата. Этот чуткий человек понимает — словами не утолить человеческого горя. Но он заговорил о России, и это все равно напомнило о брате. Георгий смотрел в спокойные глаза Киркова и видел, что он тоже это понимает.

— Ты имеешь в виду положение на русско-германском фронте? — помедлив, спросил Георгий.

— Послушай, Георгий, я только что был в редакции и читал последние известия. Девяносто тысяч петроградских рабочих в середине февраля вышли на улицы, жены солдат громят хлебные лавки. Большевики прямо пишут в своих листовках, что настало время открытой борьбы. Но ведь это начало револю-

ции в России, где царь загнал, кажется, всех ему неугодных в сибирскую тайгу, расстрелял и повесил. Не напрасны жертвы, Георгий!

— Да, человеческая жизнь не так коротка, как может показаться, и вечный бой делает ее бесконечной,— продолжил мысль друга Георгий.

XXI

С каждым днем из России поступали новые сообщения. Многие из них были противоречивы или неясны. Георгий вчитывался в газетные строчки, стремясь выделить из потока новостей о русской революции, внезапно обрушившейся на мир, те, которым следовало верить. Почти каждый день он встречался с Дедом, Мастером, с редактором газеты «Работнически вестник» Христо Кабакчиевым, членом ЦК партии Василом Коларовым и другими товарищами по партии, и они горячо и шумно обсуждали русские дела.

В начале весны сообщения из России стали более определенными: в Петрограде остановились фабрики и заводы, встал трамвай, улицы затоплены рабочими демонстрациями, появились красные знамена, идут схватки с полицией... 26 февраля на Невском проспекте по приказу царя против демонстрантов били с крыш пулеметы... 27-го восстали и присоединились к петроградским рабочим несколько полков. Армия и народ брали приступом полицейские участки, захватывали правительственные учреждения. Образован Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов. По городу расклеены листовки: манифест Российской социал-демократической партии «Ко всем

 гражданам России» с призывом создать временное

революционное правительство... Самодержавия в России больше нет.

Вместе с Благоевым Георгий подписал телеграмму Петроградскому Совету от имени Синдикального совета и парламентской группы «тесных» социалистов:

«Болгарский социалистический пролетариат с восторгом встречает героическую борьбу русского пролетариата за свободу, посылает ему свои самые горячие братские поздравления и желает полной победы революции...»

Георгий сжал в кулак лежавшую на телеграмме сильную руку. «Россия проснулась! В этом разум и сердце Николы».

Вскоре после этого ярким и совсем теплым апрельским утром Георгий вышел во дворик и увидел пламя молодых листьев на светлых ростках, брызнувших в стороны от почерневших и лохматых ветвей старой лозы у забора.

— Смотри! — громко, по-мальчишески воскликнул он, обращаясь к матери.— И в этом году старая лоза даст нам виноград...

Осенью 1965 года я часто приходил посмотреть на лозу у забора во дворике дома-музея. Ей было 77 лет — ведь она уже росла, когда в 1888 году рядом с ней закладывали фундамент дома. Деревянная решетка на четырех столбах, державшая некогда ветви лозы, давно сгнила и разрушилась. Лозу поддерживают теперь железные прутья на стальных трубах. Ушла в прошлое жизнь, кипевшая во дворике, а лоза все растет и растет. Осенью 1965 года, почти восьмидесяти лет от роду, лоза тоже принесла грозди синих ягод. Они были кисловаты, но все еще приятны на

вкус и напоминали терпкое болгарское вино. Я вспомнил девочек — дочерей пилота, электрика, плотника, механика и художника, отдыхавших на скамейке подле виноградной лозы в тот день, когда мне довелось впервые прийти во дворик на Ополченской. Старая виноградная лоза — старая народная Болгария — с любопытством и одобрением, как мне казалось, смотрела на обновленный мир. Ведь это она дала жизнь молодому миру. А мы иной раз не умеем замечать того, что породило нас самих...

— Да, и в этом году лоза принесет виноград,— повторил Георгий.

Помолодевшими глазами мать посмотрела на виноградную лозу и обернулась к сыну.

— Когда-то давно,— заговорила она, с любовью глядя на него,— когда ты был маленький, я рассказывала тебе сказку о виноградной лозе...

— Помню,— Георгий обнял мать, и они присели на лавочку под тутовым деревом.— Царь приказал под страхом смерти уничтожить виноградные лозы во всем государстве,— начал он таким голосом, каким рассказывают сказки детям.— Царь собрался уничтожить пьянство, которое, как ему казалось, влечет безделье и бедность. Этот царь хотел добра своему государству,— Георгий, покачивая головой, усмехнулся,— но, несмотря на свой ум, он все-таки не понимал, откуда берется бедность. Одна женщина, у которой ничего не было, кроме лозы, не стала ее уничтожать. Ее сын...— Георгий помедлил и взглянул на мать, внимательно слушавшую его.— Ее сын,— продолжал Георгий, улыбаясь,— вырос сильным и смелым и однажды спас дочь царя от страшного дракона. Царь разыскал мать богатыря и спросил, чем

она кормила и поила своего сына, почему он вырос таким сильным...

Мать, перебив Георгия, произнесла торжественно, словно отвечая сказочному царю:

— «Я сохранила свою виноградную лозу и поила сына соком ее ягод...» — И переменив интонацию: — Если бы я могла дать такую же силу и своим детям, как та женщина из сказки! — тихо добавила мать.

— Не надо, мама!..— Георгий дотронулся до ее руки.— Скорбь не может продолжаться бесконечно, она не воскрешает мертвых и не делает сильными живых. Слезы только ослабляют нас.

— Я выплакала все слезы. У меня нет больше слез. Я думаю о другом. Пришла весна, и я знаю — Первого мая ты пойдешь на митинг. Прошу тебя, будь осторожен, полиция не любит ваш праздник, а теперь после революции в России будет особенно зверствовать.

Улыбка сбежала с лица Георгия, руки его безвольно лежали на коленях.

— Не знаю, что и ответить,— сказал он.— Разве ты хочешь, чтобы я оставил своих товарищей и бежал от полиции, если она кинется на рабочих?

— Нет,— напрягая голос, хрипло сказала мать,— нельзя, чтобы твои враги и твои товарищи считали тебя слабым. Мужчины нашей семьи всегда несли тяжкую ношу, но никто из них еще не оказывался трусом. Мы, женщины, всегда уважали их за это.

— Спасибо, мама!

— Я говорю тебе то, что должна сказать. Но ты все-таки будь осторожен, сынок...— Мать на секунду приникла к его груди. Оторвавшись от сына, она торопливо пошла в глубину дворика и снова взялась за свой веник.

Весь день она работала неторопливо и как будто

спокойно. Только к вечеру села на скамейку под тутовым деревом, положила в подол свои натруженные, оплетенные синими жилками руки, склонив голову набок, устремив в пространство невидящий взгляд. Никто ее не беспокоил, пусть отдыхает мать. Долгие месяцы после известия о смерти Николы топила она в неустанных хлопотах свое горе. Может быть, полегчало, успокоилось у нее на душе...

Первого мая, когда Георгий и Люба ушли на митинг, мать спустилась к себе и достала из сундука широкую шерстяную юбку и темную кофту. Она надела свой скромный наряд, накинула на плечи такой же темный платок и вышла со двора. Никого не было дома в этот час. Ей пришлось запереть калитку и положить ключ на условленное место за отстающую доску над дверью. Все это она проделала спокойно и неторопливо, словно собиралась на базар за продуктами. Но в руках она не держала кошелки, и потому ей было немного не по себе. Она переборола неловкость и зашагала по улице, придерживая рукой платок на груди. Нежная, отблескивающая листва на деревьях еще не успела покрыться пылью, и воздух был свеж и чист. Солнце тяжело упиралось в ее плечи. Она старалсь скрыться от его лучей в тени домов и деревьев.

У Ловова моста через горную речушку, заключенную в каменные стены, мать остановилась, прежде чем свернуть на широкую улицу Марии-Луизы, и с усмешкой поглядела на блестящую морду бронзового льва. Их было четыре — по два на каждом берегу речушки. Мост вел из богатых, украшенных витринами магазинов кварталов города к вокзалу и рабочим окраинам. Словно стражи богатства стояли эти львы. Усмехаясь, мать пересекла шумную улицу, направляясь к улочке, на которой был партийный дом.

Двор заполнила тяжко дышавшая толпа: рабочие тужурки и пиджаки, помятые кепки, кое-где белели соломенные шляпы. Женщин почти не было видно, митинги — удел мужчин. В другое время мать, наверное, ушла бы отсюда, но теперь куда она могла идти от людей, с которыми были ее сыновья,— тот, что погиб в холодной Сибири, и тот, что сейчас возвышался над толпой. Ей некуда было идти отсюда, она отчетливо это поняла, как только увидела сына. И еще поняла она, что незнакомые, пришедшие слушать Георгия люди тоже дороги ей и что с ними ей хорошо.

Худощавый человек нагнулся к ней и, тронув ее за руку, сказал:

— Зачем ты пришла сюда, старая? Уходи! Нагрянет полиция, тебя задавят.

Мать посмотрела на него своими добрыми прозрачными глазами.

— Тот, кто там говорит,— сказала она спокойно,— мой сын. Я пришла, чтобы посмотреть и послушать его. Отсюда плохо видно и плохо слышно. Ваши спины мне все загородили.

Сгрудившиеся рядом с ними люди, оглядываясь, слушали их разговор. Они потеснились, пропуская мать. Она доверчиво вошла в образовавшуюся брешь. Расступившиеся люди передавали другим, что надо дать дорогу матери Димитрова, и одобрительно покачивали головами и улыбались матери, когда она продвигалась мимо них. По мере того как она шла все дальше и дальше, толпа разламывалась на две половины, и скоро до самой трибуны образовался проход с живыми стенами по бокам.

Мать вышла к столу-трибуне, с которого говорил Георгий. Она остановилась в первом ряду. Люди сомкнулись и сзади нее и с боков. На какое-то мгновение она уловила на себе взгляд сына. Он увидел

мать, улыбка блеснула на его лице, словно вспышка отраженного солнечного луча. И тотчас глаза его обратились куда-то дальше, в толпу, и мать поняла, что для Георгия вот сейчас, в эту минуту, она существует не отдельно от всех людей, а вместе с ними. Толпа как бы вобрала ее в себя и сделала своей частицей.

Рядом с разгоряченными людьми было жарко. Мать вытерла потемневшей от весеннего загара рукой мелкие капли пота на лбу и стала слушать сына так же, как и все: не ожидая, что он посмотрит только на нее и улыбнется только ей. Это чувство было ново, не испытано, но не пугало ее. Оно было естественным и человечным.

Мать понимала не все, что говорил Георгий. Ей было хорошо от его голоса, от силы толпы и оттого, что она, Параскева, была вместе со всеми. Она не заметила, когда Георгий кончил, туман едких слез помешал ей. Неожиданно сын оказался подле. Он обнял ее и прижался разгоряченным, потным лицом к ее худощавой щеке.

XXII

Через несколько месяцев из России пришло известие о пролетарской революции. Власть взяли большевики; во главе созданного ими правительства встал Ленин.

Георгий искал в газетах все сообщения о происшедших там событиях, внимательно перечитывал отчеты телеграфных агентств, далеко не всегда правдивые, о выступлениях Ленина, о первых декретах Советской власти. Австрийские, немецкие, сербские газеты, попадавшие в Софию, были полны сообщений, одно другого противоречивей. Газеты разных направ-

лений по-разному писали о революции и о Ленине. Весь мир искал в русской революции откровений: одни видели в ней близкий конец всему тому, чем жили, чему поклонялись, другие с тревожной радостью искали в русских событиях избавления от собственных бед и страданий, третьи лишь насмехались и над Россией, и над революцией.

Дед срочно созвал в партийном клубе парламентскую группу. Георгий оглядывал знакомые лица и радовался в душе: в эти дни осени 1917 года его товарищи словно помолодели.

Дед всегда считал, что пролетарские социалистические революции должны вначале произойти в развитых, передовых в промышленном отношении странах. Но теперь, когда пролетарская революция в России стала фактом, участники совещания посчитали необходимым всеми средствами поддерживать правительство Ленина и потребовать экстренного созыва Народного собрания для рассмотрения предложения русского революционного правительства о перемирии и мире.

В «Работнически вестнике», во многих нелегальных изданиях стали сразу же перепечатываться первые декреты Советской власти, выступления Ленина, правдивая информация о событиях в России.

Народное собрание отклонило требование парламентской группы тесняков, не захотело рассмотреть предложения Советского правительства о мире. Тогда решено было провести массовый рабочий митинг. Центральный Комитет партии поручил Георгию выступить на митинге с речью и дать указание местным партийным и профсоюзным организациям провести митинги по всей стране. Народ поддержит предложения Советского правительства о мире.

Русская революция несла новую жизнь в рабочие организации. Георгий попросил Любу разыскать в их домашней библиотеке и у друзей статьи Ленина прежних лет и со свойственным ему упорством ночами прочитывал все, что она ему приносила.

В самом начале холодного, ветреного и голодного декабря в Народном доме был собран рабочий митинг. Едва Георгий увидел множество людей, он весь напрягся, подался навстречу толпе. До выступления его было еще далеко, но он уже перестал принадлежать самому себе, он не замечал Любу, сидевшую рядом, мог думать только о том, что захватило всех. Когда на трибуну медленно поднялся прямой, высокий старик с белой бородой и откинутыми назад седыми прядями волос, Георгий встал, как все, и зааплодировал. Он смотрел на Благоева, возвышавшегося над толпой с поднятой головой и светлым взглядом, и бессознательно, счастливо смеялся. Что-то очень важное, значительное было в том, что этот седой старик пришел сказать о русской революции и о том, что революции нужен мир...

Георгий вышел на трибуну, уже как бы слившись с людьми, ему не нужно было привыкать к аудитории, улавливать ее настроение; задолго до выступления его охватили те же чувства, что владели и другими, и он начал свою речь стремительно и властно.

Многие из тех, кто слушал Георгия, надолго запомнили его речь. Георгию удалось с присущим ему темпераментом и силой проникновения в суть вещей раскрыть всю сложность назревавшей политической обстановки и тех задач, которые вставали перед партией.

Партия определила свое отношение ко второй революции в России, как революции пролетарской. Во

многом этому помогли встречи болгарских делегатов с Лениным на Циммервальдской конференции в сентябре 1915 года и на Стокгольмской конференции левых циммервальдистов летом 1917 года. В Стокгольме были Георгий Кирков и Васил Коларов. Там они убедились, что большевики действительно пролетарская партия и в своих письмах и газетных корреспонденциях информировали партию о политической обстановке в России. В газете «Работнически вестник» в одном из июньских номеров Кирков отмечал, что русская буржуазия расхваливает Плеханова и меньшевистско-эсеровских вождей Петроградского Совета, которые делают все, чтобы не допустить революцию до «социально опасной» стадии. В лице Ленина, сообщал Кирков, буржуазия видит «своего не только политического, но и социального, смертельного врага».

В первые дни и недели после Октябрьской революции «тесные» социалисты не совсем отчетливо представляли ее характер. Но вскоре, в самом начале января 1918 года, газета «Работнически вестник» писала: «От русской революции веет духом интернационализма, идеями великого основателя социал-демократии Карла Маркса. Вот почему победа русской революции является победой интернационального социализма... Впервые в истории рабочий класс взял власть в самом большом государстве Европы... Из пепелища страшной империалистической войны проступили гранитные основы будущего социалистического общества».

В самом начале 1918 года, выполняя решение ЦК, Георгий уехал в прифронтовую полосу на Южном фронте. Официально — как депутат парламента — проверить положение табачных рабочих в городах Ксанти и Драма, а тайно — по поручению ЦК ознако-

миться с положением на Южном фронте, с настроениями солдат. Надо рассказать им об Октябрьской революции и постараться приостановить дезертирство на англо-французскую сторону, чтобы сохранить революционно настроенную часть армии для близкой революции в Болгарии. На Северном фронте, в Румынии, по реке Серет уже началось братание русских и болгарских солдат. Но что делалось на Южном фронте, расположенном куда ближе к жизненным центрам страны и потому с точки зрения революционной деятельности более важном, как следует не было известно. Южный фронт образовался с самого начала вступления Болгарии в войну в октябре 1915 года. Англо-французские войска Антанты высадились в Салоникском порту на Эгейском море. Ксанти и Драма — прифронтовые города болгарской стороны.

В Ксанти после совещания с солдатами Георгий узнал, что военные власти предупреждены о его приезде. Он понял, что слежки не миновать. В Драме с вокзала он открыто явился прямиком в штаб армии. Его провели к сутулому, кряжистому с седоватыми колючими усиками полковнику.

— Вылчев,— представился полковник, поднимаясь и пожимая руку Георгию.

Когда военный узнал, кто такой Георгий, его глаза тревожно метнулись, оглядывая крепкую фигуру бородатого господина в безукоризненном костюме.

— Прошу вас,— торопливо сказал Вылчев, указывая на кресло.— Вы, наверно, утомлены столь дальней поездкой... Чем могу служить?

Георгий предъявил депутатский мандат.

— На каком основании,— холодно спросил он, не желая замечать любезного тона полковника,— закрыт клуб для драмских табачных рабочих? Сегодня утром в поезде рабочие жаловались мне...

— Я проверю,— поспешно сказал полковник.— Клуб завтра будет открыт.

— Вот и прекрасно! — Георгий встал.— Я не хочу больше отрывать вас от дел.

Полковник проводил его до двери и раскланялся, все еще едва веря, что сам Димитров явился к нему. Полковник предполагал, что Димитров будет избегать встречи с военными, даже скрываться.

Вечером к Георгию, в дом рабочего, где он остановился, пришел давний знакомый, офицер штаба армии, капитан по чину, и сообщил, что попал в щекотливое положение: партия поручила ему организовать нелегальную конференцию солдат и офицеров с участием Димитрова, а полковник Вылчев предписал организовать за тем же Димитровым слежку.

Георгий расхохотался.

— Прекрасно!

В ту же ночь состоялось еще одно совещание с военными. На нем присутствовало четыре офицера и трое солдат. Георгий говорил о великом историческом значении Октябрьской революции, о том, что надо прекратить дезертирство, в армии нужны революционно настроенные солдаты.

— Да живет русская революция! — негромко воскликнул кто-то.

— А нам что делать? — спросил один из офицеров.

— Надо быть готовыми к решительному часу,— ответил Георгий.

XXIII

Ранней весной, уже после возвращения Георгия из Ксанти и Драмы, как-то утром нарочный принес повестку. Народный представитель Георгий Димитров

постановлением военно-полевого следователя города Тырново, так говорилось в повестке, привлекается к суду и до рассмотрения дела должен быть взят под стражу.

В первый момент Георгий подумал, что дело затеяно в связи с недавней поездкой в прифронтовую полосу. Но почему военно-полевой следователь города Тырново? И тут он вспомнил все, что было несколько месяцев назад не в этой недавней, а во время другой поездки — осенью 1917 года, состоявшейся незадолго до известия об Октябрьской революции в России. Происшествие, случившееся на тырновском вокзале,— несомненно, в связи с ним и принесли сейчас эту повестку — как бы замкнуло круг увиденного и пережитого, заставило о многом передумать и многое понять, побуждая его еще тогда искать возможности попасть на фронт и встретиться с солдатами. Как же все было?

...В портовом городе Варна на Черноморском побережье, куда он в то время приехал, издавна была сильная профсоюзная организация докеров. Георгий и в прежние годы приезжал сюда не раз, у него здесь было много знакомых. Прямо с вокзала он пошел тогда на окраину города. Недалеко от моря, в небольшом побеленном домике, спрятавшемся среди фруктовых деревьев, жил старый друг Георгия портовый рабочий Тодор Тодоров. Георгий нашел его в садике, на деревянном топчане, похудевшим и постаревшим. Тодор только что вернулся из госпиталя и едва передвигался после ранения на фронте. Работать грузчиком он уже не мог. В порту его заменил шестнадцатилетний сын. Но большой ли груз может поднять на свои неокрепшие плечи мальчик?

— Все, что было, продали,— говорил Тодоров,— одежду, шерстяное родопское одеяло, шинель, в кото-

рой пришел из госпиталя... Нынче хороший урожай яблок. Смотри, ветви ломаются от плодов! В старое время это была бы большая радость. А теперь, когда в доме нет хлеба, долго ли проживешь яблоками?

Георгий попросил связать его с теми, кто еще остался из старых докеров, пригласить и молодых.

Поздно вечером, вернувшись от докеров в домик Тодорова, Георгий на открытке написал короткое письмецо старшей сестре в городок среди гор Самоков: «Дорогая Лина! До тех пор, пока контраст между великолепием в природе и нищетой в жизни не будет устранен, люди будут недостаточно счастливы. Воспитай своего Любчо борцом за это».

Он окончил письмецо и сидел, задумавшись. Маленькому Любчо три года. У племянника такие же, как и у него самого, зеленовато-синие глаза и тонкие правильные черты лица. Он будет красив и силен, когда вырастет. Кем он станет, сможет ли в то грядущее время с легким сердцем наслаждаться красотой и изобилием природы? И что будет в те времена, в середине века, когда Любчо возмужает? В России буржуазно-демократическая революция, совершенная при помощи народа... Где-то сейчас Ленин?.. «Работать, работать!..— сказал себе Георгий, вставая.— Любчо еще долго расти, время есть, а у меня полно сил!..»

Вскоре Георгий был уже в Тырново. Уезжал оттуда поздно ночью. Вокзал был забит солдатами и ранеными, возвращавшимися из госпиталей на фронт и с фронта на побывку домой. Мрак только прибавлял гнева и исступления солдатской толпе.

Классный вагон, в который Георгий получил билет по своему депутатскому удостоверению, прицепили к составу открытых платформ. Едва к перрону

подошел этот странный поезд, солдаты, сбивая друг друга, хлынули к нему в призрачном свете редких фонарей. Не дожидаясь, когда вагоны остановятся, люди карабкались па платформы, втискиваясь среди тех, кто был уже там.

К пассажирскому вагону подошло трое раненых, один из них на костылях. Георгий посторонился, пропуская солдат.

Незадолго до отхода поезда в вагон вошел полковник и, увидев раненых солдат, с грубой бранью накинулся на них. Солдаты возражали ему. Заступаться за них было опасно, это лишь еще более обозлило бы полковника, и он мог жестоко расправиться с ранеными. Спасая их от расправы, Георгий сказал проводнику вагона, что он должен правильно указывать места пассажирам.

Полковник резко бросил Георгию:

— Кто вы такой, чтобы вмешиваться в работу кондуктора?

— Я народный представитель,— ответил он, поворачиваясь к полковнику,— и не только имею право, но и обязан вмешиваться. Солдат и инвалидов ругают за чужую вину.

— Молчать! — закричал полковник, теряя власть над собой.— Я не позволю вам...— Он стал нервно расстегивать кобуру револьвера.

Георгий не двинулся с места:

— Если бы такая храбрость была проявлена в бою, ее бы оценили по достоинству.

Полковник опомнился, оставил кобуру, вытащил из кармана не первой свежести платок — видно, полковнику тоже досталось в дороге — вытер разгоряченное лицо.

— Что вы, штатский, знаете о фронте! — воскликнул он с горечью и раздражением.— Почему я дол-

жен сражаться, защищая отечество, стрелять и убивать врагов и требовать выполнения воинского долга с этих скотов,— он кивнул в сторону, где стояли скрывшиеся уже солдаты,— а вы, депутаты, в это время богатеете на теплых местечках и подрываете дисциплину!

— Вы оскорбляете человека, которого совершенно не знаете,— сказал Георгий.— А что касается дисциплины... Ее больше невозможно поддерживать криком, руганью или оружием. Это уже ясно всем.

— Господа офицеры,— сказал полковник, обращаясь к стоявшим в вагоне военным,— прошу вас быть свидетелями: этот человек подрывает дисциплину среди военнослужащих.

Поезд уже давно мчался. Ночью на остановке Горно-Оряховская военный комендант со слов полковника составил акт на Димитрова.

После всей этой истории у Георгия созрело твердое решение найти способ проникнуть на фронт, к солдатам. Они стали совсем не такими, какими были в начале войны, из-под ног офицеров уходила почва. Этот план удалось осуществить лишь после Октябрьской революции, во время недавней поездки в Ксанти и Драму. И вот теперь эта повестка...

Полицейский, принесший повестку, невысокий, в мешковато сидевшей военной форме, сказал, что Димитров должен немедленно явиться к военно-полевому следователю. Они стояли во дворике около дома. Георгий перечитывал повестку, весь напрягшись, сжав губы, опустив лобастую голову.

— Надо здесь расписаться,— добавил полицейский, вытаскивая из-за пояса замусоленную книжку и протягивая ее Димитрову.

Георгий молча, с хмурой прищуркой, взял книжку. Пока он искал графу, где следовало расписаться,

к полицейскому подошла мать в своем черном платке и, поклонившись, сказала:

— Господин полицейский, наверно, вам придется еще много ходить по домам. День будет жарким, можно устать. Выпейте у нас чашечку кофе.

— Нет, нет мне незачем кофе! — как-то испуганно пробормотал полицейский, засовывая книжку за пряжку пояса.— Ты, мать, лучше скажи своему сыну, чтобы он побыстрее собирался.

— Почему же не выпить чашечку кофе? — сказала баба Параскева.— Ваша мать, господин полицейский, наверно, была бы рада, если бы узнала, что ее сына угощают. Когда я предлагаю вам кофе, я думаю, что и моего сына где-нибудь также встретят по-человечески. В этом нет ничего плохого.

— У меня давно уже нет матери,— буркнул полицейский. Не поднимая глаз, он повернулся и торопливо пошел к воротам.

Когда он ушел, Параскева сказала:

— Разве его мать могла подумать, что он станет полицейским? — Поджав губы, она с горечью покачала головой.— Мать хотела, чтобы сын не делал зла. Другого она не могла желать, я по себе знаю...

Георгий сказал с раздражением:

— Кого ты захотела угощать, мама!

— Не сердись, Георгий, я подумала, что если я угощу полицейского, то и он будет лучше относиться к тебе.

Георгий подошел к матери. Маленькая, с острыми, сухонькими плечами, она ласково, снизу вверх смотрела в его потеплевшее, утерявшее напряжение лицо.

— Ты ничем не разжалобишь этих людей, мама.

Она живо спросила:

— А ты видел, как потемнело его лицо, когда он сказал, что у него нет матери?

— Твое горе, мама, больше достойно уважения и сострадания.

— Я никогда не думаю о себе, сынок,— сказала мать.— Мне хорошо, когда хорошо вам, моим детям, и плохо, когда плохо вам... Ты сердишься на меня, а я только подумала, что, если я угощу этого человека, тебе будет лучше там...

— Мне никогда не может быть хорошо у них,— сказал, нахмурясь, Георгий.— Да к тому же ничего не зависит от него.

Не медля, Георгий выступил с решительным протестом в Народном собрании против нарушения военными следственными властями болгарской конституции. Он добился отмены ареста до начала судебного процесса...

Спустя много лет документы Военно-исторического музея Болгарии раскрыли тайну подготовки судебной расправы над Димитровым. В июне 1918 года штаб действующей армии направил в Перник офицера-разведчика. Он тщательно собрал сведения о революционной деятельности Димитрова и в подробном донесении сообщал, что Димитров в течение десяти лет систематически посещает Перник, занимается распространением социалистических идей. Доверие и преданность ему рабочих из года в год растет. С начала 1918 года на собраниях, устраиваемых Димитровым, обсуждается возможность революции в Болгарии по образцу русской.

Никто, кроме узкого круга лиц, не знал, что военный министр дал распоряжение военно-полевым судебным органам во что бы то ни стало осудить Димитрова и что в канцеляриях военного прокурора до начала процесса уже готовился суровый приговор...

XXIV

В ожидании суда Георгий составил и распространил нелегальную листовку о Советской России, попрежнему громил врагов партии в Народном собрании и в общинском совете.

И Георгий и Люба хорошо понимали, что власти готовят расправу и каждый день приближал разлуку, может быть, на долгие месяцы, может быть, на годы. Они были особенно внимательны и нежны друг с другом в эти весенние и летние месяцы 1918 года.

Однажды вечером, возвращаясь домой из синдикального союза, Георгий и Люба остановились под густой тенью платана около своей скамейки. Они стояли почему-то поодаль друг от друга и долго молчали.

— Как ты останешься без меня? — наконец спросил Георгий, не приближаясь к ней, точно их уже разделила тюремная стена.

— Я буду жить так, чтобы ты чувствовал себя легче там, в тюрьме,— тихо ответила Люба.

— Тебе будет плохо...

— Я буду сильной, если и ты там останешься сильным. Никто не должен знать, что мы страдаем, и страдания наши не должны нас ослаблять.

— Они не дождутся от меня унижения! — Георгий взял Любу за руку, они медленно пошли по дорожке парка...

Летом военно-полевой суд, несмотря на энергичную защиту Димитрова, приговорил его за «подстрекательство военнослужащих к неподчинению начальству» к трем годам строгого тюремного заключения. Георгий подал апелляцию, Чрезвычайный военно-полевой суд рассмотрел ее и оставил в силе приговор

первой инстанции. В тот же день военный министр Андрей Ляпчев с необыкновенной поспешностью утвердил решение суда, а через сутки, 29 августа, осужденный был водворен в одиночную камеру Центральной софийской тюрьмы. То, чего Георгий и Люба опасались, совершилось...

Как ни убеждала себя Люба, что ей следует оставаться мужественной и спокойной и не терять голову, отсутствие Георгия болью отозвалось в ее душе. Она без жалоб и слез продолжала выполнять обычные свои обязанности в доме, и ей казалось, что никто из домашних не видит ее страданий. Хоть одно это было хорошо: утешения для нее стали бы мукой.

Однажды вечером мать сказала Любе:

— В пятницу бывает базар. Хочу пойти купить продуктов для Георгия. Не знаю, хватит ли у нас денег? Время такое голодное, какого еще не было в Болгарии, продукты очень дороги...

Люба словно очнулась от тяжкого сна. Мать своим замечанием о деньгах добилась того, что не смогли бы сделать самые теплые слова утешения,— пробудила Любу к действию.

Деньги! Нужны деньги, чтобы помочь Георгию перенести еще одно испытание!.. Было время, когда Люба, работая в дорогом ателье Полицера в центре города, на улице Леге, получала так много денег, как никто в семье Димитровых не зарабатывал. Надо опять работать белошвейкой, чтобы Георгий в тюрьме не потерял здоровье.

На другой день после разговора с матерью Люба ушла искать заказы в богатых ателье и мастерских. Еленка и вернувшийся из деревни Тодорчо тоже ушли, видимо, к своим молодым друзьям из партийного клуба, и мать осталась совсем одна в затихшем доме.

Медленной, усталой походкой пошла она по дворику между раздавленными в пыли лилово-бурыми, похожими на засохшие пятна крови переспелыми ягодами шелковицы, падавшими с ветвей, но так и не взяла в руки веника, чтобы подмести у скамейки под деревом. И августовский зной, и раздавленные ягоды на засохшей земле, и засиневшие гроздья винограда, и остекленелые натеки красноватой смолы на персиковом дереве — все было издавна знакомым и родным ее сердцу. Но сейчас ничто не радовало мать.

Георгий... После того памятного для нее митинга, когда она впервые услышала, как ее сын говорил с людьми, он особенно стал ей дорог. Да и для него тоже — она чувствовала, понимала всем своим материнским сердцем — этот митинг не прошел даром. Сын и мать стали еще ближе, роднее друг другу. И вот его отняли у нее, заключили в тюрьму.

Мать обошла дворик. Воспоминания населяли его голосами родных ей людей, их смехом или слезами. Она видела и слышала, как дети под новый год, пританцовывая, легонько ударяли взрослых палочкой по плечам, тонкими детскими голосами приговаривая поздравления — суровакали, и после получали в подарок мелкую монету. Она видела своего Димитра, склонившегося над овечьими шкурками в небольшой мастерской в глубине дворика, где он шил шапки... Лицо ее посветлело и облегчающие слезы радости воспоминаний,— радости, которой так богаты старые люди,— сбегали по ее лицу, и тонкие губы ее складывались в улыбку, чем-то напоминавшую сверкающую и лукавую улыбку ее молодости.

Мать обошла и весь дом. С тою же радостной улыбкой легкими шагами она переходила из комнаты в комнату. Только около своей прялки в полуподвальном этаже остановилась надолго, и улыбка сбежала

с ее сразу постаревшего лица. Давно неподвижно стоит прялка из пожелтевшего, отполированного прикосновениями рук дерева, ставшего похожим на старый воск. Давно уже нельзя достать шерсти.

Очнувшись от своих мыслей, мать оглянулась вокруг, кинула быстрый взгляд на ходики, мерно щелкавшие на стене, и заторопилась к очагу.

В середине дня кто-то постучал в ворота тремя сильными требовательными ударами. Что понадобилось людям в опустевшем доме? Мать, вытирая руки о тряпку, неторопливо зашаркала туфлями по дорожке к воротам. Она не стала спрашивать, кто пришел. Теперь, когда Георгий в тюрьме, некого оберегать от плохих людей, а самой ей не страшно, кто бы ни пришел: кому нужна старая женщина?

В калитку, поддерживая локтями упертых в бока рук мешки на плечах, один за другим вошли несколько человек в затертой рабочей одежде.

— Здравствуй, мать! — говорил каждый из них, проходя мимо и оборачивая к ней лоснящееся от пота, загрубевшее на солнце лицо с маковинками въевшейся в поры угольной пыли и с синими ободками вокруг глаз. Они прошли к сарайчику в глубине двора и сбросили на землю свою ношу.

Узнав в пришедших горняков Перника, мать сказала:

— Георгия здесь нет. Может быть, вы еще не знаете?..

К ней подошел жилистый, статный человек с угловатыми длинными руками, Иван, которого она знала давно.

— Мы знаем, мать, где Георгий,— сказал он.— Мы пришли к тебе, принесли угля на зиму. Никаких денег не надо, этот уголь добыт нашими руками. Пусть будет тепло в доме Димитрова.

Матери стало просто и хорошо с рабочими людьми.

— Присядьте, отдохните под лозой,— сказала она.— Сейчас приготовлю кофе, и мы выпьем по чашечке... Идите, идите, садитесь,— добавила она, заметив, с какой нерешительностью гости топчутся у своих мешков.— Георгий не отпустил бы вас, не угостив. И мне уж надоело быть одной в доме.

Гости, толпясь и сталкиваясь друг с другом, рассаживались на стульях и скамеечках под огрубевшей к осени виноградной листвой с проглядывающими кое-где темными, налитыми соком гроздьями. Шахтеры посматривали на виноград, такой же, какой зрел и в их деревенских садиках вокруг Перника, стирали с лиц широкими ладонями соленый пот и расправляли уставшие от тяжелой ноши плечи.

Вскоре пришла мать с двумя дымящимися джезве в руках и стала разливать кофе по чашечкам, стоявшим на низеньком круглом столике.

Она села среди своих гостей на скамеечке и, взяв в руки горячую чашечку и время от времени дуя на густой, с мелкими перламутровыми пузырьками пены кофе, заговорила:

— Иногда кофе предлагают из вежливости, иногда из хитрости. Для вас я варила кофе, как для своих сыновей. Мне хорошо сейчас не только потому, что вы принесли уголь. Вы принесли тепло в мое старое сердце, которое, наверно, никогда не разучится любить и страдать, как и сердце всякой матери...

XXV

Одиночка, в которую заключили Димитрова, была небольшой; на потолке, словно ребра, выпирали замазанные штукатуркой балки перекрытия. Окно



было маленьким, с решеткой, но свет из него тугим снопом врывался в камеру, падая на потрескавшийся цементный пол.

Оставшись один, Георгий стал раздумывать о революции в России. Несмотря на все свалившиеся на его голову беды, в нем пробуждались новые силы души. Русская революция являла собой будущее Болгарии — можно ли не видеть, не понимать, не ждать этого будущего!

События русской революции беспрестанно владели его мыслями и прежде, до заключения в тюрьму. Много раз, занятый подготовкой очередного выступления в Народном собрании или же перед рабочими, он ловил себя на том, что мучительно ищет скрытый смысл этих событий. Теперь, в тюремной камере, оставшись наедине с самим собой, он мог спокойно все взвесить и попытаться определить, что же в русских событиях самое главное, самое важное для Болгарии, для партии.

Пожалуй, самой интересной особенностью русской революции было участие в ней земледельцев. Союз крестьян и пролетариев. Да... именно этого не хватало партии тесняков. Не в отсутствии ли союза рабочих и трудящихся деревни слабость революционного движения Болгарии? Земледельческий союз искони держался особняком, сторонился рабочего движения. Ну, а сейчас... Можно ли найти пути сближения с земледельцами? Неустрашимый противник монархии и войны, Александр Стамболийский, самый известный из лидеров Земледельческого союза, уже не один год находится в заключении. Может быть, сейчас в этой же самой тюрьме? Если это так, то возможно ли связаться с ним незаметно для тюремщиков? И как он примет попытку сближения? Сумел ли он, сидя в тюрьме, перебороть крепко засевшее в нем крестьян-

ское недоверие к городской бедноте, у которой нет ни кола ни двора? Тюрьма ведь многому учит.

У Георгия была давняя и необыкновенная встреча со Стамболийским. Тогда он впервые и понял, как сложен этот мужицкий сын, ставший учителем, потом политиком, лидером крупнейшей в Болгарии политической партии. И все-таки оставшийся в душе крестьянином.

Однажды на заседании Народного собрания Александр Стамболийский поднялся со своего места и, вытянув вверх сильную руку с широкой ладонью, обратился к царю Фердинанду:

— Вы не можете говорить от имени народа, вы не имеете права представлять чужой вам народ, вы не знаете его нужд и забот... Вам не место в Болгарии! — выкрикнул он.— Народ сам должен решать свою судьбу!..

Сильный голос Стамболийского, его крепкая, громоздкая фигура с поднятой рукой произвела на всех неотразимое впечатление. В зале наступила настороженная тишина. Фердинанд, в прошлом мелкий немецкий князь Саксен-Кобург-Готский, избранный князем Болгарии, а затем провозгласивший себя ее царем, смешался; рука его, лежавшая на подлокотнике кресла, сжалась в сухонький, посиневший от напряжения кулачок.

В другой раз Георгий и Стамболийский вышли вместе из дома Народного собрания и, неторопливо пройдя через центр города, часа два провели в небольшом ресторане.

Стамболийский, грузно привалившись к столу, потягивал густое пиво и время от времени упирался в Георгия прямым, неуступчивым взглядом. Его свившиеся в кольца волосы были откинуты могучей гривой. Он был на три года старше Георгия, но

оба они были полны сил и чем-то напоминали друг друга.

— Силу и чистоту дает человеческой душе земля,— говорил убежденно Стамболийский.— На земле человек становится лучше. Стоит мне только надеть крестьянские потури, в которых так свободно себя чувствуешь, как уже легче на душе. Где еще, как не на земле, можно искать полную свободу духа и естественное человеческое счастье труда?

Георгий слушал собеседника, нагнув голову и исподлобья глядя на него.

— Мой отец и моя мать,— сказал он,— не могли получить счастья, хотя и честно трудились на земле всю свою молодость. Они пришли в город искать работы, чтобы не помереть с голоду.

Стамболийский подался к Георгию, и глаза его сощурились.

— Разве я не видел обездоленных? — спросил он.— Я еще в детстве не знал сытости и достатка. И все это потому, что крестьяне, трудом которых живет человечество, не имеют власти. Историческая несправедливость!

— Они одни не смогут ее взять, а тем более удержать,— сказал Георгий.

Стамболийский с шумом отодвинул стул и поднялся. Лицо его горело и потому казалось еще более налитым жизнью. Поднялся и Георгий: он вовсе не собирался уступать в споре, который они вели.

— Я поклялся отдать жизнь за народную власть! — крикнул Стамболийский.— Жизнь!..

К ним повернулись посетители за соседними столиками.

— Сядьте,— сказал Георгий.— Все это слишком серьезно, чтобы вызывать здесь переполох.

Стамболийский и Георгий опустились на свои места. Стамболийский опять навалился грудью на край стола и беспокойно дышал, глядя куда-то в пространство.

— Не правда ли, как странно: оба мы прожили тяжелое детство и узнали, что такое нужда, и все-таки не можем понять друг друга.

— Вы оторвались от той почвы, которая вскормила вас,— сказал Стамболийский.— Вы связались с городской беднотой, выбитой жизнью из разных сословий, лишенной всяких устоев. Многим этим людям место в тюрьме.

Георгий вспыхнул.

— Если бы я услышал это не от Стамболийского — антимонархиста и противника войны, я бы ответил иначе. Городская голытьба и бездомники, как вы изволили сказать, достойны уважения, внимания и заботы. Что же касается тюрьмы, то в наше время за решеткой часто находятся невинные люди.

Стамболийский хмыкнул, в холеных, подправленных вверх усах его заиграла усмешка.

— Мне было бы легче в тюремной камере, чем вам,— сказал он.— Вы собрались в свою партию из разных сословий — это искусственное образование. А я, так же как и мои товарищи,— из одного, крестьянского. Нам проще понять друг друга и найти поддержку среди своих. Самые прочные связи — сословные.

Георгий оценил усмешку собеседника, сумевшего сдержать раздражение.

— Мы всегда одобряли вас за смелость и непреклонность,— сказал Георгий.— И мы этого не скрываем.

— Я забочусь не о собственном благополучии...

 — Тем обиднее и трагичнее ваши заблуждения,—

заметил Георгий.— В вас есть что-то близкое нам, «тесным» социалистам. Я был бы рад работать вместе с вами и не желал бы, чтобы вы оказались нашим врагом.

Выйдя из ресторана, они сдержанно раскланялись и пошли в разные стороны.

Позже, осенью пятнадцатого года, незадолго до того, как Болгария была втянута в войну, стало известно о дерзком поведении Стамболийского во время встречи депутатов оппозиционных партий с царем Фердинандом. Встреча состоялась во дворце по инициативе самих депутатов.

— Мы накажем виновников военного разгрома,— бросил тогда Стамболийский в лицо царю жестокие слова.— Среди них первое место займете вы. Помните, вы понесете тяжкое наказание от народа.

Фердинанд, сдерживая гнев, сказал:

— Вы дерзки в своей речи...

Стамболийский воскликнул:

— Но зато откровенен.

— Вы разговариваете, как враг отечества,— угрожающе сказал царь.

— Я доволен, что вы не считаете меня своим другом,— охваченный гневом, сказал Стамболийский.— Народ сметет вас и отбросит со своего пути.

Стамболийский опубликовал рассказ о беседе с царем в газете Земледельческого союза. Через десять дней по приказу Фердинанда, попирая депутатскую неприкосновенность, Стамболийского арестовали, когда он был в кругу своей семьи в родном селе. Суд приговорил его к пожизненному заключению.

С тех пор Георгий не видел Стамболийского. Ходили слухи, что в тюрьму к нему приезжали солдаты — бывшие крестьяне во время своих отпусков и

увозили с собой его антивоенные воззвания, распространявшиеся в окопах. К нему перестали пускать посетителей...

Работая над сюжетом своей повести, я понял, что мне надо установить, находились ли Георгий Димитров и Александр Стамболийский летом восемнадцатого года в одной тюрьме? Может быть, ниточка событий опять связала их?

Оказалось, что после русской революции Стамболийского увезли из Софии и заключили в видинскую тюрьму, чтобы совершенно отрезать от внешнего мира. Но в июле 1918 года опять вернули в Софию.

Как раз в то же время в софийской тюрьме оказался и Георгий Димитров. Но встречались ли они там? — вот что было для меня важно узнать. Ведь они были знакомы еще до тюрьмы, не раз спорили о политических проблемах. Наконец удалось найти точные указания: да, они встречались в тюрьме. Как бы сама жизнь помогала мне строить сюжет моей повести. Она же заставила меня задуматься...

Какие мысли могли волновать и того и другого в тюрьме в то бурное время, когда стало уже известно о природе Октябрьской революции в России, совершенной пролетариатом в союзе с крестьянством? Что они могли говорить друг другу в те дни, когда болгарская армия отступала под натиском союзных войск и политическая обстановка в стране с каждым днем становилась драматичнее, а почва под ногами ее правителей колебалась, предвещая катастрофу? Болгарский писатель Камен Калчев так говорит об этом: «Встречаясь в тюремном дворе, они ухитрялись переброситься мыслями о положении на фронте, о событиях в России.»...

XXVI

Утром на прогулке в тесном тюремном дворе Георгий издали узнал крепкую, плечистую фигуру и твердую размашистую походку Стамболийского. Георгий нагнал его.

— Не оборачивайтесь,— сказал Георгий,— за нами следят.

Стамболийский на мгновение обернулся.

— Димитров?!

— Да, это я. Нам надо поговорить... Слушайте внимательно: в армии брожение, никакая самая жестокая дисциплина не в состоянии заставить солдат слепо повиноваться.

— Наконец-то! — воскликнул Стамболийский. В голосе его звучало ликование.— Я давно этого ждал. Приходит крах тирании.

— Осторожнее! — предупредил Георгий.— Нашу встречу могут прекратить раньше, чем хотелось бы.

Они прошли несколько шагов молча.

— Вы слышали о второй русской революции? — негромко спросил Димитров, на полшага приближаясь к собеседнику.

— Мне кое-что передавали...

— Я много думал об этом,— заговорил Георгий.— Есть одна важная для нас особенность русской революции: в России вместе с пролетариатом выступило крестьянство и солдаты. Ленин учит союзу рабочих и крестьян. Теперь этот революционный принцип осуществлен партией большевиков на практике.

Густые брови Стамболийского сдвинулись, лицо приобрело отчужденное выражение. Он шагал, глядя себе под ноги, не отвечая.

Георгий тихо сказал:

— Не хочу вас ни в чем упрекать. Мы должны быть выше обид.

Стамболийский резко дернулся:

— Назовите мне хоть одну европейскую страну, кроме Болгарии,— сказал он,— в которой было бы подобное нашему Земледельческому союзу объединение крестьян! — И сам себе ответил: — Нет больше такой страны! Это особенность Болгарии, с ней нельзя не считаться. А пролетариат, как вы говорите,— силен ли он в нашей стране?

— У пролетариата Болгарии сильная партия, за пролетариатом — будущее.

— Но реальная сила сейчас — крестьянство и наш Земледельческий союз. Мы можем действовать без союзников — настолько мы сильны.

— Это ошибка. Ошибка, потому что Земледельческий союз не един, в нем представлены разные классы. Ошибка, за которую можно дорого заплатить.

Стамболийский заглянул в дышавшее жаром лицо Георгия. В его взгляде не было ни озлобления, ни раздражения, скорее любопытство.

— Вы безумец,— сказал Стамболийский.— Даже сейчас, когда мы так близки к власти в результате наступившего кризиса монархии и военного краха, вы толкуете о нашей слабости. Но я вас уважаю за бескорыстие и бесстрашие. Понимаю, что вас ослепляет и лишает внутренней свободы поклонение Марксу и Ленину... Сословные интересы всегда самые дорогие и прочные для людей. У вас нет этой силы.

Георгий не отвечал. Они шагали почти рядом и как будто врозь.

— Даже тюрьма ничего не могла поделать с вами,— сказал Георгий.

Стамболийский усмехнулся:

— Если бы вы знали, какие приступы бешенства охватывали меня здесь, особенно по ночам. Но я многое обдумал и стал еще тверже в своих убеждениях. Я никогда не изменю им.

Несколько дней Георгий не встречал Стамболийского. Вскоре он узнал, что Стамболийский освобожден. Горько и душно стало Георгию в тюрьме. Он догадывался, почему Стамболийского, приговоренного к пожизненному заключению, освободили. Даже в тюрьму проникли вести о прорыве англо-французскими войсками Салоникского фронта. В канун военного разгрома Стамболийский кому-то понадобился.

За горными хребтами, на западе, в заскорузлых от соли гимнастерках, пыльная, с засохшей кровью на потемневших бинтах, отступала после прорыва фронта войсками Антанты в районе Добре-Поле болгарская армия. Георгий понимал, как тяжело шагается сейчас солдату. Кто скажет, в какую сторону повернется оружие в солдатских руках, если в сердцах скопилось так много горя и гнева? Русская революция — притягательный пример. Фердинанд понимает это и ждет помощи Стамболийского. Неужели не разгадает крестьянский вождь царских интриг, даст себя обмануть?

Ночью, когда он раздумывал над этим, во дворе тюрьмы вдруг поднялась стрельба. Георгий вскочил, кинулся к окну. Пули щелкали о стены, отбивая штукатурку, стоять у окна было опасно. Только на утренней прогулке он узнал: в Радомире восстала целая армия, солдаты вышли из подчинения и требовали наказания виновников войны. Вчера вечером прибыл санитарный поезд из Радомира с ранеными. Часть из них расстреляли на железнодорожных путях, часть загнали ночью в тюрьму. Стража стреляла по окнам и стенам, опасаясь бунта.

Подошел один из заключенных, протянул Георгию руку. Неразбериха в тюрьме ослабила бдительность охраны.

— Ты ли это, Иван? — обрадовался Георгий, крепко сжимая руку шахтера.— Что ты здесь делаешь?

— Ищу тебя,— сказал Иван.

Лицо его почернело от усталости, как говорится, один нос остался. Он стал рассказывать...

Вчера сразу же после того, как все узнали, что целая армия восставших солдат двинулась из Радомира к Пернику и Софии, перникская партийная организация направила его и еще одного шахтера в ЦК за инструкциями. Ивану и его напарнику удалось окольными путями миновать заставы и добраться до Софии. В ЦК им сказали, что солдатское восстание — это бунт и что принимать в нем участие нельзя.

— Как?! — воскликнул Георгий.— Кто тебе сказал?

— Христо Кабакчиев.

Георгий хорошо знал и любил Христо Кабакчиева. Это был старый член партии, друг Деда, член ЦК, главный редактор партийной газеты «Работнически вестник». Сомнений быть не могло: руководители центральных органов партии совершали тягчайшую ошибку.

— Но, может быть, ты что-то не понял? — спросил Георгий.— Как может партия, призывавшая солдат на фронте повернуть штыки против царя, объявить солдатское восстание бунтом?

— Я говорю точно,— хмуро ответил Иван.— Ты меня знаешь, Георгий... В ту же ночь мы пошли обратно в Перник, но наскочили на патруль, и нас арестовали...

— Проклятье! — Георгий был вне себя от гнева.— Почему я в такое время сижу здесь!..

Я не выдумал горьких раздумий Димитрова в тюрьме об ошибках партии в оценке Владайского восстания солдат. О них пишет в своих воспоминаниях Елена Кырклийская, посетившая Димитрова в его тюремной камере. Об этом же говорит и автор книги «Бунт в 28-м пехотном полку» Халачев, увидевший Димитрова во дворе тюрьмы во время его прогулки.

И тем значительнее показались мне слова Георгия Димитрова, сказанные им через много лет, в 1948 году, в отчетном докладе V съезду Болгарской коммунистической партии. Сначала Димитров отмечал несомненные заслуги партии в ее тесносоциалистический период: глубокую верность марксизму, пролетарскому интернационализму, классовую непримиримость по отношению к буржуазии и ее агентам, непобедимую веру в силы и будущее рабочего класса, сознательную железную дисциплину.

«Тесный социализм не ставил вопроса о пролетарской диктатуре, как основном вопросе пролетарской революции...» — говорил дальше Димитров.

«Главной причиной, по которой наша партия осенью 1918 года не возглавила восставших солдатских масс, было ее доктринерство, небольшевистские взгляды, методы и пережитки теснячества...»

На другой день рано утром Георгий услышал отдаленные выстрелы. Из тюремного окна была видна часть склона Витоши. Дымки от разрывов снарядов показывали линию фронта наступавших на Софию солдат восставшей армии. Они все ниже спускались с гор, линия фронта оказалась в каких-нибудь четырех километрах от окраинных кварталов Софии. В камерах поднялся шум, заключенные били табуретками и столами в двери.

Днем мимо тюрьмы прошли немецкие войска: пехота и артиллерия. Бой кипел всю следующую ночь. К утру стрельба прекратилась. Георгий узнал — восставшие разгромлены.

Однажды Георгий проснулся среди ночи. Белые стены камеры тускло светились в темноте. Еще только просыпаясь, он уже отчетливо сознавал, что его сдавливает тяжесть одиночества.

Много дней и ночей Георгий держался в тюрьме раздумьями о русской революции, о судьбе партии, разговорами со Стамболийским, внутренними спорами с ним. Потом налетели, как буря, трагические события восстания. И вот теперь, когда они схлынули... Тревога о Любе, никогда не покидавшая его душу, овладела им с новой силой. В самом деле, где Люба, что с ней? Почему от нее нет никаких известий? Когда он увидит ее? Мысль об этом, пришедшая к нему во сне, и заставила его проснуться.

Георгий задыхался. Волна ярости захлестнула его сознание. Хаос чувств, ломавших волю, разум, охватил душу. Он мчался в ревущую, полную мрака бездну. Собрав все силы, дрожа от напряжения, цеплялся за что-то, карабкался и снова, сорвавшись, летел в пустоту. Он грозил кому-то, проклинал кого-то. Все рушилось и падало вокруг него.

Очнувшись, он был потрясен своей неподвижностью. Покой и тишина показались ему кощунством над той катастрофой чувств, которую он только что пережил.

Георгий сидел на топчане, опустив голову в ладони. По лбу его сбегала холодная струйка, слепившая глаза. Он вытер рукой мокрое от холодного пота лицо и, поднявшись, подошел к окну. Небо у самых крыш потускнело и потеряло ночную таинственность.

Власть над собой снова возвращалась к нему. «Люба, милая моя Люба,— думал он, сжимая оконную решетку и ощущая силу своих рук.— Как я мог?.. Наше взаимное доверие — броневой щит нашей любви. А я...» Выдрав из принесенной с собой тайком тетради помятый листок, он начал писать письмо Любе: «Я пережил страшную ночь. Поверь, она никогда больше не повторится...»

После только что пережитого Георгий уже не испытывал гнетущей тяжести одиночества. Его мысли вновь вернулись к спорам со Стамболийским, к подавленному восстанию солдат, к русской революции. Однако напряжение последних месяцев не прошло для него бесследно.

Вскоре он почувствовал сильное физическое недомогание и потребовал через тюремного надзирателя вызвать к нему врача, лечившего его семью. Два дня ждал ответа. На третий, едва окончился завтрак, дверь открылась, и в камеру вошла Елена — такая, какой он всегда привык ее видеть — радостная, оживленная, с влажными от скрытого волнения глазами.

XXVII

Пока Елена выслушивала и выстукивала его, ему удалось сунуть в карман ее халатика письмо к Любе и записку к товарищам.

— Как Люба? — прошептал Георгий.

— Ей трудно,— так же тихо, почти одними губами, ответила Елена.— Но она держит себя в руках.

Убедившись, что они могут разговаривать, не привлекая внимания тюремщиков, Георгий спросил:

— Что со Стамболийским? Что с восстанием?

Елена стала рассказывать то, что знала.

Сразу после освобождения Стамболийского вызвали во дворец. Фердинанд сказал ему, что в отступающей с Южного фронта болгарской армии воцарилось безвластие. Солдаты не подчиняются офицерам. Штаб армии бездействует. И предложил Стамболийскому направиться в составе делегации к солдатам, чтобы предотвратить анархию в стране. Стамболийский потребовал освободить из тюрьмы своего друга Райко Даскалова. Вместе они выехали в Кюстендил, а затем в Радомир. Там Стамболийский, отбросив свои полномочия, объявил Болгарию республикой, а Даскалов встал во главе тридцатитысячной армии. Солдаты двинулись к Софии, но слишком медленно. Немцы успели подтянуть свои отборные части. Фердинанд и министр-председатель Радославов бежали в Германию. После разгрома восстания Стамболийский скрылся в подполье...

— А что же наша партия? — с горечью спросил Елену Георгий.

— Перед отъездом Стамболийский был у Благоева,— прошептала Елена.— Дед отказался сотрудничать, сказал, что пока хочет сохранить самостоятельность действий.

Они замолчали. Георгий вдруг попытался приподняться, но Елена осторожно взяла его за плечи.

— Знаешь, Елена,— признался ей Георгий,— я был бы с восставшими солдатами. Да, да!.. Я пришел к твердому убеждению, что рабочий класс должен повести за собой земледельцев. Ты понимаешь?.. Нам необходимо единение с Земледельческим союзом на открытой политической платформе.

На мгновение Елене показалось, что Георгий обращается к ней не только как к почтальону, курьеру, который должен запомнить то, что ему говорят,— что он видит в ней товарища, хочет услышать ее мнение,

ощутить ее поддержку. Тотчас она оборвала сама себя: «Твое дело слушать и запоминать. Что ты можешь значить для него? Георгий разговаривает не с тобой, а с теми, кому надо все это передать...»

— Хорошо,— сказала она монотонно, словно отвечая заученный урок,— все передам.

— Поздно! — негромко сказал Георгий.— Я просто хотел поделиться с тобой. У нас есть старший брат — Россия, будем учиться у него. Надеюсь, скоро меня выпустят, и я сам выскажу нашим товарищам свои мысли, когда они окончательно созреют.

Георгий со дня на день ждал, что его освободят. Но прошло почти полтора месяца, наступила зима, а он все еще сидел в тюрьме.

В начале декабря его известили о том, что он попадает в число помилованных. Свобода? Вспышка радости сменилась гневом: помилование — это милость. Скудные сведения, которые доходили к нему в тюрьму, дали ему понять, что страна охвачена движением за всеобщую амнистию политических заключенных и жертв военно-судебного произвола. На митингах рабочие требовали и его освобождения. От этой общей борьбы нельзя уйти. Покорно принять помилование — значит уйти. Следует требовать свободу, но свободу не только себе одному. Свободу всем невинно осужденным. Требовать! Он написал протест министру правосудия, он требовал всеобщей политической и военной амнистии.

Через несколько дней ему объявили, что он свободен.

На улицах было холодно. С моста через железную дорогу Георгий увидел черепичные крыши домиков городской окраины и дворики, сверху похожие на соты неправильной формы. С детства он привык и к этим ребристым крышам с прозеленью лишайников,

и к тесным дворикам, к веревкам с бельем, печуркам, сложенным у домов, и виноградным лозам, обнимавшим каменные заборы или деревянные решетки во двориках. Таким был и дом, в котором он вырос,— лишь чуть побольше, потому что строился для многолюдной семьи. Он невольно остановился на мосту, прислонил узел с вещами к перилам и подставил холодному ветру свое лицо с треплющейся бородой и слезящимися от ветра и от охвативших его чувств глазами. Скоро ему сорок, половина жизни позади, а всякий раз, когда он возвращается к себе домой после долгой отлучки и видит черепичные крыши домиков трудового люда, чувство радости и надежды, смешанное со щемящей грустью об ушедших днях, охватывает его. Он вновь почувствовал, как дорога ему свобода.

Георгий широко расправил грудь, вобрал в себя, сколько мог, холодного, бодрящего воздуха и зашагал дальше.

Калитку открыла мать. Она без слов обняла его и долго не могла оторваться. Кроме нее, никого в доме не было. Отойдя наконец от сына, она закрыла калитку на задвижку и еще приперла ее воткнутым в землю ломом.

— Когда тебя не было,— проговорила она при этом,— я иной раз и задвижку не закрывала. Кого мне было бояться?

Георгий, улыбаясь, смотрел на ее работу.

— Этим ты не спасешь меня, мама, если опять придет беда.

— Георгий,— она отняла свои худые, тонкие руки от ржавого побуревшего лома и выпрямилась,— если придут плохие люди, я буду долго возиться с этим ломом. Ты можешь за это время влезть на чердак.

Георгий совсем развеселился.

— Ты, кажется, стала настоящим конспиратором.

Мать ласково смотрела на смеющегося сына.

— Мне самой хочется смеяться, когда я вижу, как смеешься ты. Я не умею говорить так, как говоришь ты на митингах, и не знаю того, что знаешь ты. Я сердцем чувствую, что правда на твоей стороне и на стороне твоих товарищей. Недавно без тебя шахтеры Перника принесли мне угля и ничего не взяли с меня даже в этот голодный год. Так могут поступать только люди, у которых чистая душа. А теперь, сынок, не обижайся на меня за то, что я вмешиваюсь в твои дела: мне кажется, что ты должен съездить к горнякам Перника. Я подумала, что, если бы жила среди них и даже не была твоей матерью, я бы ждала тебя и хотела бы услышать, как в древние времена хотели услышать апостолов.

Мать угадала то, что делалось в его душе и по-своему сказала ему о том, что думал и он сам. Она лишь внешне облекала свои мысли в библейские образы, с которыми сроднилась издавна. Но в душе ее зрел какой-то, наверно, не совсем еще ясный для нее самой перелом, волновавший и радовавший Георгия.

Вечером, успокоившись после первых минут встречи с Георгием, сидя подле него на кушетке, Люба сказала:

— Мне всегда казалось, что ты скоро вернешься. Если бы я поверила, что не увижу тебя три года, я не перенесла бы пытки.

Георгий сказал, опуская глаза и разглаживая морщинки на ее тонкой руке:

— Я вспоминаю, как ты мне писала когда-то, что благодаришь моих врагов за то, что мой арест помог тебе заглянуть в сердца рабочих и понять их чувства ко мне.— Он поднял глаза и, взяв в ладони ее нежные щеки, спросил: — Ты помнишь?

Лицо ее оживилось.

— Да,— сказала она.— Любовь рабочих к тебе помогала жить и на этот раз. Ты знаешь, когда я заглядывала в партийный клуб, меня окружали и задавали множество вопросов о тебе.

Георгий склонился к ней и уткнулся головой в ее плечо.

— Ты простила меня? — пробормотал он.— За ту ночь в тюрьме.

— Я такая же, как и все женщины,— тихо ответила Люба.— Когда прочла письмо, которое принесла Елена, я поняла, что тебе плохо без меня, и мне было и больно, и горько, и... хорошо.

XXVIII

Утром по решению ЦК Георгий уехал в Перник. Его встретили трое горняков и пригласили пообедать в местной корчме. Потом товарищи подхватили крепкий, старинный стол и вынесли на базарную площадь. К одиноко стоявшему столу и тесной группке людей около него торопливо шли и бежали люди, кто в старенькой домашней одежде, кто в шахтерских потемневших от угольной пыли робах, а кто и в затертых солдатских шинелях. Площадь быстро заполнила толпа. Георгий вскочил на стол.

— Вот я перед вами,—крикнул он, и вновь оглядел затаившуюся пеструю толпу.— Я только что вышел из тюрьмы, но дух мой не сломлен!..— От напряжения он задохнулся и хлебнул холодного воздуха.— И как я, так и все наши товарищи, выйдя из тюрьмы, отдадут себя пролетарскому делу... Смотрите,— крикнул он, простирая над толпой руку,— заря из

 России заливает своим блеском всю Европу. Она

приходит и к нам. Мы повсюду чувствуем ее лучи!..

На мгновение взгляд Георгия остановился на первых рядах людей, стоявших совсем близко от него. На их лица словно ложился горячий отблеск той зари, о которой он говорил. За первыми рядами как бы поднималась живая человеческая стена. Там уже нельзя было разобрать выражения лиц или увидеть блеск глаз каждого человека в отдельности. Оттуда лишь донесся единый вздох, вдруг достигший силы урагана, и в его беспорядочных перекатах отчетливо нарастал единый все топивший звук: «А-а-а...»

— Ур-ра-а...— наконец ясно и отчетливо прокатилось над толпой.

Георгий стоял на столе и тыльной стороной руки вытирал взмокший от пота лоб, словно рабочий человек после тяжкого труда.

— Ур-ра-а-а!..— катилось над площадью.

На вокзале, когда около Георгия осталось всего несколько провожавших его шахтеров, он был арестован. Его втолкнули в вагон подошедшего поезда.

На софийском вокзале поезд окружила толпа.

— Ди-мит-ров! Ди-мит-ров! — скандировали люди, выстроившиеся вдоль вагонов.

«Шахтеры успели каким-то образом предупредить софийских рабочих...» Эта мысль резким толчком вернула его к действию. Он вышел из вагона вслед за полицейским и крикнул:

— Да здравствуют софийские рабочие!

На площади перед вокзалом толпа сомкнулась вокруг полицейских, между которыми шел Димитров. На булыжной мостовой горело несколько костров, дым от них метался между деревьями сквера. У огня грелись солдаты союзных оккупационных французских и итальянских войск. Георгий увидел, как солдаты

отходят от огня, смешиваются с толпой. Какой-то молодой французский солдат, пробившись через толпу, устремив взгляд на Димитрова, крикнул:

— Вив ла Совьет!

Ему с разных сторон ответили возгласы французов и болгар.

— Вив ля Совьет! Да живеят Съветите! Вив ла Совьет!

Полицейские уперлись в человеческую стену. Георгий отстранил плечом полицейского, шагнул в толпу. Перед ним расступились, и толпа поглотила его. Кто-то сильным, красивым голосом запел:

— Вста-вай, проклятьем заклейменный...

Вечером дома Люба сказала:

— Я не должна была отпускать тебя одного в Перник. Не могу себе простить...

На профсоюзную конференцию в Кюстендил — небольшой городок среди гор, неподалеку от Перника,— они поехали вместе. Когда возвращались в Софию, за одну остановку до Перника в вагон вошел Иван.

— Послали предупредить,— сказал он.— В Пернике войска, шахтеры возбуждены. Вокзал оцеплен солдатами и осажден шахтерами с зажженными лампочками. Комендант бегает и тушит огни, а шахтеры опять зажигают. Наши люди случайно услышали разговор: солдаты будут стрелять по второму выстрелу коменданта. Мы подготовились, второго сигнала не будет. Но лучше, если ты поедешь следующим поездом, они могут стрелять в тебя.

Георгий, поглаживая усы около уголков губ, покосился на замолчавшего гонца.

— Не сердись, Георгий,— смущенно сказал Иван,— может быть, мы и неправильно решили...

На станции Перник поезд остановился около оцеп-
 ленного солдатами вокзала. На площади темнела

сплошная масса людей с поднятыми в руках огоньками шахтерских лампочек. Шахтеры салютовали поезду, салютовали Димитрову. За окном раздались какие-то крики.

— Я не могу оставаться в вагоне,— сказал Георгий и поднялся.— Моя обязанность предотвратить кровопролитие.

— Подожди,— сказала Люба,— я выйду первой. В меня не решатся стрелять.

Прямо против вагона молодой, чернявый парень рвал из рук перетянутого ремнями военного пистолет. Военный выпустил оружие и, согнувшись и схватившись за голову, метнулся под вагоны. Стена солдат дрогнула, рассыпалась, потонула в хлынувшей к вагонам ревущей толпе.

Утром Георгия и Любу арестовали прибывшие в Перник войска с пулеметами и артиллерией.

В тот же день по требованию левых депутатов они были освобождены.

Вечером на митинге, уже в Софии, во дворе партийного дома, рядом с Георгием стояла Люба. Когда ей предоставили слово, она оглядела затихших людей, настороженно смотревших на нее, и громко, отчетливо выделяя рифмы, стала декламировать свои новые стихи. Ее слова падали в тишину и, как звенящие золотые монеты, ударялись о стены домов, окружавших тесный двор...

Среди притихшей толпы стояла высокая, светловолосая Елена и, то улыбаясь, то глотая слезы, позабыв о том, что вокруг нее сотни людей, слушала Любу. Елена хорошо знала, чего стоили эти стихи той, которую она так любила, перед которой преклонялась и которой, может быть, глубоко в душе завидовала. Она помнила слова Любы: «Стихи не просто пишут, стихами живут...»

XXIX

По заданию парламентской группы Георгий должен был выступить с запросом правительству о произволе военных в Пернике. Он вошел в ярко освещенный зал Народного собрания своей обычной стремительной походкой. Георгий был особенно красив в этот момент мужественной, непокорной красотой болгарина, не склоняющего головы ни перед горной природой, ни перед человеческой несправедливостью. Он немного осунулся и был бледнее обычного после тюрьмы и событий в Пернике. Но лицо его с шелковистой бородой и быстрым, полным жизни взглядом, обрамленное прядями откинутых назад волос, стало еще более одухотворенным.

Едва уловимое движение произошло в зале: взгляды депутатов устремились к Димитрову. А он, как обычно, высоко подняв голову, спускался по ступенькам зала, кланялся одним и окидывал твердым неуступчивым взглядом других.

И опять, в пятидесятый, в сотый раз, началось все то, что бывало здесь во время его выступлений: гул колокола разносился по залу, председатель хватался за голову, пытаясь то унять неистового оратора, то утихомирить вопли в зале. Правые депутаты выкрикивали угрозы со своих мест, тесняки аплодировали.

Когда Георгий заявил, что министр Ляпчев и правительство совершили подлость, приказав военному коменданту арестовать его и не пускать на шахту, министр внутренних дел Никола Мушанов утерял привычное хладнокровие и надменный вид.

— Почему же это подлость? — воскликнул он.

Кумир женщин, статный, в черном фраке и белых манжетах, надушенный дорогими духами, он не отрывал от Георгия возмущенного взгляда. Все оберну-

лись к молодому и многообещающему политическому деятелю, успевшему быть министром в двух предыдущих правительствах.

— Потому, что есть конституция,— гневно бросил ему Димитров,— есть закон и порядок!..

Димитров хотел продолжать речь, но Мушанов остановил его, подняв холеную руку. Строго, менторским тоном он сказал:

— Прошу вас не бросаться словами. Если человек придерживается своих убеждений и они противоположны вашим, это еще не есть подлость.

— Это насилие, а не убеждение,— как бы мимоходом сказал ему Димитров и снова повернулся к залу.— Итак, господа народные представители, когда я в тот день ехал...

Мушанов, совсем уже теряя спокойствие, с угрозой в голосе слишком громко, чего он всегда избегал, чтобы не ронять своего достоинства, крикнул:

— В другой раз вас выгонят из Народного собрания за это слово.

Это уже было слишком, и Димитров снова прервал свою речь.

— Потому что вы действуете из-за угла.— Он устремил на Мушанова упрямый взгляд и, отчеканивая слова, решив разделаться с министром по-своему, произнес: — Ляпчев не сообщил лично мне, как депутату, а сделал это за моей спиной — в этом подлость.— Димитров приостановился, как бы говоря паузой: «Ну что же, я еще раз повторил, почему ты меня не выгонишь?..» — Поступок подлый,— напирая на слово «подлый», продолжал Димитров,— потому что лично мне, как депутату, ничего не сообщено...

Из зала послышался истерический вопль:

— Ляпчев виноват, что выпустил его из тюрьмы!

Димитров повернулся на крик и, сдерживая себя,

пытаясь быть спокойным, насколько можно быть спокойным в разгоряченном и разгневанном состоянии, сказал:

— Я амнистирован Народным собранием.

Димитров никому не собирался уступать в этой словесной битве, как и во время уличных стычек с полицией.

Председательствующий доктор Момчилов, седоватый, грузный человек, нажал на кнопку огромного серебряного звонка. Гулкие звуки колокола вновь — в который уже раз! — разнеслись по залу.

— Господин Димитров, прошу вас...

— Господа народные представители! — продолжал Димитров.— Когда я услышал выстрел и скандал на станции, я был вынужден сойти с поезда. Конфликт был улажен, и инцидент не вызвал никаких осложнений.

Димитров продолжал рассказывать о том, как в Перник для его ареста прибыла половина софийского гарнизона во главе с полковником. Зал притих, рассказ увлек своей живостью даже правых депутатов: никто другой, кроме неистового Димитрова, не мог вызвать среди военных такого переполоха. Что верно, то верно! И они, посмеиваясь в усы и бороды, поглядывали на военного министра во фраке.

— Этот полковник,— продолжал Димитров,— на моих глазах немедленно развернул воинскую часть... и приказал ей окопаться и приготовиться к сражению... Я, депутат, был окружен солдатами!.. В комнату железнодорожников вошел командир батальона с десятью — двадцатью солдатами с обнаженными штыками и... цинично приказал солдатам: «После того, как я скажу вам: раз, два, три и они не пойдут,— это касалось меня и моей жены, которая случайно ехала со мной,— подгоняйте их штыками».

Звон колокола опять заполнил зал. Момчилов решил на этот раз быть твердым. Он поднял голову, расправил плечи и протянул к Димитрову массивную длань.

— Господин Димитров! Я предупредил вас, чтобы вы кончали... Лишаю вас слова и предоставляю его господину Джидрову.

В левой половине зала возник, все нарастая, крик:

— Э-э-э-эй!

Момчилов снова обратился к Димитрову:

— Прошу вас, кончайте!

Не обращая внимания на крики из зала и мольбы Момчилова, Димитров говорил о развале работы шахт в результате невнимания правительства к нуждам рабочих и о предательской роли «широких» социалистов.

— И вы ответите не перед этим обанкротившимся парламентом,— крикнул Димитров, наклоняясь с трибуны в зал,— который заслуживает того, чтобы...

Момчилов поспешно нажал на кнопку звонка, и удары колокола поглотили дальнейшие слова Димитрова.

А Димитров, не обращая внимания на старика, продолжал:

— ...Вы ответите перед судом болгарского народа вне парламента!

Министр правосудия Джидров, крепенький, полный сил, подскочил в своем кресле.

— Как бы не так! — заорал он.— А ты не хочешь, чтобы я потребовал от тебя ответа за эти угрозы? — Он захлебнулся.

Момчилов обеими руками заколотил по звонку, превратившись из председателя Народного собрания в напуганного, теряющего силы старца.

Джидров вскочил со своего места и, наконец набравшись сил, крикнул Димитрову:

— Ты...— но голос его опять сорвался, он захрипел, задохнулся и умолк, уставившись на Димитрова вылезающими из орбит глазами.

Димитров протянул руку в его сторону.

— Вы разоблаченный предатель болгарского народа! — крикнул он.

Джидров набрал в легкие воздуха и тонко, визгливо, вдруг почему-то переходя на «вы», прокричал:

— Вы лжете!..

Да, многое открывают стенограммы заседаний Народного собрания! И невольно приходит мысль, что тогда, в парламентских схватках постепенно складывался Димитров — полемист, Димитров — беспощадный разоблачитель, каким он предстал перед всем миром через тринадцать лет на знаменитом Лейпцигском процессе...

Вечером Георгий рассказывал Любе о том, что было в Народном собрании.

— Под конец я задал им жару.— Георгий растрепал свои волосы, сбросив их на лоб, и сделал большие глаза.— Вот какой я там был,— сказал он и, расхохотавшись, повалился на диван.

— Наполовину я люблю тебя за то,— сказала Люба,— что ты — неистовый Димитров, как они тебя зовут, можешь быть совсем простым, веселым, как мальчишка...

Георгий перестал смеяться. Он уселся на кушетке, тяжело вздохнул и уперся подбородком в кулак.

— Я люблю жизнь такой, как она есть,— сказал

он серьезно и поправил волосы,— со всеми ее сложностями, опасностями, борьбой. Но иногда мне становится бесконечно тяжело: столько слез и горя у одних и лицемерия, бесчестья и жадности у других. Тогда мне трудно быть веселым, тогда я хочу драться и ненавидеть. Драться с ними до конца, до последнего вздоха.

XXX

Наступила весна. Под безлистыми еще деревьями городских парков запахло сырой землей. В улицы врывался ветер с гор, пропитанный свежестью сосновых лесов и теплом нагретых весенним солнцем скал. Много весен пережил Георгий. В ранней молодости весна несла тревогу — усиливалось заболевание шейных желез, иссякали силы, забродивший терпкий воздух валил с ног. Много лет спустя стараниями Любы болезнь удалось задушить, с весной приходила затаенная радость, обострялось ощущение физической силы, неодолимости и бесконечности трудной, объятой горечью частых разлук и тревог и все-таки счастливой любви.

Весна девятнадцатого года была особенной: она наполняла все вокруг незримым и волнующим, как аромат болгарских роз, дыханием растущей силы и близящейся народной свободы. Это чувство было так сильно и так необыкновенно, что Георгий, поглощенный своим делом — парламентскими схватками, работой над газетными статьями или речами, партийными диспутами,— все время, иной раз даже не сознавая того, ждал чего-то неизбежного, грозного и радостного. Многие месяцы он продолжал неотступно думать о русской революции и Ленине — потому, может

быть, и возникало ощущение чего-то ждущего их впереди, чего-то важного и нужного им всем, и весна полнилась и светом, и волнением, и тревогой радостных предчувствий.

И еще одно событие в этом году радостно взволновало — приехала жена Николы Лиза и две их дочери — семилетняя Оля и пятилетняя Верочка. Георгий подыскал им квартиру на улице Аспарух, вскоре ставшей конспиративной квартирой партии. Лиза начала работать массажисткой в лечебном институте, вступила в партию...

Ниточка, потянувшаяся от давних событий жизни и смерти Николы Димитрова, от событий, связанных с приездом в Софию его жены и двух дочерей, неожиданно для меня привела на Ленинградское шоссе в Москве, в квартиру Ольги Николаевны Димитровой, дочери Николы и племянницы Георгия Димитрова. Есть какое-то фамильное сходство — и в цвете глаз, и в чертах лица — у Ольги Николаевны со своим отцом и с дядей.

В 1923 году, после фашистского переворота, Лизу и двух ее девочек власти выслали в Советскую Россию. Лиза поступила на чулочную фабрику, перешла в партию большевиков. В 1934 году ее избрали депутатом Перловского райсовета, под Москвой. Ольга Николаевна окончила в тридцатых годах Институт инженеров связи.

В интересной, дружной семье показали мне письмо бабы Параскевы к Лизе от 19 января 1941 года, которое я хочу здесь привести.

«Милая Лиза, вспомни то время, когда ты была в Болгарии, как хорошо мы жили. Как мы радовались детям. Как вы хвалили то, что я готовила,— не по-

тому, что кушанья были вкуснее тех, что готовила ты, но потому, что любовь прощает грехи, потому что ты меня очень любила и не хотела меня обидеть и говорила, что все хорошо. Радостно мне очень, Лиза, что ты сейчас имеешь двух внучат и радуешься им. Это новая жизнь для тебя... Желаю тебе быть живой и здоровой, дождаться правнучат, как я сама дождалась правнучат и радуюсь, думая о них. Целую вас, ваша мама».

В этом ее, как будто совсем незамысловатом письмеце, написанном накануне величайших испытаний для миллионов и миллионов людей,— вся она, мать, умеющая любить, дающая силы тем, кто нуждался в ее заботах, добрая и неуступчивая перед злом и невзгодами...

В конце мая на XXII съезде Болгарская социалдемократическая партия была переименована в коммунистическую партию («тесных» социалистов) и присоединилась к III, Коммунистическому Интернационалу. Съезд принял программную декларацию, в которой давался анализ империализма — последней стадии капитализма. В этом документе партия восприняла важные принципы Маркса и Ленина. В декларации были и существенные недостатки, в частности не рассматривался вопрос о роли трудового крестьянства. Но документ этот определил политические позиции партии.

На съезде не было одного из старейших руководителей партии, Киркова — Мастера. Он лежал тяжело больной. Георгий с горечью думал о том, что этот удивительный человек уходит из жизни в то время, когда особенно нужен партии, и что он, Георгий, многим и многим обязан ему.

Врачи-коммунисты, лечившие Киркова, еще летом 1918 года предупредили Деда и других руководителей партии, что у больного рак. Две операции не дали результатов.

Девятнадцатый год проходил в заботах и тревогах и все еще не приносил того, о чем думалось весной: свободы. Летние месяцы промчались в предвыборной сумятице. Коммунисты получили на выборах сто двадцать тысяч голосов избирателей и сорок семь мест в Народном собрании. Земледельческий союз — сто семьдесят шесть тысяч голосов и восемьдесят пять депутатских мандатов. К власти приходил Земледельческий союз, приходил как противник, а не как союзник. Стамболийский отказывался от союза с компартией и включал в правительство министров-реакционеров. Словно какая-то фатальная сила то сталкивала, то с неумолимой жестокостью разъединяла их. Георгий понял, что неизбежны новые испытания, и готовился к жестоким преследованиям.

Стало известно, что в больнице умирает Мастер. Георгий пришел к нему и увидел строгое, изможденное лицо, прежде полное жизни. Опустился на стул рядом с постелью. Боялся потревожить умирающего и, взяв его руку, молча смотрел в дорогое лицо.

— Общеделец Крыстю Пастухов стал министром в правительстве Стамболийского,— тихо заговорил Мастер.

— Да,— этот социал-демократ...— Георгий замолчал, боясь, что политические разговоры утомительны для больного.

— Говори, говори...— едва слышно прошептал Мастер.— Для меня это — жизнь.

— В первый же день своей карьеры он усилил цензуру и террор,— с презрительной усмешкой сказал Георгий.

— Дали ему саблю в руки...— сказал Мастер.— Теперь он разоблачит себя, как враг рабочих.

Короткое свидание подходило к концу. Мастер спросил:

— Как в России? Смогут ли большевики справиться с тяжелой индустрией? Это самое важное...— И совсем ослабевшим голосом едва слышно промолвил: — Георгий!.. Мы должны идти под знаменем Ленина, под знаменем большевиков!..

Это было его завещанием.

Так шел этот тревожный девятнадцатый год...

Двадцать четвертого декабря всеобщая народная демонстрация затопила центральные улицы города.

Георгий был во главе колонны рабочих, когда появилась конная полиция. Люба видела: Георгий кинулся к лошади полицейского и схватил ее под уздцы. Лошадь рванула морду в сторону, остановилась, напирая на Георгия грудью. Он одной рукой сдерживал ее, а другой, сорвав с головы шляпу и зажав ее в кулаке, махал демонстрантам, указывая путь. Волосы его развевались на ветру рядом с хлопьями слепяще белой пены, падавшей с губ коня. Отряд верховых смешался, остановился и пропустил мимо пеструю людскую лавину с кострищами красных знамен. Пришло то, чего Георгий ждал: сила народная вырвалась наружу!

В тот же день по Софии разнесся слух, что совет министров под председательством Стамболийского постановил арестовать Георгия Димитрова и Васила Коларова за руководство политической демонстрацией. Передавались слова министра внутренних дел «широкого» социалиста Крыстю Пастухова: «Это формальная и фактическая революция. Надо немедленно вызвать войска!»

Нет, демонстрация 24 декабря не была революцией. Министр был обозлен, напуган и преувеличивал значение событий.

В тот день арестовать Георгия не удалось, дома его не нашли. Мать, поджав губы и склонив голову набок, ходила вслед за полицейскими и усмехалась: они искали его под кроватями, в шкафу, в сарае... А его не было дома, иначе она не открыла бы им так быстро.

Наконец незваные гости в помятых и грязных мундирах собрались во дворике.

— Вы совсем измучились, господа полицейские,— сказала мать, подходя к ним.

— Смеешься, старая? — подступил к ней немолодой полицейский. Он был тучен, шея лоснилась от пота.

— А что мне остается делать? — будто не слыша угрозы в его голосе, простовато спросила мать.— Если бы вы, войдя в мой дом, спросили, стоит ли вам искать моего сына, я бы сразу ответила вам, что его нет здесь. И вы бы не потели и не мазались зря.

Полицейский оглядел ее — худенькую, в темной шерстяной юбке, с головой, повязанной черным платком.

— Ты глупа, я вижу,— сказал он.— Деревенская старуха. Странно, что ты смогла вырастить сына, об аресте которого выпуждено заботиться само правительство.

— Это верно, господин полицейский, я неграмотная, из простого народа,— мать, покачивая головой из стороны в сторону, то ли подтверждала справедливость слов полицейского, то ли одобряла свои собственные слова.— Да, я из простого народа. Но разве простой народ не давал силы апостолам?

Полицейский внимательно и враждебно еще раз оглядел ее.



— Ты или в самом деле глупа, или слишком умна и хитра,— сказал он ворчливо.

— Это верно, господин полицейский,— спокойным тоном, в котором не было и тени страха или унижения, согласилась мать,— хоть я неграмотная и не знаю всего того, что знает мой сын, но у меня есть глаза и уши.

— Пошла вон, старуха,— негромко и зло ругнул ее полицейский,— ты слишком много говоришь, как я посмотрю. Передай своему сыну, что мы все равно поймаем его. Да и тебе в другой раз достанется шомполами.

— Да, господин полицейский, если разрешит вам ваша совесть...

— Проклятая болтунья! — пробормотал он и, повернувшись, тяжелым неторопливым шагом пошел к воротам. Пропуская своих подчиненных на улицу, он сказал последнему проходившему мимо него полицейскому: — Она знает больше, чем мы можем подумать. Ну и времечко: неграмотная старуха суется в политику. Все точно взбесились...

XXXI

В конце декабря начались новые митинги и демонстрации железнодорожников. Кое-где произошли кровавые столкновения с полицией. В ответ правительство распорядилось уволить железнодорожников и почтово-телеграфных служащих, принимавших участие в демонстрациях. 27 декабря была объявлена всеобщая забастовка железнодорожников, рабочих портов, трамвайщиков и почтовых служащих. Шахтеры Перника и рабочие многих фабрик в знак солидарности также прекратили работу.

Георгий вынужден был перейти на нелегальное положение. Он руководил начавшейся стачкой железнодорожников из подполья, менял квартиры, избегая показываться днем на улицах. Комитеты забастовщиков собирались то в будке железнодорожного стрелочника, то в доме какого-нибудь рабочего.

Партия призвала всех трудящихся страны поддержать борьбу железнодорожников и почтовых служащих и провести недельную всеобщую политическую стачку. Это была первая за всю историю рабочего движения Болгарии всеобщая политическая стачка, проведенная под руководством Болгарской коммунистической партии.

Героическая борьба транспортных рабочих продолжалась 55 дней. Они вынуждены были отступить перед репрессиями правительства из-за отсутствия единства.

Как-то вечером Георгий пришел в свой дом. Почти каждый день он писал Любе и получал от нее записки через надежных товарищей, а встретились так, точно вечность ничего не знали друг о друге. До полуночи не смыкали глаз, делились пережитым. Люба, как и прежде, бывала в семьях рабочих и рассказала, как тяжело забастовщикам переносить суровую зиму, нехватку продуктов питания.

Рано утром их разбудил громкий стук в ворота. Люба, накинув халатик, бросилась в кабинет, окна которого выходили на улицу, и в щелку между занавесками увидела полицейских.

— Скорее, на чердак! — шепнула она мужу.

— Спрячь! — Георгий выхватил из кармана брюк пистолет, из пиджака пачку прокламаций и протянул Любе.— Лучше, если они схватят меня без этого.

Он быстро подставил стул и открыл узкий люк в потолке. Резким движением выжался на руках и ис-

чез в темноте. Крышка люка бесшумно опустилась на прежнее место.

В дверях появилась мать и молча посмотрела на Любу, стоявшую посреди комнаты с пистолетом и листовками в руках. Мать подошла к ней, взяла пистолет и прокламации, точно это были вязальные спицы и моток шерсти, и сунула в карманы среди широких складок своей юбки. Затем повернулась и неторопливо пошла во двор. Там она долго возилась у калитки, убеждая господ полицейских немного потерпеть, потому что она стара, и ей нелегко вытащить из земли тяжелый лом, который всегда подпирает калитку, если в доме остаются одни женщины.

Когда наконец мать отперла калитку, тучный полицейский — тот, что был здесь недавно,— спросил:

— Что ты тут бормотала? Куда делся твой сын?

— Вы долго спите, господин полицейский,— не отводя глаз, сказала мать.— Мой сын рано уходит на работу.

Начался обыск. Старший полицейский вошел в дом, вслед за ним прошаркала своими туфлями по ступенькам и мать.

— А это что? — спросил полицейский, подняв голову и оглядывая лючок в потолке.

— Чердак, господин полицейский. Слазайте и туда, осмотрите все хорошенько, чтобы потом не говорили, что я что-то спрятала от вас.— Она приволокла за спинку старый стул из угла и поставила его под лючком.— Полезайте, господин полицейский, посмотрите сами.

Полицейский с опаской встал на шаткий стул и приоткрыл дверцу на чердак. Он сунул голову в темноту, но дальше лезть не стал.

— Ладно,— сказал он, опуская дверцу.— Там у тебя один только мусор.

Мать в изнеможении прислонилась спиной к стене, силы внезапно оставили ее.

Пока продолжался обыск, мать хлопотала у очага.

— Господин полицейский,— сказала она,— я приготовила вам кофе. Выпейте по чашечке горячего, на улице холодно.

Тучный полицейский, нагнув голову, взглянул на нее исподлобья и, ничего не сказав, ушел.

— Не сердись, сынок, что я предложила им кофе,— сказала Георгию мать, когда он спустился с чердака в комнату.— Я должна была это сделать, чтобы они поверили в мою глупость. Они, кажется, и впрямь поверили...

Георгий опять исчез надолго. Только в феврале нового года для Любы представилась возможность с ним встретиться. Но какая это была возможность.

От Георгия принесли письмо, в котором говорилось, что общинский совет собирает заседание, где будет голосоваться постановление об увольнении рабочих городского хозяйства и транспорта за участие в стачке. От одного голоса зависит, пройдет ли решение или будет провалено. Враги уверены, что он, Димитров, все еще общинский советник, побоится прийти. Георгий писал, что, выполняя решение партии, он должен открыто войти в зал заседаний и проголосовать. Судьба четырехсот человек зависит от этого. Все меры, чтобы избегнуть ареста, приняты. Он приглашал Любу завтра к началу заседания быть в совете. Там они и увидятся.

С утра Люба пошла к общинскому совету. Еще издали она заметила у дверей здания нескольких человек в серых мундирах. Полиция! Почему здесь полиция? Нервная дрожь охватила ее: власти предупреждены. Пройти мимо? Нет! Именно теперь она особенно нужна Георгию.

Проходя к дверям, Люба вдруг узнала в одном из полицейских... Тодорчо. Он весело посмотрел на нее, кивнул.

Люба быстро вошла в коридор и остановилась напротив двери зала заседаний. Какие-то люди прохаживались по коридору взад и вперед, двое стояли поодаль. Она стала узнавать лица знакомых коммунистов-трамвайщиков. Горячая волна хлынула в душу. Гордость за партию, за этих людей охватили ее. Легким быстрым движением руки она расстегнула пальтишко, обнажая светлую полоску кружевной кофточки, заложила руки назад — пряменькая, строгая — и оперлась спиной о стену. Из зала в приоткрытую дверь донесся ворчливый голос. Люба узнала его. Говорил кмет — председатель общины, мэр города:

— Известно, что советник Димитров, несмотря на неоднократные приглашения, не явился на заседание...

В коридор стремительной походкой — не вошел, нет — ворвался Георгий. За ним быстро шли двое. Лицо его, еще более заросшее бородой за месяц скитаний по нелегальным квартирам, осветилось радостью: он увидел Любу. Она кинулась навстречу — молнией блеснула белая полоска кофточки в солнечном луче, падавшем из приоткрытой двери. На мгновение Люба прильнула к Георгию и тотчас отпрянула, освобождая ему дорогу.

Из зала донесся голос кмета:

— Приступаю к голосованию...

Георгий распахнул дверь и вошел в зал. Там сразу стало тихо. Люба видела, как Георгий остановился у порога, заслоняя свет своей широкой фигурой, и по напряженным плечам его поняла, что он в упор смотрит на кмета.

— Я здесь, господа! — сказал Георгий.— Напрасно вы обвиняете меня. Я буду сегодня голосовать.

Он прошел в глубину комнаты, оставив дверь раскрытой. Кто-то быстро проскользнул из зала в коридор и притворил дверь. Перед Любой в наступившем полумраке оказался молодой, узкоплечий человек с редкой бородкой.

— Что здесь за люди? — спросил он, оглядывая толпившихся около двери.

Не дождавшись ответа, он кинулся в глубину коридора.

Кто-то опять немного приоткрыл дверь.

— Большинство! — послышался торжествующий голос Георгия.

По тону его голоса Люба поняла, что все в Георгии дрожит от напряжения.

— Большинство в один голос,— пробормотал кмет.

— И все же большинство! — со своей обычной неистребимой настойчивостью выкрикнул Георгий.

В зал ворвался молодой человек с редкой бородкой. Люди, толпившиеся в коридоре, подались к двери, распахнули ее настежь и заняли весь проем. Люба услышала торопливые слова вошедшего:

— Господин кмет! Я не мог ничего сделать, телефоны не работают, община блокирована, все входы и выходы охраняются неизвестными людьми. Мы отрезаны!

В зале послышалось движение, заговорило разом несколько человек. У двери появился Георгий. Он задержался у порога, обернулся в зал и в наступившей тишине отчетливо, с едва пробивавшимися насмешливыми нотками в голосе, сказал:

— До свидания, господа!

В коридоре Георгий подошел к Любе.

— Мы победили на этот раз, Люба! — сказал он.— Милая Люба!

Возбуждение все еще владело им. Люба видела, что ему хочется обнять ее, но их окружили товарищи, и он сдержался.

Люба, сжав кулачок около груди, лишь повторяла:

— Уходи, Георгий. Скорее уходи...

Она, так долго ждавшая встречи с ним, торопила его уйти.

Георгий склонился и почтительно поцеловал ее руку. Потом быстро и решительно, так же, как и входил сюда, устремился к выходу. Те двое, что охраняли его, не отставая ни на шаг, удалились вместе с ним.

На следующий день буржуазные газеты были полны сенсационных сообщений: Димитров, которого безуспешно разыскивала полиция, на виду у всех, вопреки обвинениям его в трусости, явился в общинский совет и, проголосовав и произнеся короткую, но сильную речь, бесследно скрылся, словно накрытый красной шапкой-невидимкой...

В июне 1920 года партия направила Георгия Димитрова вместе с секретарем ЦК Василом Коларовым делегатом на II конгресс III, Коммунистического Интернационала в Москву. Политическая и личная их дружба окрепла в совместной борьбе за укрепление партии, в боях с буржуазными депутатами на заседаниях Народного собрания. Теперь они стали вместе готовиться к нелегальной поездке в Советскую Россию. Ехать через Германию было нельзя. Из-за военных действий в Польше западные границы России были закрыты. Оставалось одно: пробраться на лодке по Черному морю в Одессу. Путешествие предстояло

опасное и рискованное — берега Крыма охранялись английскими и французскими военными кораблями — но другого выбора не было.

Все последующие дни Георгий жил предстоящей поездкой в Россию. Им овладела какая-то особенная сосредоточенность. Точно он, выполняя обычные дела, все время всматривался в свою душу, как бы заново оценивая сам себя. Георгий хотел быть до конца откровенным, правдивым и честным с самим собой, он хотел, чтобы Ленин увидел его таким, какой он есть.

Любе тоже надо было решить для самой себя, как быть. Она не могла поехать с Георгием — слишком трудна и опасна была предстоящая поездка, но и не могла оставаться в стороне от дела, давно и нерасторжимо соединившего их, не хотела одиночества и успокоения в тихом дворике на Ополченской. В июне она получила от ЦК мандат, подтверждавший ее полномочия для участия представителем Болгарской коммунистической партии на конгрессе Рабочей социалистической партии Югославии. Ее, сербку по национальности, никогда не забывавшую родной язык, писавшую на нем свои стихи, могли понять в Югославии лучше, чем кого-либо другого. Надо уехать первой, думала Люба, и отдаться работе. Тогда даже без Георгия она будет чувствовать себя идущей рядом с ним, и разлука станет не так тяжела. Люба уезжала на родину совсем не так, как было четыре года назад. Сейчас она уезжала от него, чтобы быть ближе к нему.

Прощаясь с Георгием на вокзале, она дала ему слово отдохнуть на своей родине и не очень волноваться о нем. Когда поезд тронулся, она высунулась из окна вагона и долго махала своей маленькой рукой. Она не видела ни Георгия, ни проползавших мимо разогретых солнцем станционных зданий. Слезы слепили ее.

Часть вторая

Поездка в Россию окончилась провалом. Контрабандисты, в лодке которых Георгий и Васил Коларов нелегально отправились из Варны в сторону Одессы — другого пути в Россию не было, ночью перепились и выпустили из бочки всю пресную воду. И Георгий и Васил Коларов в это время спали. Утром пришлось повернуть к устью Дуная за пресной водой, и лодку настиг румынский сторожевой корабль.

В долгие дни и ночи изнурительных допросов, размышлений один на один, тоски по Любе Георгий не мог простить себе неосмотрительности и беспечности. Он винил себя в том, что не сумел попасть к Ленину, о котором неотступно думал многие годы. Ведь он стремился ближе узнать этого человека, чтобы вернее искать путь среди скал к тому бесконечному восхождению, из которого состоит вся человеческая жизнь!..

Когда-то давно, в начале века, с прямолинейностью юноши Георгий искал себе примеров для подражания. Его увлек образ Рахметова, героя романа Чернышевского «Что делать?». После работы в типо-

графии он читал книгу ночами, вслух разговаривал с Рахметовым, заучивал целые страницы... Рахметов покорил его воображение своей неустрашимостью и твердостью, стремлением закалить волю в борьбе с трудностями и лишениями, подчинить личные желания борьбе за высокие идеалы.

Георгий стремился подражать Рахметову в его привычках и поведении, в его манере держаться, спал на твердой постели, даже подкладывал на постели гвозди, как это делал Рахметов, чтобы закалить себя и научиться не поддаваться слабости.

Но вскоре Георгий понял, что слепое подражание Рахметову вряд ли сделало бы его похожим на Рахметова. Как бы ни был умен, ярок, героичен человек, простой слепок с его жизни останется мертвой маской, ибо новая жизнь никогда не терпит повторения. Прозреть и найти свой собственный путь, не похожий ни на чей другой, помог ему Чернышевский, толкнувший его на беседы с самим собой, пробудивший в нем жажду правды, стремление познать жизнь. До сих пор он помнил слова любимого писателя: «Говори же всем — будущее светло и прекрасно. Любите его, стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее сколько можете перенести: настолько будет светла и добра и радостью и наслаждением ваша жизнь, насколько вы умеете перенести в нее из будущего...»

О Ленине Георгий услышал вполне сложившимся человеком. Он уже понимал беспощадность той борьбы, которой посвятил себя. Но он не только вчитывался в работы Ленина, не только искал в них политических и философских откровений. Давно с силой необыкновенной его увлек образ самого этого человека. Нет, Георгий не искал теперь примера для подражания. Он видел в Ленине советчика. Он хотел

постигнуть через Ленина мудрость своего времени и таким путем обрести ясность мысли и действия. Георгий жаждал встречи с этим человеком и для того, чтобы проверить свое представление о нем, и для того, чтобы лучше понять самого себя. И тем тягостнее для него теперь была неудача с поездкой в Москву.

Протесты прогрессивной общественности и Болгарской и Румынской компартий, а также вмешательство Советской России вырвало их с Коларовым из рук румынской контрразведки. Они вернулись в Болгарию в тот же самый порт Варна, из которого вышли в море на лодке двадцать четыре дня назад. Круг замкнулся. Но для Георгия это было не возвращение к исходной точке, он понимал, что прошел одним из каменистых и опасных участков все того же бесконечного восхождения. На родине Георгий узнал подробности их спасения. Помощь оказала Россия. Вновь душевные силы стали пробуждаться в нем: он угадал за ультимативной нотой советского народного комиссара по иностранным делам Чичерина правительству Румынии ум, волю, личность Ленина. Работа с утра до вечера помогла ему окончательно преодолеть душевный кризис. «Работать и работать! — говорил себе Георгий.— Рано или поздно я буду у Ленина...»

Любы все еще не было в Софии. Георгий не щадил себя, оставляя для отдыха лишь несколько ночных часов. Жить по-другому после всего того, что произошло, жить по-другому, без Любы, он не мог. И все же глухое, мучительное беспокойство не давало ему покоя.

С тех пор как он вернулся в Софию, ни писем, ни телеграмм от Любы не было. Он отправил ей две тысячи динаров с оказией, телеграмму, заказное письмо — и все без ответа.

В партийном клубе в руки ему попался кем-то оставленный югославский журнал «Будущность». Георгий раскрыл его, и в глаза ему бросилась подпись под столбцом стихов: Любица Ивошевич. Он одним дыханием прочел стихи. Сомнений быть не могло: перед ним — стихи Любы, первое случайное известие о ней. Он сунул журнал в карман брюк и вышел на улицу. Ему хотелось остаться наедине с новыми стихами Любы, так неожиданно дошедшими до него. У храма святого Николы он разыскал в сквере скамейку в глубокой тени под платаном — ту самую скамейку! — опустился на нее и углубился в чтение.

Стихи полны были музыкального ритма, выразительны. Но более всего волновало то, что Люба облекла в поэтическую форму пережитое ею самой. Перед ним не пустое стихоплетство еще одной сентиментальной поэтессы, а редкое и счастливое соединение поэта и революционера, поэзии и жизни, сильного поэтического чувства, житейского опыта и точного ощущения революционной борьбы пролетариата. Поэтический дар Любы с большой силой пробудился вновь. Что же тому причиной? Перемена обстановки, отдых, лечение? Но такие стихи не пишутся на отдыхе, от них веет ветром революции.

Склонившись над журналом, Георгий читал:

Я спотыкалась не раз, вновь поднималась и шла.
Веру в грядущие дни я средь тревог сберегла.
Да, я плебейка! Во мне зависти нет к господам.
Битвы растили меня — этим я только горда!

Он снова и снова перечитывал все три стихотворения. Сколько в них зрелого чувства и силы!

Но где же сама Люба?

Он оборвал эту мысль, устыдившись невольной слабости. Какое значение могут иметь его душевные

муки, вызванные молчанием Любы, перед чудом обновления ее личности, перед расцветом ее поэтического дара, таланта революционера?

Он поднялся, закинул руки с журналом за спину и медленно пошел по дорожке сквера. Потом зашагал по улицам города просто так, никуда не торопясь, не думая ни о своих делах, ни о речах и статьях. Георгий шел туда, где бывали они с Любой, вспоминал слова, которые они говорили друг другу, интонации ее голоса.

II

Люба приехала неожиданно. Стояла ранняя осень. Солнце отцветало в пропыленном за лето, еще не успевшем отстояться и по-осеннему прозрачно остекленеть, мутноватом небе. На вокзале было душно, пахло смазочным маслом, отдававшим керосином, и густым яблочным настоем из корзин пассажиров. Люба спокойно сошла по ступенькам вагона и направилась к встречавшему ее Георгию. Ее загоревшее лицо было полно радости и света, но в движениях сквозила какая-то поразившая Георгия сдержанность. Он взял у нее чемодан. Они перешли через разогретые солнцем железнодорожные пути у вокзала и зашагали по улице, молчаливые и отчужденные.

— Я читал твои стихи в «Будущности»,— сдержанно сказал Георгий.— Читал и понял...

— Что ты понял? — так же сдержанно спросила Люба, мельком взглянув на него.

Несколько шагов Георгий прошел молча, глядя себе под ноги.

— Самое главное для меня,— заговорил Георгий,— сознавать, что ты победила все невзгоды и

сумела стать самостоятельной яркой личностью, поэтом-революционером. Но ты так странно встретила меня сейчас у поезда.

— Георгий,— заговорила Люба.— Я сама не могу объяснить, что со мной случилось. Я ехала к тебе и торопила про себя колеса: «Скорее, скорее!» Я хотела быть с тобой, смотреть на тебя, слушать тебя, гладить твои волосы. А когда увидела, во мне вдруг что-то точно оборвалось. Не знаю почему. Может быть, я боялась каких-то перемен во мне — ведь мы так долго не виделись. Или просто отвыкла от тебя...

— Боже мой! — воскликнул Георгий.— Люба! Моя Люба! Ты знаешь,— торопливо заговорил он, опуская чемодан на землю и беря ее руку в свои широкие ладони,— мы точно заново открываем и узнаем друг друга.

— Я приехала сюда, и в этом для меня все: и работа, и ты, и мои стихи. Я должна работать и работать, как ты говоришь, иначе погибну, как личность, погибну раньше, чем дано природой. Я хочу, чтобы ты знал это и никогда ни в чем не винил ни себя, ни меня.

— Да! — с трудом сказал он.— Я тоже это понял. Обещаю тебе.

Вскоре Георгий стал готовиться к новой поездке в Россию. В будущем двадцать первом году в Москве созывался первый учредительный международный конгресс революционных профсоюзов. Георгия избрали делегатом от синдикального союза. Ожидалось, что на конгресс приедут делегаты из нескольких десятков стран. Международное рабочее движение вступило в новую полосу: на конгрессе предстояло выработать тактику борьбы за улучшение положения рабочего класса, теснее связать профсоюзное движение с Коминтерном.

Георгий понимал, что Ленин принимает самое деятельное участие в созыве конгресса. То, о чем Георгий мечтал много лет, то, к чему готовил себя, должно было наконец совершиться: он встретится с Лениным. Конечно, и сейчас поездка могла сорваться, надо нелегально пересечь границы нескольких государств, раздобыть паспорт, валюту. Но он давно решил, что не остановится ни перед какими опасностями и испытаниями. «Действуй, Георгий, действуй,— и думал и говорил он сам себе.— На Гамлета клевещут, когда говорят, что размышления ослабляли его волю и дела. Прочь беспечность и неосмотрительность — это они, а не размышления и страсть главные враги действия...»

В январе Георгий был уже в Вене. Он подробно писал Любе о рабочем движении Австрии, Германии, Франции. Он знал, как благодарна будет Люба за эти письма о политической жизни Европы. Она почувствует себя рядом с ним, снова получит так необходимую ей порцию свежего воздуха борьбы, без которой не может жить, не может писать стихов.

Он встречался с коммунистами разных стран и как бы ощущал освежающий ветер, пронесшийся над Европой. Как-то в начале января в Вене Георгий присел к столу у себя в номере гостиницы.

«Милая, дорогая, незаменимая моя Люба! — писал он.— Собираю сведения о положении в разных странах и изучаю новейшую русскую коммунистическую литературу, которой нет в Болгарии.

Вчера вечером был в Государственной опере (прежде Дворцовая опера). Нечто грандиозное! Спектакль по содержанию нестоящий, но музыка, пение, постановка, сам театр — неописуемо великолепны. Сожалею, что ты не со мной. Твоя поэтическая, отзывчивая душа получила бы здесь прекрасную

пищу... Я уже сообщал тебе, что конгресс в Москве отложен до весны...

В Югославии — белый террор... В Белграде, Загребе и других городах вспыхнули стачки протеста. Запрещена всякая коммунистическая пропаганда, коммунисты поставлены вне закона, закрыты партийные клубы... Есть определенные сведения: то, что творится в Югославии,— не случайно. Коммунистические партии Балканских стран представляют большую угрозу для готовящейся военной кампании против Советской России. В этой кампании могут принять участие Польша, Румыния, Югославия и Болгария... Надо ждать нападения и на нашу партию, подобно тому, как это было в Румынии и сейчас происходит в Югославии. Нам нужно быть готовыми встретить удар с достоинством.

Колоссален успех Интернационала! На конгрессе французских социалистов в Туре вслед за Германией присоединилась... и французская партия. В Тур нелегально приехала Клара Цеткин, делегатка Коммунистического Интернационала. После того как она произнесла блестящую речь, которая во многом повлияла на превосходное решение конгресса, она исчезла. Во французском парламенте был сделан по этому поводу запрос правительству. Необъяснимо, как могла Клара приехать в Тур без германского паспорта, без разрешения французских властей и ускользнуть от полиции. Немецкая коммунистическая пресса комментирует этот героический поступок Клары Цеткин с восхищением».

Вскоре сам Георгий нелегально уехал в Италию на конгресс Итальянской социалистической партии. И оттуда он посылал Любе свои весточки, рассказывая об успехах и борьбе итальянских товарищей.

Конец вьюжного февраля застал Георгия уже в

Москве, в бывшей гостинице «Люкс», на Тверской, в комнате с заиндевелыми стеклами. Советская столица произвела на Георгия странное впечатление. Многие дома не отапливались, стекла окон были заморожены, мимо шли люди с изможденными лицами. Зато около университета царило веселое оживление. Улицу заполняла молодежь с тетрадями и книгами в руках. А ведь они — Георгий уже знал об этом — получали в день всего полфунта хлеба и в три раза меньше мяса или рыбы. Вечером город погрузился в темноту, но холодный театральный зал, куда ему дали билет, был забит зрителями в пальто и шинелях... Это были самые первые впечатления.

На другой день после завтрака — двух кусочков хлеба с чаем без сахара — дежурный пригласил его к телефону. В первый момент Георгий даже не понял, откуда говорят. Просили сегодня же вечером быть в Кремле: Димитрова хочет видеть Ленин.

— За вами зайдет товарищ,— слышался в трубке молодой женский голос,— прошу не опаздывать, время у Владимира Ильича строго распределено.

Георгий не сразу положил трубку на аппарат, хотя разговор был окончен, и сидел в холодном коридоре, устремив перед собой невидящий взгляд. Его поразила деловая простота приглашения к Ленину. Столько лет он жаждал этой встречи, не веря в ее возможность. И вот сегодня вечером — сегодня! — он должен без опоздания явиться в Кремль, к Ленину. Если бы ему сказали, что прежде необходимо выдержать какие-то тяжелейшие испытания, он был бы менее поражен. Он забыл в этот момент, что уже пришлось испытать на пути к этому вечеру: сражения с полицией, аресты, тюрьмы, карцер и допросы в румынской контрразведке, мучительные споры с самим собой,— и думал о том, как фантастична в

своей деловой простоте фраза: «Прошу не опаздывать, время у Владимира Ильича строго распределено».

— Вы кого-нибудь ждете? — спросил дежурный в стеганой телогрейке и ушанке.

Георгий медленно пошел к себе. Воображение с поразительной отчетливостью рисовало, как он вечером придет в Кремль. И как увидит Ленина. Он знал, какой Ленин. Долго и неотступно в течение многих лет ловил он и в газетных статьях о Ленине, и в рассказах болгар, видавших Ленина в Швейцарии и Германии и даже раздобывших ему болгарский паспорт, и в речах и статьях самого Ленина глубину его мысли, особенности, черты его характера.

В своей комнате Георгий присел к столу, все еще под впечатлением нахлынувших на него воспоминаний, и раскрыл тетрадь, чтобы записать то, о чем следовало говорить с Лениным. Мысль его никак не могла сосредоточиться, и в памяти возникло одно событие тех лет, когда он начал искать духовной близости с Лениным.

Кооперативное издательство «Освобождение» подготовило к изданию письма Ленина к американским и европейским рабочим. Георгия просили написать предисловие к брошюре. Со странным беспокойством принялся он вчитываться в ленинские работы — не найдет ли он там осуждения каких-то своих заблуждений?

Он не нашел осуждения. Он нашел поддержку и одобрение. Картина вопящего, грохочущего зала Народного собрания, каким он был во время сражения с Мушановым, Джидровым, Ляпчевым, возникла в его воображении, когда он читал о том, как Ленин оценивал буржуазную демократию и парламентаризм. «Мы поступаем правильно,— говорил тогда

себе Георгий,— нас никак нельзя обвинить в том, что мы забыли свои партийные обязанности в парламенте». Над предисловием к ленинской брошюре работалось быстро и легко.

Георгий сидел за столом, все еще не написав ни строчки. Задумчивый, нерешительный голос слившихся воедино струн возник в сознании — симфония Бетховена, та самая симфония, которую, по слухам, так любил Ленин... Музыка ширилась, дробила стены, раздвигала границы мира...

III

Вечером вместе с русским товарищем Георгий прошел через ворота Кремля, охранявшиеся красноармейцами, на внутреннюю, продуваемую холодным ветром кремлевскую площадь, и вскоре оказался перед зданием, в котором работал Ленин.

Раскрасневшийся от мороза, немного неуклюжий в незнакомой обстановке, бородатый, входил Димитров в приемную Ленина. Он молча поклонился невысокой секретарше, бросившей на него любопытный взгляд, молча выслушал ее просьбу немного подождать и все так же молча опустился на жесткий диванчик у стены, напротив черного окна. Диванчик скрипнул под тяжестью его крупного тела, и он виновато потер щеку и искоса глянул на женщину. Но она разбирала бумаги и не обращала на него внимания.

Дверь кабинета Ленина растворилась, оттуда стремительной походкой вышел худощавый человек, лицо которого Георгий где-то видел. Секретарша тотчас скрылась в кабинете. Все в Георгии напряглось: сейчас!

Он готовился встать навстречу женщине, как только она выйдет из кабинета, чтобы, не теряя ни секунды, войти к Ленину. Но дверь распахнулась, и в приемную вместо секретарши вышел невысокий, крепко сбитый человек с большим лбом и полными жизни, оживленно светившимися, внимательными глазами. Дверь кабинета осталась распахнутой настежь. «Ленин»,— мелькнула мысль. Георгий поспешно встал, не зная, как ему быть,— к нему ли вышел Ленин, и можно ли рассчитывать на его внимание здесь, в приемной.

Ленин окинул Георгия острым, внимательным взглядом с головы до ног и, быстрой походкой приблизившись к нему, с силой пожал его руку.

— Здравствуйте, товарищ Димитров,— мягко сказал он.— Прошу, проходите, пожалуйста! — И так как Георгий в нерешительности топтался у двери, собираясь пропустить Ленина, Владимир Ильич настойчиво, деловито и в то же время мягко повторил: — Пожалуйста, проходите!

Он пропустил Георгия вперед и, пройдя вслед за ним и прикрыв дверь, быстрой, энергичной походкой подошел к столу и пригласил Георгия сесть напротив. С этого момента Георгий уже не видел ни кабинета, ни обстановки в нем — все в его душе заполнил этот невысокий крепкий человек, глаза которого жили ясной, светлой мыслью.

— Вот вы какой! — сказал Ленин, прищурившись, со вниманием оглядывая бородатое, разгоряченное лицо Георгия.— Я слышал о вас, о ваших энергичных выступлениях в парламенте,— когда Ленин произносил слово «энергичных», мягко выговаривая «р», глаза его засветились еще теплее и еще лукавей.— Да, признаюсь, не представлял вас этаким богатырем.— Он негромко засмеялся, вздрагивая всем

телом.— Коларов производит иное впечатление... Хотя, впрочем, также весьма благоприятное. Рабочему лидеру архиважна реально ощутимая сила, с которой гармонирует духовная цельность и страсть борца, вышедшего из народа.

Все это Ленин проговорил быстро, с тем же мягким «р», которое здесь попадалось почти в каждом слове и придавало его речи особый, непередаваемый оттенок непосредственности и человеческой простоты.

Георгий торопливо, ощущая, как еще более теплеет его лицо, сказал:

— Я хочу передать вам, Владимир Ильич, горячие поздравления от нашей партии и от трудящихся нашей страны.

Ленин пожал руку Георгию.

— Знаю, ваш народ хороший, храбрый народ,— сказал он с такой сердечностью, что Георгий сразу почувствовал себя спокойнее.— Ленин прищурился и уже с каким-то иным выражением посмотрел на Георгия.— Каково сейчас политическое положение в Болгарии? — спрашивал он.— Какие партии пользуются наибольшим авторитетом? — Опершись обоими локтями о край стола, Ленин подался к Георгию и пристально, с открытым интересом, смешанным с любопытством, смотрел на него. Это был уже другой Ленин, весь устремленный к одной важной для него цели и ждущий от Георгия чего-то нужного для себя.— Что вы скажете, Георгий Михайлович,— так, кажется, вас по батюшке, хотя у болгар и не принято отчество?

Почему-то именно в этот момент Георгий подумал, что Ленин оказался и совершенно таким, каким он, Георгий, представлял его, и в то же время совершенно иным, каким никогда вообразить его было нельзя. Ожидание откровения, с каким смотрел

Ленин на Георгия, нельзя было представить себе, не увидев Ленина, и это не совпадало с тем обликом воображаемого человека, с которым Георгий свыкся и жил многие годы.

Но едва Георгий попытался вернуться к «тому» человеку, чтобы сравнить с реальным, сидевшим перед ним, он уже не смог этого сделать и понял, что отныне в его воображении будет жить только один — вот этот живой, реальный, ставший родным Ленин. Осознав это, он внутренне успокоился и, подчиняя свою мысль такой же строгой логике, с какой говорил Ленин, стал рассказывать о Болгарской коммунистической партии, буржуазных партиях, Земледельческом союзе и Стамболийском... Иной раз Георгий не мог дать точного, исчерпывающего ответа, какого ждал Ленин, и тогда говорил, что об этом будет доложено специально, полнее, чем он в состоянии ответить сейчас.

Ленина интересовали особенности политической ситуации в Болгарии, роль монархии, характер иностранного влияния, размеры иностранного капитала, взаимоотношения Болгарии с другими Балканскими государствами. Отвечая на множество вопросов, Георгий невольно вспоминал то, что было с ним самим, то, что он видел и испытал. В его воображении возникали захлестнутые толпами рабочих улицы Софии, искаженные гневом лица рабочих, идущих на ряды полицейских. Он видел ослепительно белые хлопья пены, срывающиеся с губ лошади, верхом на которой сидел офицер и которую он, Георгий, всей силой своей сдерживал за узду, и бешеное лиловое сверкание ее глаз... На какое-то мгновение он позабыл, где находится. Плечи его отвердели, мускулы напряглись, рука непроизвольным движением смяла лист бумаги с заметками, лежащими перед ним на столике. Треск

ломавшегося бумажного листа вернул его к действительности. Он глубоко вздохнул и, откинувшись на спинку кресла, стал расправлять острые лучи складок на бумаге.

Ленин молча внимательно смотрел на Димитрова.

— Н-да! — произнес Ленин, глядя, как Георгий расправляет смятый лист.— Понимаю. Такое не забывается.— Ленин посмотрел в темный полированный гранит ночных оконных стекол и медленно заговорил: — В будущем — том будущем, о котором, помните, говорил Чернышевский, люди смогут каждый день слушать музыку Бетховена, и заметьте, батенька, совсем не так, как слушал ее умнейший архиреакционер Бисмарк, и наслаждаться стихами, и быть добрыми, милыми людьми. Но каждый раз, когда мне хочется еще раз послушать «Аппассионату» или Девятую симфонию, я спрашиваю себя: имею ли право быть добреньким и отдаваться наслаждению искусством,— Ленин повысил голос,— когда нам не дают жить и сжимают нам горло? Быть добреньким в наше время нельзя. Мы поставлены перед необходимостью на террор отвечать террором, на жестокость — жестокостью. Иначе мы не выстоим, шлюзы будут взорваны и жестокость хлынет в миллион, в триллион раз больше. В этом наш гуманизм. И другого, добренького, лицемерного гуманизма для пролетариата, для крестьянства быть не может. Другой гуманизм — не добро, а зло, обман, ложь, преступление перед человеческой совестью.

IV

Георгия поразило внутреннее напряжение, охватившее Ленина. Показалось, что Ленин заговорил о том, что, может быть, долго не давало ему покоя и

мучило его — об отвергнутых сомнениях своих — и о том, что́ он в конце концов обрел и к чему пришел.

— Да,— сказал Георгий,— другого пути и для нас не может быть, мы должны ответить насилием на насилие.

— Подождите! — Ленин резко встал, почти вскочил со своего места.— Будьте осторожны, товарищи, не увлекайтесь,— быстро заговорил он.— Вы можете наделать ошибок. Непоправимых ошибок! — повторил он, вышел из-за стола и остановился посреди комнаты перед Георгием, заложив пальцы за жилет.— Враги обвиняют нас в жестокости. Это клевета на революцию. Мы против неоправданной жестокости по отношению к врагам. А каждая капля крови, пролитая рабочими и крестьянами, для нас бесконечно дорога.

Ленин опустился в свое кресло за письменным столом. Георгий с напрягшимся лицом, сведя густые брови, смотрел на него.

— Советую вам,— после паузы заговорил Ленин,— сосредоточить свое главное внимание на укреплении коммунистической партии, как авангарда рабочего класса, и заняться серьезнейшим образом организацией самого рабочего класса, тем более что он еще сравнительно слаб...— у вас почти нет еще потомственных рабочих...

Ленин заговорил о том, что он советует создавать союз рабочих и крестьян, прежде всего бедноты и середняков, расширять влияние коммунистических идей в армии, среди солдат, подготавливать кадры партии.

Он наклонился к Георгию и, приподняв руку, словно прося внимания, быстро продолжал:

— Прежде чем произошла революция в России, мы пятнадцать лет — с девятьсот третьего по девять-

сот семнадцатый год — вели борьбу с меньшевизмом. За это время мы подготовили кадры партии, теснее связались с рабочим классом и крестьянством. Это были пятнадцать лет напряженной подготовки кадров партии. Но и до сих пор у нас есть «горячие головы»...

Ленин сказал, что если западноевропейские товарищи воображают, что застрахованы от подобных случаев, то это такое детство, с которым надо вести беспощадную борьбу.

— Спасибо за советы, Владимир Ильич,— сказал Георгий,— они очень пригодятся нам.

Ленин устало потер лоб.

— Мы переживаем сейчас очень большие трудности и в связи с этим обсуждаем сейчас вопрос о введении продовольственного налога вместо продразверстки, использование рынка, товарооборота и денежного хозяйства. Мы не можем помочь вам «революционной войной», о которой безответственно толкуют те самые наши товарищи с «горячими головами». Есть другой, вообще более верный путь на многие десятилетия вперед для выполнения нашего интернационального долга перед революционным пролетариатом и крестьянством Болгарии, так же, впрочем, как и любой другой страны. Мы должны показать практически, на примере значение коммунизма. Наша хозяйственная политика приобретает сейчас интернациональное значение. Еще и поэтому мы обязаны выстоять. И мы выстоим...

Георгий мельком глянул на свои часы и ужаснулся: он просидел у Ленина почти полтора часа. Он встал, шумно двинув креслом.

— Я отнял у вас слишком много времени, Владимир Ильич...

Ленин также поднялся.

— Мы с вами хорошо поговорили, Георгий Михайлович. Я рад нашей встрече и должен вас поблагодарить, для меня она была чрезвычайно полезной.— Ленин подошел к Георгию и, заглядывая в его глаза, возвращаясь к тому, о чем они только что говорили, продолжал: — Реальным политикам надо исходить прежде всего из анализа неоспоримых фактов, реальной обстановки.— Ленин быстро прошел к двери и открыл ее, пропуская Георгия и выходя в приемную вслед за ним.

Георгий взглянул в оживленное доброе лицо Ленина и, протягивая руку, поклонился.

— Будьте здоровы,— сказал Ленин, обеими руками сжимая руку Георгия.— Искренне рад знакомству с вами, товарищ Димитров. Желаю вашей партии и вам лично самых лучших успехов. Мы не сомневаемся, что ваша партия и болгарский народ — верные друзья нашей Советской социалистической республики. Мы переживаем сейчас очень большие трудности... но, повторяю, мы глубоко убеждены, что наша партия и Советская власть успешно справятся со всеми этими трудностями. До свидания!

Ленин быстро кивнул и твердой походкой направился в свой кабинет. Георгий смотрел вслед Ленину и по его походке, по чуть-чуть склоненной к плечу голове угадывал полный сосредоточенности взгляд и понимал, что мысль Ленина занята уже не им, Георгием, а каким-то новым, может быть, и связанным с их разговором, а может быть, и совсем далеким от него, важным и неотложным делом.

Не замечая ничего и никого, позабыв попрощаться со строгой секретаршей, Георгий вышел в коридор.

Женщина теплым взглядом проводила его. Он уходил в таком же состоянии, как и многие другие,

впервые говорившие с Лениным. Она никогда не обижалась на невнимательность таких посетителей, она знала, что люди долго будут мысленно, в душе разговаривать с Лениным и ощущать его присутствие рядом с собой.

Через несколько дней, выполняя просьбу Ленина, Георгий передал для него болгаро-французский словарь, написав на первой страничке убористым почерком: «Нашему любимому учителю и незаменимому вождю всемирной пролетарской революции — тов. Ленину. От Центрального Комитета Болгарской коммунистической партии. За ЦК: Георгий Димитров. Москва, 5 марта 1921 г.»

Встреча с Лениным наполнила жизнь Георгия в Советской России особым, всюду проникающим светом. С кем бы он потом ни говорил, куда бы ни приезжал в Москве, что бы ни видел — холод и голод, разруху или энтузиазм рабочих, трудившихся в нетопленных заводских помещениях,— он распознавал не только внешнюю оболочку, но и, как ему казалось, тот скрытый, внутренний смысл, которого он, наверное, и не сумел бы понять, если бы не знал полного напряженной мысли взгляда Ленина и не слышал его слов: «Мы обязаны выстоять!»

Георгию рассказывали, что в одну из ночей девятнадцатого года заседание правительства было прервано потому, что догорела последняя свеча. Принесли керосиновую лампу и повесили на стене. Заседание возобновилось при свете коптившего огонька. Через час и лампа стала гаснуть. Ленин попросил вызвать коменданта Кремля. Вошел комендант, доложил: «Света больше не будет. В Кремле нет ни капли керосина». Вот так — почти без всего, силой своего духа, силой нечеловеческой страсти большевики выстояли в тот тяжелейший год. И Георгий думал:

«Для этого надо совершенно отдаться борьбе. Совершенно».

Это было время, когда Георгий узнал и полюбил Советскую Россию. Любовь к стране, первой завоевавшей свободу, к народам, ее населяющим, Георгий Димитров сохранил в сердце до конца своих дней.

Георгию пришлось прожить в Советской России многие месяцы, и странное, волнующее ощущение проникновения в глубину вещей не покидало его все это время. Оно сопутствовало Георгию и в мае, во время заседаний Всероссийского съезда профсоюзов, и в июне, и в июле, когда проходили заседания III конгресса Коминтерна, в работе которого он принимал участие, и когда он опять видел и слушал Ленина. С этим же чувством он встречался с деятелями коммунистических партий Франции, Германии, Италии, Америки, Румынии, Китая и еще многих стран — людьми чести и долга, с которыми дружил потом всю свою жизнь, преклоняясь перед их умом, чистотой и мужеством.

На родину Георгий возвращался глубокой осенью двадцать первого года. И когда он, преодолев множество препятствий в нелегальном своем путешествии, оказался рядом с Болгарией, правительство Стамболийского отказалось пропустить его через границу. Гнев и горечь охватили Георгия. Но у порога родины ничто уже не могло остановить его. Ему ведь тоже не занимать стать упорства и настойчивости. Он пересек югославско-болгарскую границу и открыто явился в Софию.

Георгий ворвался в дом на Ополченской и заключил Любу в свои сильные объятия. Он знал, что счастье их встречи продлится недолго, но не тревожил ни Любу, ни других домашних своими опасениями. Он был полон почти детской радости.

Утром его арестовали. В полиции, как и всегда, Георгий требовал немедленного освобождения и призывал полицейских чиновников изучать конституцию. Через сутки дирекция полиции, потеряв уверенность, под стражей доставила нарушителя границы и беспокойного депутата парламента в Народное собрание. Здесь он и был освобожден.

А на следующий день Георгий был уже на многотысячном рабочем собрании в театре «Ренессанс». Его встречали овацией, приветствиями. Выполняя решение III конгресса Коминтерна, проект которого был составлен Лениным. Георгий выступал с речью о едином фронте против буржуазии. Он был снова полон надежд, хотя и знал, что стоит на пороге новых испытаний. Он догадывался в тот вечер, в театре «Ренессанс», как неимоверно трудно будет сделать то, о чем он с такой уверенностью говорил. Он начинал понимать, что взгляд на единство, высказанный Лениным, требует отказа от груза прошлых представлений и ошибок и что именно это и есть самое трудное...

Сложность перехода к новым представлениям о единстве стала мне особенно ясна после того, когда я прочел следующие слова Георгия Димитрова, сказанные им на V съезде Болгарской коммунистической партии двадцать шесть лет спустя:

«Тесный социализм возводил ряд марксистских положений в догму, в результате чего партия впадала в сектантство, что затрудняло ее связь с широкими массами трудящихся. Так, например, проводя линию непримиримой борьбы с буржуазией как классом, правильно выступая против практики заключения избирательных коалиций с буржуазными пар-

тиями без всякого разбора и против «созидательной» законодательной работы в буржуазном парламенте, партия превратила принцип самостоятельного действия в догму, начисто отвергала всякие соглашения с другими общественными и политическими группировками при любых условиях и, таким образом, фактически сама себя изолировала. Нашей партии было чуждо ленинское учение о революционных компромиссах, без которых ни одна революционная партия не может успешно бороться и идти вперед».

Когда вдумываешься в эти слова, понимаешь, как важен был поворот в партии к идеям единства, разработанным Лениным и нашедшим свое отражение в решениях III конгресса Коминтерна в 1921 году, и в решениях IV съезда Болгарской компартии в 1922 году...

Надо было искать единства действий с другими партиями, не теряя революционной перспективы.

Ранней весной 1922 года по решению ЦК в Софии был созван митинг пролетариата в защиту Советской России, против покровительства врангелевским войскам в Болгарии. Когда Георгий вышел на трибуну и увидел обращенные к нему разгоряченные лица, как бывало уже много раз в прошлом, он почувствовал не просто силу единения людей; что-то идущее из глубин человеческих душ охватило всех. Мгновенная мысль о том, что всеми сейчас владеет ощущение братства с Советской Россией, которую они пришли защищать, пронизала его сознание. Готовясь начать речь, он уже не мог, как бывало прежде, раствориться, потонуть в общем душевном подъеме. Он стал зрелым бойцом и знал, что в эти решающие секунды перед началом речи надо уметь сдержать свои чув-

ства и отдать все силы души тому, чтобы логика еще прежде найденной мысли овладела всеми, и слова, которые он собирался сказать, были выверены в последний раз и, если они не те, которых ждут именно сейчас, надо найти другие — единственные, без которых нельзя обойтись.

Он начал говорить о том, что Красная Армия разгромила генералов-белогвардейцев, наемников Антанты, что один из них — Врангель, позорно бежал на кораблях Антанты в Константинополь, а затем нашел приют у болгарского правительства.

— Наше правительство,— воскликнул Георгий,— расходует миллионы на эту армию. В то время когда в Поволжье голодает двадцать миллионов русских крестьян, врангелевский штаб закупает болгарское продовольствие, чтобы вести войну против голодающих в России..

Ему отвечали возмущенные возгласы: «Позор!», «Вон Врангеля!» Он стал говорить о предательской роли болгарских банкиров и буржуазии.

— Они хотят использовать врангелевскую армию и против болгарского большевизма,— говорил Георгий.

— Позор! — вновь крикнули из толпы.

— Они готовятся совершить государственный переворот, провозгласить военную диктатуру...

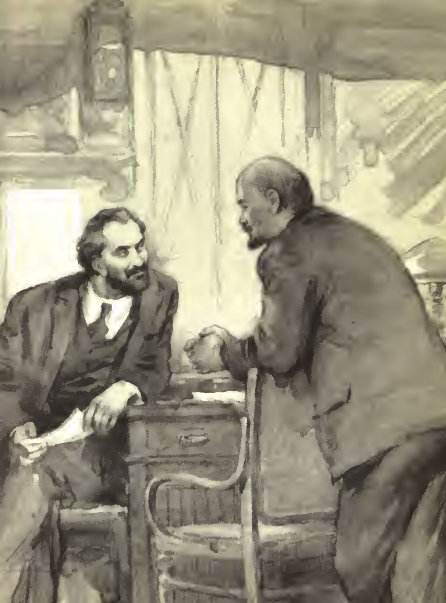
Потом уже, после митинга, он спросил себя, в чем корни чувства братства с русскими, так ярко проявившиеся на митинге? Русская армия освободила когда-то Болгарию от пятивекового османского ига, и это оставило неизгладимый след в душе народа. Революционные русские демократы по духу своему были сродни участникам национально-освободительных и демократических движений в болгарском народе. Благодаря Деду и Мастеру и многим болгарским

марксистам рабочее движение в Болгарии развивалось в тесной связи с борьбой русских пролетариев. Потом — интернационалистская позиция партии по вопросам войны и мира, поддержка большевиков на знаменитой Циммервальдской конференции, антивоенная деятельность партии... Владайское восстание солдат под влиянием бури в России — разгромленное, но укрепившее революционные настроения в народе...

Потому-то сердца людей и оказались открыты идеям Великой Октябрьской революции, потому-то и начался сбор средств голодающим русским Поволжья, и корабли с зерном отправлялись в Россию из Варны и Бургаса, хотя сами болгарские рабочие и крестьяне голодали... Да, велика сила братства с русскими!

Но в эти дни проявилась и еще одна великая сила. Борьба против попытки реакционного переворота при участии врангелевцев привела к установлению организационного взаимодействия с Болгарским земледельческим союзом. Впервые в истории Компартия Болгарии сумела преодолеть старые традиции, мешавшие воплощению в реальные дела идее единства. Правительство Стамболийского согласилось на проведение митингов и демонстраций коммунистов. Сами вооруженные рабочие вели охрану. С таким же единодушием компартия поддержала земледельцев во время разгона сборища реакционеров в Тырново.

Еще большего — и на этот раз политического — единства действий удалось достигнуть в ноябре того же года в связи с требованием партии привлечь к суду виновников войны, получившим поддержку широких масс болгарского народа. После тырновских событий правительство Стамболийского решило провести по этому вопросу всенародное голосование: белыми бюллетенями — за суд над виновниками войны,



черными — против. Коммунистическая партия призвала своих сторонников голосовать вместе с земледельцами белыми бюллетенями. За суд проголосовало около миллиона человек, против — едва двести тысяч.

Это был первый в истории Болгарской компартии политический союз с другой партией, большая победа тактики единого фронта трудящихся. Но в начале 1923 года руководители Земледельческого союза, решив, что реакционной буржуазии нанесен тяжкий удар, начали массовые аресты коммунистов, чтобы ослабить политические позиции второй по величине партии. Компартия, к сожалению, ответила на эту провокацию борьбой против земледельцев. Единый фронт перестал существовать.

V

Как-то ранним утром в начале лета двадцать третьего года Георгий проснулся с ощущением глухой тревоги. Он лежал в постели, все еще не сознавая того, что его разбудили далекие, ожесточенно долбившие, казалось, в одну точку выстрелы. Люба была уже на ногах.

— На улице патрули...— почему-то тихо сказала она.

Только теперь Георгий вдруг осознал, что его разбудили выстрелы. Сильным рывком он вскочил с постели.

— Переворот? — сказал Георгий, вопросительно посмотрев на Любу. Он сжал кулаки и в ярости взмахнул рукой.— Как мы умудрились проглядеть? Надо в редакцию!

Георгий наскоро поел и, поцеловав Любу, выскочил из ворот на затаившуюся, безлюдную улицу.

Не успела Люба справиться с охватившим ее волнением, как вдруг раздался дребезжащий стук в окно. Какое-то мгновение Люба колебалась, потом, решившись, распахнула занавески. На улице, сжимая в руке светлую шляпу, стоял писатель Кюлявков.

Он помахал ей шляпой.

— Я воспользовался своими связями среди военных из телеграфной роты, которая патрулирует квартал. Георгий здесь?

— Не знаю точно, где он сейчас. Поищите в редакции.

— В редакции? — воскликнул Кюлявков.— Это невероятно! Его могут схватить...— он осекся и нахмурился.

— Что случилось в городе? — спросила Люба.

— Государственный переворот,— ответил Кюлявков.— Правительство Стамболийского больше не существует.— И, помедлив, добавил: — Это террор!..

Он не увидел в лице Любы ни растерянности, ни страха. Она была лишь немного бледнее обычного.

— Идите,— властно сказала Люба.— Если у вас дело к нему, нельзя медлить.

А сама быстро поднялась к себе и, присев у полки с книгами, достала из потайного места револьвер — тот самый, что мать когда-то прятала в кармане своей шерстяной юбки. Георгий так и не взял его тогда, он не умел как следует стрелять.

Георгия она увидела на втором этаже в издательстве «Освобождение» за столом, без пиджака. Он что-то писал.

Увидев Любу, продолжая писать, он сказал:

— Я ведь просил тебя...

Люба стояла у двери, прислонившись к ней спиной и тяжело дыша. Он поднял глаза, оставил перо, шумно отодвинул кресло и подошел к ней.

— Уходи,— мягко сказал Георгий,— тебе незачем здесь быть. У тебя так хорошо наладилось со здоровьем...

— Сейчас это не имеет значения,— сказала Люба.

— Ты уже знаешь о перевороте?

Она утвердительно качнула головой.

— Воззвание Цека,— сказал Георгий, глазами указывая на стол с бумагами, за которым только что писал.

— Дописывай. Я послежу за улицей.

Люба вынула из сумочки револьвер и встала за шторой у открытого окна. Георгий, нахмурившись, следил за ней.

— Ты умеешь обращаться с оружием?

— Меня научили в Сербии. Эти звери не должны помешать тебе. Садись и кончай воззвание, я никуда не уйду.

Он еще раз глянул на нее и снова сел за стол.

Вскоре пришел Кюлявков.

— О, вы уже здесь! — воскликнул он, увидев Любу у окна и с недоверием поглядывая на оружие в ее руке.— Улицы стали ловушками. Сегодня я не мог оставаться дома со своими рукописями,— заговорил Кюлявков.— Я проник к ючбунаровскому клубу на улице Царь Симеон. Там у дверей стоял наш Вылчо Иванов. Представьте, совершенно спокойный. Это все-таки поразительно! Он даже улыбнулся мне и сказал: «Прошу тебя найди товарищей из Цека и передай им, что мы, коньовинцы и ючбунарцы[1], готовы».

Георгий слушал, устремив на него свой пристальный, полный внимания, горячий взгляд.

[1] Жители бедных кварталов Софии.

— Вернись к нему и скажи,— быстро заговорил Георгий,— пусть будут готовы и ждут указания Цека.

Когда поодиночке собирались члены ЦК, Люба, не слушая уговоров Георгия, оставалась с ним. Она ждала, что каждую минуту ворвутся офицеры или полицейские и начнется жестокая расправа. Она решилась на все, готова была защищаться вместе с Георгием и другими товарищами. Она не могла понять, почему враг медлит. В городе убивали из-за угла, полиция зверствовала, но массовых арестов коммунистов не было.

После двухчасового заседания все члены ЦК подписали воззвание. В нем Центральный Комитет предложил не вмешиваться в борьбу «городской буржуазии против деревенской буржуазии» и выжидать наготове. Ни ючбунарцы, ни коньовинцы, ни коммунисты в других городах и селах Болгарии не получили того, чего ждали: указания ЦК о сопротивлении насилию и кровопролитию в союзе с крестьянской партией Стамболийского...

Изучая события 9 июня, я спрашивал себя: как мог с такой быстротой и неотвратимостью произойти реакционный переворот, кто стоял за ним?

Георгий Димитров ответил на этот вопрос через несколько месяцев после трагических событий, глубокой осенью 1923 года. В своей работе «Кто управляет Болгарией?» он писал, уже будучи в эмиграции, о том, что правительство Цанкова, пришедшее к власти в результате событий 9 июня, представляет собой лишь внешнюю завесу, за которой скрывается другое фактическое правительство — «конвент десяти» — нечто вроде боевого органа крупного капитала. Этот

«конвент» связан с крупными банками и экспортными фирмами. Они-то в глубокой тайне и финансировали подготовку и проведение переворота 9 июня. В обстановке разобщенности компартии и крестьянской партии Стамболийского реакционерам удалось совершить замышляемое...

Вскоре стало известно, что Стамболийский убит. Весть эта потрясла Георгия. Многое в характере Стамболийского стало открываться как бы заново. Георгий ловил всякие свидетельства о последних днях Стамболийского, и постепенно картина трагедии возникла перед ним во всех подробностях.

В начале лета, после победы на выборах в парламент, Стамболийский уехал отдыхать в свое родное село Славовицу. А спустя несколько дней к нему неожиданно приехал с визитом царь Борис, сын изгнанного из Болгарии Фердинанда.

За столом царь сказал, поднимая бокал с вином:

— Ваше здоровье, господин министр-председатель! За светлый ум, за неоценимую государственную голову моего лучшего друга!

Рассказывали, что после завтрака, выполняя желание царя, Стамболийский показал ему свою виллу. Царь заявил, что ему хочется увидеть радиостанцию, смонтированную в одной из комнат особняка. Понятное любопытство: техническая новинка возбуждала у людей благоговейное преклонение перед человеческим гением. Адъютант царя, молодой молчаливый офицер, быстро и со знанием дела осмотрел приборы и аппараты.

— Господин министр-председатель,— сказал он,— радиостанция выйдет из строя, если не провести немедленного ремонта.

К вечеру демонтаж приборов был закончен. Адъютант отбыл из виллы, увозя с собой детали радиостанции с поспешностью, которую можно было объяснить лишь его исполнительностью.

Уехал вскоре и царь. Стамболийский продолжал спокойно отдыхать. Через несколько дней, перед обедом 9 июня, спокойствие в вилле было внезапно нарушено. Верные люди донесли министру-председателю, что к Славовице приближается вооруженный отряд.

Георгий знал: ничто не ранит человеческое сердце так, как раскрытое коварство. Но и ничто не побуждает к действию с такой силой, как жажда наказать предательство.

Стамболийский собрал крестьян окружающих деревень, вступил в сражение с противником. На совещании руководителей отрядов Стамболийский, успевший многое переоценить, смело и открыто признался: отсутствие связи с компартией было его роковой ошибкой.

Запоздалое признание!

Год назад секретарь ЦК компартии Коларов пришел к министру Райко Даскалову, другу Стамболийского, и предупредил о готовящемся реакционном перевороте. Коларов от имени ЦК предлагал вооружить рабочих. «Будьте спокойны,— отвечал Райко Даскалов,— за пятнадцать минут до переворота мы вооружим вас. Если, конечно, произойдет переворот...» Коларов возразил: «Господин министр, я сомневаюсь, сможете ли вы получить в свое распоряжение эти пятнадцать минут». Военный министр ответил: «Будьте уверены, власть на своем посту». И вот теперь...

Отряд Стамболийского отступил. Стамболийский, стремясь избежать кровопролития, распустил кре-

стьян по домам. Он все еще верил в силу парламентских выборов. Лишившись радиостанции, он не знал, что в ночь на 9 июня министров его правительства арестовали, и власть силой оружия захватил реакционный «конституционалистский блок», в который вошли представители всех буржуазных партий.

Во главе переворота втайне от всех, даже за спиной буржуазных партий, стоял «конвент десяти» — генерал Русев, генерал Вылков, адъютант царя и еще несколько могущественных контрреволюционеров, связанных с крупными экспортерами.

Стамболийский бежал в горы. Вечером в темноте он спустился в селение Голак. Бедный крестьянин, в дом которого постучался бывший министр-председатель, накормил его и приютил на ночь. Утром в пути он был узнан жителем деревни Ветрен и схвачен. Это произошло по соседству с местами, где Стамболийский в молодости поклялся отдать жизнь за крестьянское счастье, среди тех людей, которые почти боготворили его, избрали в парламент, но оказались бессильными в борьбе с реакционной (по сути фашистской) буржуазией.

Стамболийского втолкнули в автомобиль и отвезли в родное поместье. Здесь его передали в руки изверга капитана Харлакова. Когда свергнутого министра-председателя вели к его вилле со связанными за спиной руками, один из конвоиров, македонский головорез, националист, прыгнул на его сильные плечи. Стамболийский покачнулся, но не упал, продолжал идти. Потерявший человеческий облик палач, сидя верхом на Стамболийском, выхватил нож и с дикими криками стал наносить удары в спину и плечи жертвы.

В ночь на 15 июня Александра Стамболийского и его брата Васила убили. Голову Александра по

царскому приказу отсекли и доставили в Софию царю, а изуродованное тело бросили в реку Марицу.

...Георгий вспоминал свои встречи со Стамболийским. С какой беспощадностью жизнь отомстила человеку, не пожелавшему считаться с ее законами. Трагическая гибель крестьянского вождя вновь и вновь заставляла Георгия искать союзников в неимоверно тяжелой борьбе...

Листаю первый том избранных произведений Георгия Димитрова, ищу работы, написанные вслед за убийством Стамболийского. Поразительно! Шесть статей о едином фронте, опубликованные 22, 23, 24, 27 августа, 1 и 7 сентября.

И во всех этих статьях осени двадцать третьего года Георгий Димитров предвосхищает тот поворот в политике Коминтерна, который произошел на VII конгрессе, спустя двенадцать лет, в 1935 году: он отстаивает идею единства всех демократических партий в борьбе с фашизмом, без отказа партий от своих политических платформ и конечных целей.

Казалось бы, обнаженная политика. А вместе с тем в этих статьях — весь Димитров, все его помыслы, вся сила его ума и сердца, вся его душа. Передо мной встает жизнь моего героя, я вспоминаю его многолетние политические и человеческие искания, с новой силой ощущаю любовь его к двум женщинам — жене и матери, их выстраданную и мудрую любовь к нему, вижу его схватки в Народном собрании, вновь и вновь думаю о его неустрашимости и непреоборимой устремленности к цели... И невольно мне вспоминаются слова Лермонтова: «История души человеческой... едва ли не интереснее и полезнее истории целого народа».

«История души человеческой» — это, по мысли Лермонтова, история целого поколения. И если говорить о Димитрове, об «истории его души» — это история того поколения, которое грудью встретило наступление фашизма и отбило первую атаку. Будут новые бои, и жизнь напишет историю уже иной души, иного поколения...

Да, может быть, наиболее сложной и драматичной страницей «истории души человеческой» были эти статьи Димитрова — статьи августа и сентября 1923 года...

VI

Никогда еще Люба не была так возбуждена, как в теплые дни и ночи разгоравшегося лета. Она постоянно ждала чего-то, но это «что-то» не приходило, и оттого напряжение ожидания с каждым днем возрастало. Ночами стреляли. Не раз Люба, просыпаясь, тревожно прислушивалась к шорохам за окном, ловила ровное дыхание спящего Георгия, не зная, будить ли его. Ей чудилось, что кто-то лезет через стену во дворик. Но никто не ломился в дверь, и она вскоре забывалась в чутком неспокойном сне. Как ни странно, болезнь ее в эти дни отступила. Казалось, что остаток душевных сил ее, до времени таившихся, где-то глубоко занялся ярким пламенем, и ничто уже не в силах было погасить этой, быть может, последней вспышки.

Из Москвы от генерального секретаря Коминтерна Коларова пришла телеграмма, не одобрявшая позиции выжидания и невмешательства, занятой партией. Телеграмма вызвала споры.

Однажды Георгий вернулся особенно возбужденным.

— Что случилось? — спросила Люба.

— Коларов приплыл нелегально на моторной лодке из Одессы в Варну и был арестован.— Георгий резко повернулся к ней.— Надо ехать туда, как-то встретиться с ним.

— Да, надо ехать,— сказала Люба,— но одного тебя не отпущу.

Георгий остановился перед ней. Она сидела на диванчике, пряменькая, неподвижная, как деревянная куколка.

— Нужно ли тебе рисковать? — спросил Георгий.

— Я поеду, ты же знаешь,— сказала Люба.

Георгий подошел к диванчику и сел на его край. Просто, доверчиво сказал:

— Я перестал понимать самого себя. И мне кажется, не только я один...

Люба давно уже не видела его таким спокойным.

— Я тебе говорил,— продолжал Георгий,— помнишь, Ленин советовал остерегаться увлечений и действовать трезво, чтобы не наделать непоправимых ошибок. Я много раз повторял его слова: остерегаться увлечений, действовать трезво, подготовить партийные кадры, связаться с крестьянством... Ты знаешь, я не скрывал от партии ленинских советов и не имел права скрывать — Ленин тогда обращался не только ко мне. Он имел в виду планомерную подготовку к революционному кризису. Но теперь на нас напали. События опередили нас. В некоторых округах крестьяне поднялись с оружием в руках... Пойми меня, я сам голосовал за решение Цека и Партийного совета «ждать с ружьем у ноги», отстаивал его, и я выполняю это решение. Но я спрашиваю себя: почему

Коларов и Исполком Коминтерна считают наше решение ошибочным?

Он замолчал. Люба думала о том, что сказал Георгий, впервые поняв по-настоящему, как трудно ему сейчас.

— С Лениным нельзя посоветоваться? — спросила она.

— Нет,— ответил Георгий.— Ты ведь знаешь: он все еще тяжело болен.

Они опять замолчали. Любе мучительно хотелось помочь Георгию, и она не знала чем.

Георгий опять заговорил тихо, неторопливо, словно прислушиваясь к самому себе:

— Как-то поздно вечером, уже после 9 июня, возвращаясь из Народного дома, я шел с тройкой из партийной охраны. Молодые ребята, коммунисты. Я видел, что они готовы ринуться в бой сейчас же. Один из них, Кирилл, офицер запаса, прошел войну в пулеметной роте. Он бывший наш профсоюзный активист в союзе банковских работников. Я его давно знаю.— Георгий прищурился, представляя себе Кирилла: высокий, волосы расчесывает железной расческой...— Он усмехнулся доброй улыбкой.— Всегда рвет и мечет — огонь. Подходит ко мне — он шел сзади, смотрел, нет ли слежки,— подходит и говорит: «Вчера мы с товарищами возвращались рано утром от наших девушек, мимо Львова моста. А там — пулеметное гнездо. Против нас же готовятся. Я,— говорит Кирилл,— пулеметчик, прикинул: навалиться нам на них разом, и пулемет наш. Никого не подпустили бы... Мне двадцать восемь,— говорит,— во мне сил хоть отбавляй, а я должен отсиживаться в такое время. Мы, молодое поколение, не понимаем. Объясните!..» Объяснил. Сказал, что ожидается приезд Коларова, пока нужно вести себя осторожно. Слушает,

молчит, но по глазам вижу, не соглашается.— Георгий сгорбил плечи, покачал головой.— А если в самом деле, мы не в состоянии им объяснить? Если кто-то из молодых уйдет от нас какой-то своей дорогой? Сорвется, начнет подменять революционность мелкой местью, террором?..

Люба провела своими тонкими пальцами по горячей, волосатой руке Георгия.

— Не надо казнить себя,— сказала она.— Что бы ни случилось, надо жить дальше. Надо искать истину, Георгий.

— Да, работать! — Георгий встал и прошелся по кабинету спокойным шагом размышляющего человека.— Нужна встреча с Коларовым,— решительно сказал он,— надо в подробностях выяснить его точку зрения, все взвесить. Надо ехать в Варну, Люба.

— Надо, Георгий!

Через день Георгий и Люба были уже в Варне. Коларова держали под стражей в казармах местного гарнизона. Офицер запаса — коммунист устроил Георгию свидание с арестованным «братом». Все обошлось благополучно. После встречи с Коларовым Георгий успокоился.

— Надо исправлять ошибку,— сказал он Любе.— И как можно скорее, цанковцы рады, что мы не оказываем им сопротивления. Мы не можем ждать, когда и до нас доберутся.

Люба почувствовала облегчение, гнетущее чувство оставляло ее. Она знала, что теперь опять начнутся обыски, полицейские преследования, может быть, уличные бои. Но по крайней мере не будет страшного, выматывающего душу ожидания удара в спину. Теперь они поняли неизбежность борьбы и обрели ясность цели, и это несло успокоение.

 На обратном пути в Софию Георгия и Любу аре-

стовали, но после протестов партии через два дня освободили. Удалось вырваться из заточения и Коларову. В результате ожесточенных дискуссий на подпольных заседаниях ЦК решено было начать восстание в конце сентября. Пророчество Коларова о том, что и компартию собираются разгромить, сбывалось: разведка партии донесла, что правительство готовит в начале сентября массовые аресты коммунистов и разгром партийных учреждений.

И вот... Ночью Георгия и Любу разбудил требовательный стук в ворота. Они быстро оделись. Люба вышла в другую комнату и вернулась с револьвером.

— Они не войдут,— решительно сказала Люба.— Если пришел мой час, пусть будет так. Готовься уходить, Георгий, через соседние дворы, через забор. Виноградные листья скроют тебя... Им не удастся повторить то, что они сделали со Стамболийским.

В голосе ее слышалась властность.

— Моя смелая, Люба!..— промолвил он.

В ворота снова забарабанили кулаками и каблуками сапог. Люба вышла в кабинет и крикнула через форточку:

— Кто там?

Снаружи послышался грубоватый голос:

— Власти. Откройте!

— Приходите утром,— крикнула Люба. Голос ее звенел от напряжения.— Закон не позволяет тревожить людей среди ночи. Я не разрешу войти в мой дом.

Ворота заколебались от града ударов.

— Вы хотите, чтобы я стреляла? — крикнула Люба.

В голосе ее прозвучала такая решимость, что за воротами стало тихо. Люба стояла молча, сжимая револьвер. Георгий почему-то на цыпочках подошел к

ней и безмолвно обнял ее. Они вместе отошли от окна. Темная улица настороженно молчала.

Они уже не спали остаток ночи. Едва рассвело, Георгий скрылся.

По решению партии члены ЦК перешли на нелегальное положение. Георгий больше не ночевал дома.

VII

Двенадцатого сентября, за десять дней до установленного срока восстания, по всей стране начались массовые аресты коммунистов. Полиция захватила Народный дом у Ловова моста, крупнейшую в стране потребительскую кооперацию «Освобождение», типографию и все районные клубы партии. Голову Димитрова оценили в сто тысяч левов — об этом однажды утром появилось объявление в газетах.

Во дворик на Ополченской пришла Елена. Она ласково поздоровалась с матерью и, присев около нее под лозой, осведомилась как здоровье.

— Спасибо, чувствую себя хорошо,— сказала мать, зоркими старческими глазами вглядываясь в загорелое, похудевшее лицо девушки.— Вижу, ты пришла с делом. Не теряй со мной время, Люба у себя, иди наверх!

«Как она сразу поняла? — подумала Елена, торопливо поднимаясь по ступенькам.— Чуткое сердце матери».

— Что с ним? — спросила Люба, кинувшись к Елене.

— Не волнуйся, ничего страшного. Сегодня утром меня неожиданно вызвал к себе на улицу Марии-Луизы прокурор окружного суда Огнянов. Я страшно переволновалась. И вот, представь — вхожу сегодня к нему в кабинет, он усаживает и говорит: «Я ваш

должник, вы лечили моих знакомых, хочу отблагодарить вас. Вы скрываете Георгия Димитрова. Предупреждаю, законы строгие на этот счет...» Я ожидала чего угодно, только не этого. Пробормотала что-то, сказала, что ничего не знаю и никого не скрываю. «Нет, скрываете,— говорит,— в доме Мары Христовой на улице Гробарской». Я чуть не упала — это была правда, ты ведь знаешь!..

— Георгий арестован?

— В том-то и дело, что нет. Огнянов по-своему поступил честно. Мы уже нашли другую квартиру. Сегодня вечером переведем Георгия. Тебе надо последить за улицей, когда его поведут.

Елена рассказала, как задумано переселить Георгия в другую квартиру. Они присели к столу, и Елена начертила маршрут.

«Я все еще хочу быть похожей на нее? — спрашивала себя Елена, глядя на Любу, внимательно изучавшую чертеж.— И все еще завидую?.. Нет, теперь нельзя думать только о своем, личном. Есть что-то объединяющее нас с этой женщиной: мы должны спасти его. Он нужен многим. И в этом мы равны с ней...»

— Не беспокойся,— сказала Елена,— о нем думают.

Люба, точно угадывая ее мысли, оторвалась от чертежа и сказала:

— Ты стала другой, Елена, перестала быть девочкой. Ты была бы хорошей женой и умной доброй матерью, а должна заниматься конспирацией и рисковать каждый день.

Елена смешалась.

— Зачем ты говоришь так? — пробормотала она.— Можно стать и женой и матерью и вести работу в партии, так же как ты.

— Я не знаю, чего больше у нас с Георгием — счастья или страдания из-за постоянной опасности, нависшей над нами.

— Наверное, счастье особенно дорого людям, которые умеют беречь друг друга? — сказала Елена.

— Да, ты права, конечно,— подтвердила Люба.— Я скажу тебе одну вещь, Елена. Если ты хочешь, чтобы счастье в семье было полным, не лишай себя детей. Когда-то у меня мог быть ребенок от человека, которого я ненавидела. Я не захотела ребенка от него. Если бы ты знала, как Георгий мечтает о детях. Он не говорит об этом, но я слишком хорошо знаю его, чтобы понимать без слов.

— Вам было бы труднее с детьми,— глухо сказала Елена.

— Да, во сто крат. Но ты сама сказала, что, когда берегут друг друга, счастье становится дороже. И есть ли счастье, раз и навсегда застывшее в покое? Ты помнишь у Гёте: «На весах великих счастья чашам редко дан покой...» — Люба замолкла и, повернувшись к Елене и открыто и смело смотря в ее лицо, сказала: — Если со мной что-нибудь случится, береги его и помоги ему...

Елена упала головой в колени Любы, и ее светлые волосы, вырвавшись из плена шпилек, широкой струей хлынули на пол.

Обе женщины молчали. Люба откинулась на спинку стула и бережно положила свои маленькие руки на плечи Елены, как будто боялась уронить ее со своих колен.

Все еще пряча разгоряченное лицо в складках платья Любы, сдерживая рыдания, Елена проговорила:

— Люба, милая... С тобой ничего не случится.
 Тебе стало лучше, мы все это видим.

— Я говорю не только о болезни,— сказала Люба.— Наступают решающие дни, надо быть готовыми ко всему...

Вечером на улице Гробарской Люба издали увидела Георгия в темных очках с палкой в руке. Он шел в сопровождении двух женщин и одного мужчины. Улица была пустынна. Люба не заметила никаких признаков слежки. Она все время шла позади двух мужчин и двух женщин, пока они не достигли новой конспиративной квартиры на улице Пиротской. Люба знала, что Георгия представят хозяевам дома как брата Елены.

В середине сентября, накануне восстания, Георгий был переведен в маленький домик у трамвайного депо. Лишь один человек — связной партии — знал, где он находится.

Передо мной — страницы воспоминаний участников восстания — страницы истории. Бессмертен подвиг тысяч и тысяч смельчаков, поднявшихся с оружием в руках против фашистских правителей Болгарии. Но события восстания имеют еще и внутренний, глубоко философский смысл.

Утром 21 сентября члены штаба восстания во главе с Коларовым и Димитровым выехали на автомобиле из Софии под видом инженеров с мерными рейками, привязанными к бортам машины. На другой день они прибыли в мятежный Врачанский край. 23 сентября, около двух часов ночи, в окрестностях города Фердинанда (ныне Михайловграда) по указанию штаба стали сосредоточиваться силы восставших. Там были и коммунисты и члены Земледельческого союза. Впервые и те и другие стали насмерть плечом к плечу.

В 3 часа ночи начался штурм города, а в 8 утра над общинским управлением взвилось красное знамя. Васил Коларов и Георгий Димитров взяли на себя руководство восстанием. Вскоре под напором восставших пал город Берковицы. Через десять дней освободили часть Видинского и Врачанского округов. Восстание вспыхнуло и в некоторых других местах.

И все же оно не имело успеха. Почему? Главная причина неудачи заключалась в отсутствии единства в партии — поднимать или не поднимать восстание. И было упущено время. Не существовало прочного союза рабочих и крестьян. Недостаточно сильным было влияние компартии в армии.

Правительственные войска с варварской жестокостью подавили восставших. Главные силы повстанцев — и коммунисты и члены Земледельческого союза — вместе с Коларовым и Димитровым организованно отступили и перешли болгаро-сербскую границу.

И коммунисты и члены Земледельческого союза!.. Да, во всех сражениях в течение десяти дней восстания в победах и в поражениях земледельцы и коммунисты наконец-то оказались рядом, плечом к плечу. Сложна судьба народная: через какие муки надо было пройти, чтобы преодолеть трагическое разъединение рабочих и земледельцев, коммунистической партии и Земледельческого союза, стоившее народу Болгарии неисчислимых жертв!

«Бывают, однако, поражения, которые серьезно способствуют будущей победе освободительного дела рабочего класса,— говорил впоследствии на V съезде Коммунистической партии Болгарии Георгий Димитров.— Таким было и поражение Сентябрьского восстания 1923 года».

VIII

Какие чувства владели Георгием в эти трагические дни: горечь поражения, отчаяние перед неумолимостью судьбы, бессильный гнев? Он бежал с родины, но не от своей судьбы, как бывало не раз с теми одинокими смельчаками, что восставали против тирана, инквизиции или породившего их и отрекшегося от них общества. Георгий и его товарищи оставались верными своей судьбе и своему предназначению и в изгнании были солдатами армии, временно отступившей, но не сложившей оружия. Идея единения, которой они служили, не давала им согнуться перед неизбежным.

Из Югославии они перебрались в Австрию, в Вену. Георгий знал и любил город, умевший блеснуть театрами и библиотеками, парками и шумными ресторанами. Но и венские вальсы, и музыка, застывшая в камне парковых скульптур — Бетховен, Моцарт, Гайдн, Бах, Гёте, Шиллер,— все это лишь украшало его любовь к городу. Силу же и прочность ее он обретал в заводских кварталах, опоясанных дымами фабричных труб, в той Вене, где жил и трудился рабочий люд. Здесь у него были давние друзья, и с их помощью он нашел себе и своим товарищам жилье и раздобыл документы на вымышленные фамилии, что обеспечивало безопасность. Вместе с Коларовым они образовали в октябре 1923 года Заграничное бюро ЦК Болгарской коммунистической партии, утвержденное Исполкомом Коминтерна. Потом приступили к изданию партийной газеты «Работнически вестник», которая должна была стать и нитью связи с трудящимися массами Болгарии, и поддержкой тем, кто был рядом с ними в эмиграции, и тем, кто оставался на родине.

Венские друзья помогли разыскать крохотную типографию христианской секты, где были славянские шрифты. Да и сама вывеска религиозной общины, и узкие венские переулки, в которых затерялась типография, служили гарантией от слежки полиции или фашистских агентов. Георгий принялся за дело. Он давно уже стал опытным партийным публицистом, и выпуск газеты наполнил его жизнь той неостановимой деятельностью, к которой он привык давно и без которой не мог быть самим собой.

Для первого номера «Работнического вестника» Георгий и Коларов написали открытое письмо рабочим и крестьянам Болгарии. Оно кончалось так:

«Никакого уныния, никакого отчаянья, никакого малодушия! Выше головы, славные борцы! Да здравствует рабоче-крестьянское правительство! Да здравствует Болгария трудящихся!»

Письмо было набрано и сверстано на первой полосе газеты, и курьеры-добровольцы тайными путями переправили свежеотпечатанные экземпляры через границу в Болгарию.

Георгий писал статьи для следующих номеров. Он разоблачал палачей восстания, вселял своими статьями твердость в сердца, убеждал в исторической необходимости союза рабочих и крестьян, смело указывал на причины ошибок, приведших к поражению восстания. Он писал эти статьи на одном дыхании, заново переживал и горечь поражения, и пыл борьбы, и силу братства, наконец-то возникшего между коммунистами и земледельцами в огне вооруженной борьбы. Он призывал честных людей мира помочь болгарам-эмигрантам, помочь остановить казни в Болгарии. Он хотел, чтобы не только в Болгарии, но и во всех странах Европы увидели зловещее лицо фашизма,
 поняли, что опасность фашизма грозит и другим

странам, и другим народам, и другим партиям. Он стремился предотвратить организационную неразбериху в своей партии, избежать последствий уничтожения опытных партийных кадров. Его статьи разили врагов в самое сердце, брали за живое души друзей: «Белый террор в Болгарии», «Кто управляет Болгарией», «Единый фронт», «Что предстоит?», «После восстания», «Пролитая народная кровь взывает к возмездию», «За кулисами»...

Это был все тот же вечный бой, на который Георгий с юношеских лет обрек себя и без которого не мог жить. Он был уже не молод, но, впрочем, и не стар: ему шел сорок второй год. Зрелость пришла к нему, он утерял свою прежнюю нетерпеливость и стремительность, но стал сильнее спокойствием и твердостью испытанного бойца. Он знал, что на улице в любую минуту ему в спину могли выстрелить или заколоть его ножом посланные фашистским правительством Болгарии в поисках его и Коларова наемные убийцы. Так это было с другом Стамболийского Райко Даскаловым, в августе 1923 года убитым агентами Цанкова в Праге, куда он бежал после фашистского переворота 9 июня. Георгий не стал прятаться и избегать людей. Он не мог бы жить в уединении в постоянном страхе за свою личную судьбу. Ему нужны были встречи с друзьями, споры с политическими противниками, беседы с рабочими Вены и с болгарскими эмигрантами, минуты, а иной раз и часы, одиноких раздумий в венских парках у памятников Бетховену, Гайдну, Гёте...

Он совершенно изменил свою внешность — это была необходимая мера предосторожности, условие его новой борьбы, которое давало ему свободу действий. Все еще по привычке он загребал рукой волосы, чтобы откинуть назад длинные шелковистые

пряди, но их давно уже не было, так же как не было и бороды. Короткие, узкие, словно наклеенные колючие усики и наголо бритый подбородок придали его лицу несвойственное ему прежде выражение холодной строгости. Очки в тонкой оправе лишь еще более усиливали это впечатление. Он носил широкополую низко надвинутую на глаза шляпу, и, когда поднимал воротник пальто, становился совершенно неузнаваемым.

В Вену приехала Люба. Ей удалось вырваться из Болгарии, она не могла оставаться вдали от Георгия в эти трудные для него дни. Она еще не знала, что он без бороды и без волнистых прядей волос, которые любила перебирать, когда они оставались наедине в сумраке сквера у храма святого Николы или в своей комнате в домике на Ополченской. Георгия постригли и сбрили ему бороду на подпольной квартире в Софии накануне восстания, в те дни, когда только единственный связной, доверенный партии знал, где он находится. Едва увидев после разлуки этого необычного для нее Георгия и все поняв, Люба дала себе слово неотступно оберегать его и от австрийской полиции, и от наемных убийц, уже посланных, как она знала, на его розыски. Люба не выдала и своей горечи и своей боязни за него и заставила себя привыкнуть к его необычному виду.

Георгий устраивал деловые встречи с болгарскими эмигрантами-коммунистами и членами Балканской коммунистической федерации, казалось бы, на виду у всех в фешенебельном ресторане «Вундерер», на оживленной площади, в богатых кварталах города. Он появлялся здесь надушенный, прекрасно одетый, и никто из посторонних не смог бы заподозрить надменного господина со светскими манерами в том, что

 он руководил народным восстанием и что ему грозит

убийство из-за угла. Когда он выходил из ресторана, направляясь домой или в фабричные кварталы, чтобы там, переодевшись в простую одежду, появиться среди рабочих в дешевом ресторанчике «Грилпарцер», неподалеку от железнодорожной насыпи, Люба вместе с молодыми болгарами-эмигрантами издали следила за ним, оберегая от возможного нападения.

Георгий сумел наладить прочные связи с родиной и с компартиями Балканских и других европейских стран, чтобы помочь и коммунистам и всем честным людям Европы понять обстановку, сложившуюся в Болгарии, осмыслить сущность Сентябрьского восстания и угрозу, которую нес фашизм всем народам. Коларову и Димитрову удалось установить тесную связь с Центральным Комитетом своей партии в Болгарии, во главе которого тогда стоял талантливый и бесстрашный Станке Димитров — Марек.

В самом конце 1923 года Георгий получил неожиданную и дорогую весточку из Москвы: рабочие Семеновской ткацко-белильной фабрики извещали его, что он избран ими почетным членом Московского Совета. Неотложные дела по разоблачению перед всем миром зверств болгарских фашистов помешали ему сразу же ответить московским рабочим. А вскоре, в январе 1924 года, на Георгия и Любу обрушилось трагическое известие о кончине Ленина.

Нелегальными путями Георгий добрался до Москвы. Приехал в заснеженные Горки. Плохо сознавая, что происходит вокруг, шел позади тех, кто нес красный гроб...

Казалось, все рушилось вокруг него, и он с удивлением спрашивал себя, как он может работать, мыслить, жить?..

Вернувшись в Вену, как-то вечером Георгий заговорил с Любой о том, каким представлял себе Ленина

еще до встречи с ним. Люба понимала, что делается в душе Георгия, и просила его рассказать подробнее. Нельзя, чтобы горе оставалось в глубине души. Они проговорили далеко за полночь, как бывало, когда встречались после долгой разлуки. В эти тяжелые дни слишком много скопилось в их душах такого, что только они одни могли и понять, и оценить, и доверить друг другу.

— Знаешь,— негромко говорил Георгий,— есть люди, по внешнему облику которых нельзя понять, каковы они на самом деле. Мне всегда казалось, что Ленин не принадлежит к их числу. Я был убежден, что черты его лица, его манера разговаривать, выражать свою радость или гнев должны много сказать о нем человеку, который его не знает...

— Да, и мне казалось так же,— раздумчиво сказала Люба.— Но все-таки, наверное, мой Ленин не такой, как твой...

— И я не ошибся,— продолжал Георгий,— давно еще, не видя Ленина, я понял, что этот человек, обладающий точным аналитическим умом, в то же время способен отдаться страсти — иначе как можно было преклоняться перед музыкой Бетховена? Эта особенность придает уму силу и проницательность, которых лишен ум холодный, мелочно-расчетливый и бесстрастный. Это так, Люба, это так!

— Да, это так! — сказала Люба, радуясь силе, с которой говорил Георгий.— Ты ведь и сам такой, я хорошо помню, каким ты был в тюрьме, в стычках с полицией, на митингах... И теперь понимаю, чего ты искал.

Георгий перебил ее:

— Я ведь говорил не о себе. И не о подражании...

 — Да, да, понимаю...— сказала Люба...

В Софии в фондах музея мне показали комнату, где хранятся личные вещи Георгия Димитрова. На стеллажах стоят ряды книг... Полное собрание сочинений Ленина, произведения Карла Маркса и Фридриха Энгельса на немецком и русском языках, историческая и философская литература. Осторожно протягиваешь руку, листаешь страницы томов Ленина. Кое-где можно найти пожелтевшие от времени листки бумаги, которыми, видимо, отмечались нужные страницы. На полях — заметки и буквы «NB» — нотабене — обрати внимание. Охватывает странное состояние: кажется, будто видишь Димитрова. Он склонился над книгами, ищет в ленинской мысли утверждения новых путей борьбы.

Вот подчеркнуты строчки в статье «Пророческие слова». Ленин здесь излагает мнение Фридриха Энгельса о будущей войне. Читаешь подчеркнутое и понимаешь, что осложнившаяся международная обстановка в 1935 году заставляла Димитрова обращаться к мыслям Ленина о войне и мире. В статье «Конференция заграничных секций РСДРП» подчеркнуты слова: «Крайние бедствия для масс, создаваемые войной, не могут не порождать революционных настроений и движений, для обобщения и направления которых должен служить лозунг гражданской войны».

С пристальным вниманием Димитров изучал выступления Ленина на конгрессах Коминтерна по вопросам единства рабочего движения.

Поставлен на место взятый с книжной полки том, задернута шторка, предохраняющая книги от пыли и света. Работник музея смотрит на термометр, висящий на стене...

Георгий продолжал:

— Ленину нельзя подражать, так же как нельзя подражать никому другому. Но невозможно не думать о том, как велико влияние Ленина на всех нас, потому что Ленин — это Ленин. Возьми революционное движение балканских рабочих. Благодаря ленинским идеям профсоюзы на Балканах менее всего были заражены оппортунизмом. Это факт! — Он помолчал и глуховато произнес: — Да... Трудно, очень трудно нам будет без Ленина...

IX

Все, что передумал Георгий и после смерти Ленина, и после неудачного восстания, заставляло его по-новому осознать свою ответственность перед партией и вести тот вечный бой, от которого он никогда не мог уйти, с еще большим напряжением.

Он ясно понимал, что трагические события на его родине имеют связь с событиями в других Балканских странах, и стремился постигнуть закономерности их общей борьбы. Даже самые тягостные известия из Болгарии об убийствах многих его друзей по партии, о разгроме партийных организаций не заслоняли от него общей перспективы борьбы. В Вене давно уже помещался секретариат Всебалканской коммунистической федерации, секретарем которой был Георгий. Федерация была основана еще в 1910 году революционными социал-демократическими партиями Болгарии, Югославии, Румынии и Греции и называлась тогда Балканской социал-демократической федерацией. Многолетняя и активная ее деятельность помогла революционной социал-демократии Балканских

 стран выступать против Балканских войн 1912 и

1913 годов и против мировой войны 1914—1918 годов.

Но особую роль — так считал Георгий — федерация призвана играть лишь теперь, после основания и укрепления Коммунистического Интернационала, под руководством которого она действовала. Лишь федерация могла противопоставить усилению реакции организованное сопротивление трудящихся всех Балканских стран. Георгию приходилось проводить регулярные встречи представителей братских партий в Вене, противостоять неправильным тенденциям в партиях. Он стремился сейчас связать прочными узами братства отдельные коммунистические партии Балкан и дать им возможность тем самым вести единую практическую работу. Он видел, что события в Болгарии, разгром Сентябрьского восстания и физическое уничтожение многих испытанных деятелей партии — это не специфически болгарское явление, что и в других Балканских странах зреет реакция и перед другими коммунистическими партиями Балкан и в целом Европы стоят задачи сопротивления фашизму и предотвращения разброда в собственных рядах.

Особенно стало беспокоить Георгия положение в Югославской и Греческой компартиях. Милойкович в Югославии и Кордатос в Греции утверждали, что власть буржуазии на Балканах крепнет и что революционные перспективы исчезли, а потому принятая Балканской коммунистической федерацией революционная тактика не отвечает реальным условиям и теперешним требованиям классовой борьбы пролетариата.

Георгий понимал, что в обеих партиях под влиянием реальных изменений в политической обстановке на Балканах возникает правый уклон, с которым

надо вести беспощадную борьбу, пока он не дал ростков в партийных массах.

В Вену прибыли два представителя югославской партии для уточнения позиции секретариата Балканской федерации. Георгий встретился с ними в ресторане «Вундерер». За конспиративными квартирами в настоящий момент велась слежка, среди же веселившейся ночи напролет венской знати было безопаснее всего.

Люба сидела в первом зале за столиком вместе с болгарскими друзьями. Они делали вид, будто их никто и ничто не интересует, а между тем внимательно следили за входящими в ресторан. Георгий пригласил Любу танцевать, и вскоре они оказались в глубине ресторана рядом со столиком югославских товарищей. Георгий раскланялся, попросил разрешения присесть вместе со своей дамой. Так началась их беседа, иногда прерываемая веселой болтовней с Любой, чтобы придать естественность встрече друзей в глазах кельнера и возможных даже здесь слишком внимательных наблюдателей.

— Некоторые наши коммунисты утверждают,— говорил худощавый, загорелый югослав,— что крестьянское движение Балканских стран лишено революционности...

— Это плехановская позиция,— с живостью перебил Георгий.— Давно известная и ошибочная теория: привлекать крестьян под свои знамена лишь поскольку они переходят на позиции пролетариата. Мы в Болгарии заплатили слишком дорогой ценой, исповедуя в свое время этот тезис. Зачем югославским коммунистам возвращаться к пройденному нашим движением этапу?

— Да, но крестьянская масса, как утверждает марксизм,— это мелкие товаропроизводители.

Георгий слишком стремительно нагнулся над столом и тотчас, взяв себя в руки, откинулся на спинку стула.

— Ошибочно рассматривать крестьянство,— проговорил он, закинув ногу за ногу,— только как консервативный элемент. Такая точка зрения не учитывает того, что господство монополий несет основным массам крестьянства все большее угнетение и разорение, что оно усиливает их недовольство и революционные настроения.

— Это необычная для нас и чрезвычайно плодотворная точка зрения,— сказал собеседник, подвинувшись к Георгию.— Продолжайте.

Он смотрел на Георгия сосредоточенным взглядом, позабыв о том, где они сидят, весь отдавшись захватившей его логике, которой была подчинена высказанная Георгием мысль.

— Мы слишком увлеклись,— сказал Георгий.— За здоровье нашей дамы! — воскликнул он, поднимая бокал с вином.

— О, да! — воскликнул второй молчаливый и все время внимательно слушавший Георгия югослав.

Опустив на стол пустой бокал, Георгий сказал:

— Я продолжаю. Открытие, о котором я только что говорил, принадлежит не мне...

Георгий стал говорить о том, что самый выдающийся русский марксист Ленин дополнил марксистское учение, развил идею союза рабочих и крестьян в борьбе против царизма и буржуазии. Рабочий класс, говорил Георгий, завоевывает на свою сторону в качестве своих союзников крестьян, еще как мелких товаропроизводителей, прежде, чем они дорастут до восприятия социализма. Ленин обосновал возможность использования существующих в широких массах крестьянства революционных настроений.

— Браво! — негромко воскликнул собеседник, не сдержав своих чувств.

Георгий с некоторой горечью покачал головой.

— Мы все еще не научились,— произнес он,— отмечать вехами пройденный нами путь, как говорил один мой друг, российский социал-демократ, большевик и грузин по национальности, то есть иногда забываем достигнутое марксистской мыслью. Мы еще пока не в состоянии охватить умом все то, что было сделано Лениным при жизни, и все то, что принесут нам в будущем его открытия. Но уже сейчас с полным правом можно назвать эти открытия счастливыми для балканских трудящихся масс.

Он крепко обхватил руками свои локти и устремил на собеседников из-за стекол очков полный скрытого напряжения взгляд.

— Да! — сказал худощавый черноволосый югослав и отодвинулся вместе со стулом, уперев в край стола свои загорелые, мускулистые руки. Видимо, его состояние требовало какого-то действия, он готов был вскочить, но сдержал себя.

— Да! — в тон ему, понимающе произнес Георгий. Он наполнил бокалы вином — к ним подходил кельнер убрать ненужную посуду.

Едва кельнер удалился, тот из товарищей, что задавал вопрос об оценке обстановки на Балканах, настойчиво произнес:

— Мы слушаем.

— Лучше сейчас прервать нашу беседу,— сказал Георгий.— Затянувшийся разговор случайных соседей за ресторанным столиком может обратить на себя внимание.

Они расплатились с кельнером и все четверо неторопливо пошли по затихшей ночью площади. Георгий стал говорить о том, что нельзя позволить право-

оппортунистическим теориям Милойковича найти хоть какую-то почву в партийных массах. Милойкович хочет, чтобы коммунистические партии перестали интересоваться двумя основными вопросами жизни и борьбы балканских народов: крестьянским и национальным, чтобы коммунистические партии отказались от подготовки масс к рабоче-крестьянской революции на Балканах.

— Он хочет вернуться назад к довоенной,— Георгий усмехнулся и с иронией произнес,— «марксистской» тактике постепенной и мирной организации пролетариата. И после всего этого он претендует на верность Коммунистическому Интернационалу. Позор!

Он стал говорить об изменении политической обстановки на Балканах, о том, что противоречия между Англией, Францией и Италией на Балканах не устранены и не могут быть устранены. Югославы попытались возражать, стали говорить, что все-таки обстановка нормализовалась.

— Это лишь временное смягчение противоречий,— заметил Георгий.

Он заговорил о том, что Франция находится под гнетом финансовых обязательств перед Америкой, поглощена борьбой с затруднениями внутри страны и потому все более вынуждена уступать в пользу Англии свою роль в балканской политике. Англия стремится захватить полную гегемонию на Балканах, старается создать единый общебалканский антибольшевистский фронт против революционного движения на Балканах и против Советского Союза, а также для давления на новую Турцию. Но все это лишь временное замедление темпов революционного движения на Балканах.

— Главная задача Балканской коммунистической

федерации,— напористо произнес Георгий,— создание общебалканского фронта труда, то есть согласование рабочего, крестьянского и национально-революционного движения на Балканах. Создание революционного фронта против малой Антанты — этого орудия большой империалистической Антанты!..

X

Весной 1924 года Георгий должен был на время прервать свою деятельность в секретариате Балканской коммунистической федерации и в организациях болгарской эмиграции в Вене и вместе с Любой выехать в Советский Союз. Он был избран делегатом на V конгресс Коминтерна и на III конгресс Профинтерна, которые должны были состояться в Москве летом того же года. Он знал, что ему еще предстоит жестокая борьба с правыми уклонистами в Югославской и Греческой компартиях и что многое еще придется сделать, чтобы сохранить и укрепить Болгарскую коммунистическую партию. Но именно для того он и должен быть на конгрессах Коминтерна и Профинтерна...

Однажды мне позвонил по телефону незнакомый человек, назвавшийся Алексеем Петровичем Шигаевым, и сказал, что встречался с Димитровым на Семеновской ткацко-белильной фабрике в июле 1924 года.

Июль 1924 года — интереснейшая дата! Это же первые месяцы многолетней эмиграции Димитрова, время, когда в Москве проходил V конгресс Коминтерна.

Алексей Петрович оказался человеком весьма обстоятельным, как говорят, дотошным. Каждую дату,

связанную с Георгием Димитровым, он проверял и перепроверял много раз.

Шигаев рассказал мне, что он сам в двадцатых годах был направлен из ВЧК в аппарат Совнаркома. В марте 1922 года его прикомандировали к оргкомитету XI съезда партии для личной охраны Ленина. А после смерти Ленина, когда рабочие по ленинскому призыву вступали в партию и коммунисты шли для укрепления работы в первичные партийные организации, Алексей Петрович Шигаев был назначен помощником директора Семеновской ткацко-белильной фабрики. Вот здесь-то и узнал он весьма любопытную историю.

26 ноября 1923 года — обратите внимание, читатель, опять весьма интересная дата! — почти сразу после поражения болгарского восстания — на собрании рабочих и служащих Семеновской фабрики от имени базовой комячейки выступила товарищ Перевозникова и предложила ...«избрать почетным членом Московского Совета товарища Димитрова Георгия, представителя Болгарии, который находится в тюрьме за движение рабочих масс».

Это было то самое письмо, которое дошло к Димитрову в Вену. Слова протокола о тюремном заключении объяснялись неточной информацией: после поражения восстания ходили слухи, что Димитров убит, по другой версии — схвачен и посажен в тюрьму. В действительности, как мы знаем, Димитров в это время был в Вене, на свободе, но в подполье.

В марте 1924 года на фабрике было получено письмо от Димитрова вот какого содержания:

«Дорогие товарищи!

Своим избранием меня в почетные члены Совета, несомненно, вы оказали большую честь в моем лице борющемуся болгарскому пролетариату, который, я

убежден, оправдает вполне эту честь в предстоящей решительной борьбе своей против свирепствующей буржуазно-фашистской реакции и за создание рабоче-крестьянского правительства в Болгарии...»

В июле того же 1924 года в гости к рабочим и служащим Семеновской фабрики приехал находившийся в то время в Москве Георгий Димитров вместе с коммунистами Франции, Югославии и Чехословакии. Все они были делегатами проходившего тогда в Москве V конгресса Коминтерна.

Протокол встречи в клубе фабрики вел Алексей Петрович Шигаев. Воспоминания о тех днях заставили его в 1961 году восстановить исторические события и своими руками создать на Семеновской фабрике экспозицию интересных и оригинальных документов и фотографий, связанных с интернациональной революционной борьбой Георгия Димитрова.

Деятельность Георгия Димитрова на международной арене, начавшаяся еще в Балканской коммунистической федерации, затем на конгрессах Коминтерна и Профинтерна в Москве в 1921 году, нашла теперь свое продолжение и развитие.

На V конгрессе Коминтерна, несколько делегатов которого, как свидетельствуют Алексей Петрович Шигаев и собранные им документы, приезжали к рабочим Семеновской фабрики, Димитров вел большую работу. Он входил в состав нескольких комиссий: организационной, профсоюзной, комиссии по национальным и колониальным вопросам и пропаганды, английской, польской, австрийской. Конгресс избрал Димитрова кандидатом в члены Исполкома Коминтерна. Вплоть до роспуска Коминтерна в 1943 году Димитров неизменно входил в состав этого руководящего органа Коминтерна...

На V конгрессе Коминтерна, проходившем летом 1924 года, внимание Димитрова привлекло выступление молодого итальянского коммуниста Эрколи. Настоящее его имя было Пальмиро Тольятти. Димитров слышал о нем еще в 1921 году, в то время, когда нелегально ездил из Австрии в Ливорно на съезд Итальянской социалистической партии. Слушая теперь выступление Эрколи — Тольятти, Димитров радовался тому, что совсем еще молодой человек — сколько ему, лет тридцать? — зрелый боец, усвоивший ленинскую тактику. Это тем более поражало, что Эрколи впервые был в Москве и не мог прежде встречаться с Лениным и слышать его выступления.

Эрколи говорил о том, что только руководство коммунистической партии позволит итальянскому рабочему классу достичь того обязательного, самого тщательного, заботливого, осторожного, умелого использования малейшей розни между его врагами, использования малейшей возможности приобрести союзника, хотя бы только временного, шаткого, непрочного, ненадежного, условного...

Когда Георгий и Люба принимали у себя в номере «Люкса» Эрколи в свободное от заседаний время, итальянец сказал:

— Я слушал тебя с волнением, ты говорил на конгрессе о борьбе против фашизма и войны путем создания общего революционного фронта. Это звучит как предупреждение всем нам...

Димитров усмехнулся: все они дышали, жили идеями единства.

Эрколи был невысок, прост, лишен какой-либо натянутости, пожалуй, даже весел. На трибуне он выглядел гораздо солиднее, строже. Любе он понравился, и они провели вечер по-домашнему, за чашкой чая и неторопливой беседой. Эрколи рассказывал

об Италии — ее природе, обычаях своего народа, искусстве. Видно было, что он тоскует по родине и что встреча с Георгием и Любой дала какой-то выход тому, что скопилось в его душе.

В это лето в Москве Димитров не раз встречался с Эрколи и подолгу беседовал с ним. Итальянец рассказал, какую борьбу приходится вести с правым и левым уклонами в итальянской партии и как много сил отнимает эта совершенно необходимая борьба, без которой партия может выродиться в некое мелкобуржуазное течение в рабочем классе Италии. Эти беседы все более сближали их — ведь и в Болгарской коммунистической партии были элементы, с которыми приходилось вести подобную же борьбу. Он понимал, что болезнь переживают не только болгарская и не только итальянская партии.

Международная политическая деятельность не ослабляла, но сделала более активной его участие в жизни Болгарской коммунистической партии. Вести с родины тревожили его. Некоторые из тех, кого он хорошо знал, доведенные до отчаяния арестами и убийствами, готовились прибегнуть к силе оружия: на убийства отвечать убийствами, на террор — террором. Заграничное бюро ЦК делало все возможное, чтобы предотвратить опасный для партии процесс.

Весной 1925 года Георгия известили, что в фашистских застенках в Софии замучен его младший брат Тодор.

Погиб Тодор! Георгий метался, не в силах справиться с охватившей его скорбью. Тодор, мягкий, добрый Тодорчо, так напоминавший своим характером мать, пытался отстреливаться, когда его окружили. Револьвер дал осечку... Тодор был инструктором ЦК и руководил передачей денег, полученных от МОПРа для жертв фашизма. Он знал — за ним

следят. Большую часть денег разносила мать. Она прятала конверты с деньгами в карманы юбки и шла по указанным Тодорчо адресам. «Кто будет обращать внимание на старую женщину? — слышался Георгию ее голос, когда рассказывали обо всем этом те, кто приезжал из Болгарии.— Я слишком долго живу на свете, чтобы бояться тюрьмы и смерти». «Не в том ли великая правда времени,— думал он,— что простые люди из народа логикой жизни приходят к пониманию идей революции и ищут свое счастье, переходя на ее сторону?»

Последний раз, как передавали Георгию, мать видела Тодора, проходя вместе с его женой Наткой мимо тюрьмы. Они заметили его в окне, за решеткой. Он помахал им рукой. Удалось даже спросить, как он себя чувствует и что ему передать. Тодорчо покачал головой: ничего не нужно. Дошло и письмо из тюрьмы: «Мама, я бы хотел жить вместе с тобой и Наткой, но я больше не могу выдержать...» В морге, куда доставили его труп, санитар, снимавший с него ботинки, прочел на подкладке одного ботинка слова, написанные засохшей побуревшей кровью: «Я умираю, но никого не выдал...»

Почти тотчас вслед за гибелью Тодора случилось то, чего Георгий давно опасался: ультралевые элементы из военной организации партии, вопреки указаниям и решениям ЦК, тремя выстрелами в упор убили одного из фашистских генералов. Но это было лишь началом мести. Генерала хоронили 16 апреля в кафедральном соборе храма Святы Крол в центре города. В день похорон всю площадь оцепили войсками — ни пройти, ни выйти. В храме собралась софийская знать. Панихида задерживалась: царь Борис опоздал. Но часовой механизм адской машины заминированного купола сработал точно по расписа-

нию церемонии. Гул взрыва, перешедший в грохот, прокатился по площади. Обломки стен и крыши лавиной ринулись вниз...

Я был в этом соборе в 1965 году. Он восстановлен в прежнем виде. Диаметр купола почти равен ширине церковного зала, при взрыве уйти было некуда. В день взрыва под обломками было похоронено сто пятьдесят человек. Совершить такой террористический акт могли только люди, доведенные преследованиями до отчаяния...

Скорбь по брату не ослепила и не ослабила Георгия. Он просидел ночь, составляя декларацию ЦК, обращенную к болгарскому народу, ко всему миру. В ней было заявлено, что партия не имеет отношения к взрыву собора. Террористические акты несовместимы с программой коммунистов, с марксизмом. Это акты отчаяния, вызванного жестокостями фашизма.

Но ничто уже не могло оградить партию от потока лжи, клеветы и кровавой расправы. В первую же ночь после взрыва, с 16 на 17 апреля, начались массовые аресты и убийства.

Летом стало известно, что несколько десятков узников в Болгарии бежали из темницы на острове Святой Анастасии и перешли болгаро-турецкую границу. Димитров и Коларов обратились к Советскому правительству с просьбой предоставить им политическое убежище. В августе на пароходе «Ильич» беглецы прибыли в Одессу. Организатор побега, высокий, лобастый, с четко вырубленными чертами лица Теохар Димитров Бакырджиев передал Георгию за-

вещание погибшего в застенках старого коммуниста Герасима Михайлова, которого Георгий давно знал и глубоко уважал.

Герасим Михайлов, невысокий, крепкий, молчаливый человек, в девятнадцатом году охранял Георгия в его поездке в Деде-Агач, а в Бургасе руководил военной организацией партии. После взрыва Софийского собора его, как и многих других, арестовали. Несмотря на пытки, он никого не выдал. Первого мая в четыре часа дня, когда портовые рабочие возвращались с работы и проходили мимо тюрьмы, Герасим выбросился из окна четвертого этажа и разбился насмерть. Накануне он сказал товарищам по заключению: «Кто останется в живых, пусть передаст партии мое завещание. Хочу, чтобы дети мои жили и учились в Советском Союзе». Он всегда был немногословен и ничего больше не прибавил, да и эти-то несколько слов перед смертью сказал негромким, хотя и твердым голосом.

Тайными путями, созданными великим братством нашего времени, через границы нескольких государств, шла просьба Заграничного бюро ЦК нелегально вывезти из фашистской Болгарии семью погибшего коммуниста.

...Зимним вечером в самом конце 1925 года Георгий и Люба принимали у себя в «Люксе» сына Герасима. Семнадцатилетний статный тихий юноша Михаил Герасимов, студент рабфака Московского высшего технического училища имени Баумана, рассказывал о том, как он хоронил отца... Пряча боль в глазах, Георгий слушал рассказ Михаила. На похороны собралось много народу, появились даже матросы с военного корабля. Полицейские отряды оцепили колонну провожавших гроб и так довели ее до кладбища...

Вернувшись из Болгарии, в 1966 году в Москве я случайно встретился с болгарским профессором, работником Совета Экономической Взаимопомощи Михаилом Михайловичем Герасимовым. Оказалось, что передо мной сын Герасима Михайлова — тот, что был юношей в гостях у Георгия Димитрова и Любы в 1925 году.

Вот как сложилась его судьба.

Он окончил рабфак, затем Горный институт, защитил диссертацию, получил ученое звание профессора. Перед войной по решению Болгарской коммунистической партии вместе с семьей переехал в Болгарию. Во время войны участвовал в движении Сопротивления, а после освобождения родины советскими войсками вновь встретился с Димитровым. В составе болгарской делегации как советник Димитрова ездил в Чехословакию и участвовал в подготовке договора о дружбе и взаимопомощи обеих стран. Он-то и рассказал мне о побеге заключенных с острова Святой Анастасии, о стойкости и трагической смерти своего отца...

Когда наступило время уходить юному гостю и он стал надевать легкое потрепанное пальтишко, Георгий, подчиняясь безотчетному чувству, снял с вешалки свою шубу и протянул юноше.

— Возьми,— сказал Георгий,— хочешь носи, хочешь продай и купи себе шубу по росту. Твое пальтишко совсем не по московским морозам.

В тот момент Георгий вспомнил добрый взгляд и негромкий голос погибшего младшего брата, каким он его помнил.

Да... Много тяжелого выпало Георгию за годы эмиграции.

В январе следующего, 1926 года Георгий вошел в состав временного Центрального Комитета Болгарской коммунистической партии, образованного в Вене, а 8 декабря 1927 года на партийной конференции в Берлине ему пришлось вместе с Коларовым отстаивать большевистскую линию партии против политических карьеристов справа и слева, решительно разоблачать левосектантское течение в руководстве партии, громить троцкизм, возникший на болгарской почве.

Борьба Георгия за чистоту рядов Болгарской коммунистической партии была тем успешнее, что он связывал ее со всей международной политической деятельностью и потому мог отчетливо видеть общую перспективу.

Еще год назад, на VI расширенном пленуме Исполкома Коминтерна в феврале — марте 1926 года, Георгий дал анализ внутрипартийного положения в Компартии Германии и показал, что ультралевый уклон в этой партии затрудняет ее работу и развитие. Осенью 1926 года он был в Германии и еще раз ознакомился с обстановкой, сложившейся в компартии. Теперь это был уже зрелый боец международного коммунистического и рабочего движения, умудренный огромным политическим опытом. В письме в Исполком Коминтерна Димитров рекомендовал принять решительные меры по ликвидации контрреволюционной троцкистской оппозиции в ВКП(б). «Русская болезнь,— писал Димитров,— стала серьезной болезнью для всего Коминтерна, и дальнейшее распространение этой болезни недопустимо...»

Глубоко продуманный вывод из анализа фактов международного коммунистического движения!..

Димитров продолжал руководить деятельностью Балканской коммунистической федерации. Весной

1927 года, когда началось преследование Греческой коммунистической партии, Димитров составил декларацию Балканской коммунистической федерации, разоблачающую греческую реакцию. Федерация помогла Греческой компартии разгромить ликвидаторский уклон в партии, югославским коммунистам — преодолеть фракционность и занять правильные позиции по национальному вопросу, разъяснить ленинскую идею о союзе рабочего класса и крестьянства. Димитров называл ленинское учение о союзниках пролетариата счастливым открытием для балканских трудящихся масс.

Он глубоко изучал политическую обстановку во многих странах Западной Европы. И этот опыт, и знание особенностей коммунистического движения в разных странах, и закалка борца сыграли неоценимую роль в событиях, которые вскоре последовали...

XI

Весной 1929 года Георгий должен был вновь уехать в Западную Европу,— уехать с иными задачами, чем бывало прежде...

К этому времени прошло уже несколько лет эмиграции. Не раз за эти годы, отправляясь по делам Болгарской коммунистической партии в Германию и Австрию, он со спокойной душой оставлял Любу: в прекрасных санаториях ее лечили лучшие советские врачи, у нее были самые современные лекарства. Силы, казалось, возвращались к ней. Люба перешла в ряды партии большевиков, по-прежнему недолгие заграничные поездки ни Георгию, ни ей не были в тягость.

Но теперь предстояло покинуть Москву надолго и жить в обстановке постоянной опасности. Исполни-

тельный комитет коммунистического Интернационала поручил Димитрову руководить своим форпостом в сердце капиталистического мира — Западноевропейским бюро Исполнительного комитета Коминтерна. Димитрову и его товарищам по работе в Западноевропейском бюро предстояло согласовывать деятельность коммунистических партий европейских стран в создании единого широкого фронта борьбы против империализма, войны и фашизма, защиты прав рабочего класса, защиты Советского Союза. Местопребыванием бюро был избран Берлин — отсюда и в географическом и в политическом отношении было наиболее удобно вести широкую нелегальную работу для осуществления единства действий компартий европейских стран.

Георгий должен был стать немцем в своей речи, в своих манерах и образе жизни. Он всегда по достоинству ценил занятия с Любой немецким языком и немецкой литературой — еще тогда, в Болгарии. Если его раскроют и узнают, он может быть обвинен в шпионаже, диверсиях, к чему никогда не имел отношения, как и всякий политический деятель-марксист. Его могли уничтожить и наемные убийцы фашистско-болгарского правительства. За пределами приютившей его страны ему предстояло выверять каждый свой шаг. Он готов был на этот риск, на постоянную настороженность, на безвестную смерть, если она выпадет ему на чужбине от руки предателя,— готов был на все это тяжелое и жестокое ради того, чтобы и там, среди враждебного мира, оставаться апостолом братства, которому давно уже отдавал свои силы и помыслы, как отдавала этому братству все, что у нее было, и Люба. Он знал, и Люба тоже знала, что отступления, ухода от своего долга перед партией не может быть и никогда не будет.

Теперь он с теплым чувством вспоминал еще прежде полученные Любой письма от Клары Цеткин. Оба они тогда порадовались добрым словам старой немецкой коммунистки.

«Дорогой товарищ! — писала Любе Клара Цеткин из Кисловодска.— С преданностью вспоминаю и высоко ценю Вас, ценю, как прекрасную женщину и коммунистку. Большое счастье для меня, что я Вас узнала.

Сильно огорчена, что не встретила Вас снова здесь. Сожалею, что я слаба, что не могу бороться, как хотелось бы. Но утешаюсь мыслью, что Вы и другие по-старому высоко держите наше знамя и идете вперед. Сердечно и по-дружески Вас целую».

В ответном письме Люба пожелала ей здоровья и сил, писала, что муж должен уехать надолго и что будет трудно без него, но поддерживает мысль, что он остается неустрашимым борцом.

Вскоре из Кисловодска пришло новое письмо:

«Дорогой товарищ! Ваше письмо доставило мне большую радость, как и все, что узнаю о Вас. Желаю, чтобы поскорее миновали ваши тяжелые дни и жизнь стала спокойнее. Сердечно буду рада увидеть Вас. В моем старом сердце Вам принадлежит и хранится большое место, и я думаю о Вас больше, чем Вы сама можете предполагать об этом.

Я несколько раз виделась с вашим мужем, и эти встречи успокаивали и радовали меня в связи с мыслями о будущем. Настоящее не легко, но все же я твердо верю в будущее. История с нами, и до тех пор, пока с нами работают такие люди, как Димитров и Вы, история будет «работать» не напрасно.

По-дружески Вас обнимаю и целую.

Клара Цеткин»

Письма Клары были для Георгия утешением: у Любы надежные друзья, они помогут легче перенести его отсутствие.

Незадолго перед отъездом он пошел к своему товарищу по работе в Коминтерне Мартынову. Много раз уже без Любы,— она чувствовала себя неважно,— он приходил в дом Мартыновых и теперь, уезжая надолго, не мог не проститься с семьей, в которой всех встречали с добрым предрасположением. У Мартыновых он обычно проходил в кабинет хозяина дома, и там за чашкой чая или кофе начинался нескончаемый разговор. А поговорить с Мартыновым было о чем. Свою политическую деятельность он начал в среде меньшевиков. Революция в России заставила его многое переоценить и передумать, и он стал выполнять ответственные задания большевиков. Еще при Ленине Мартынов был принят в коммунистическую партию. Позднее ему поручили редактирование журнала «Коммунистический Интернационал».

Это был пожилой, седой и грузноватый человек. Друзья ценили его за ум, мягкость характера и обходительность. Даже у себя дома он был вечно поглощен своими статьями и дискуссиями с товарищами, мог ответить невпопад на какой-нибудь житейский вопрос, не заметить, что галстук съехал набок или брюки сползли с живота и штанины волочатся по полу. Он знал так много, что Георгий в душе завидовал ему и как-то даже побаивался этого совершенно безобидного, доброго человека.

В доме Мартыновых бывали коммунистические деятели многих стран. В тихом, заваленном книгами кабинете можно было встретить и Эрколи (Тольятти), и Дюкло, и Мориса Тореза, и бывшего советника Сунь Ят-сена Бородина, бежавшего от Чан Кай-ши

через пустыню Гоби, и Мануильского, дружившего с Мартыновым, и многих других интересных людей.

Иной раз гости Мартынова замолкали, прерывая серьезный разговор, привлеченные взрывами смеха, доносившимися из комнаты племянницы хозяина Вильгельмины, шли к молодежи.

Кто-то в шутку назвал Вильгельмину, молоденькую, с коротко остриженными волосами, резковатую, Вильгельмишкой. Потом уменьшительное имя сократили, и все стали называть ее просто Мишкой. Дочь богатых родителей из Прибалтики, она увлеклась рабочим движением, стала комсомолкой. Ушла из семьи и приехала в Советский Союз к дяде жить и трудиться для революции. Мишка знала четыре языка, и, может быть, потому у нее часто собиралась молодежь из интернациональной Ленинской школы Коминтерна.

В ее комнате, полной народу, Георгий обычно забивался в угол и молча поглядывал оттуда на веселые, молодые лица. Не до веселья было ему в то время, а посмотреть на новую молодежь иной раз тянуло, душа просила отдыха.

В тот вечер в передней Мартыновых Георгий встретил Мануильского. Он тоже только что вошел.

— Никаких кабинетов,— притворно строго говорила гостям хозяйка дома Анна Романовна.— Идите мойте руки и сейчас же за стол.

Мануильский, веселый, жизнерадостный человек с усиками, спускавшимися до уголков губ, и смеющимися глазами, стал отшучиваться, но в конце концов обоим пришлось идти мыть руки и сесть за большой, ярко освещенный висячей лампой обеденный стол.

Пока они ужинали, из комнаты Мишки то и дело раздавались приступы безудержного хохота.

Мануильский заговорщически тихо сказал Георгию:

— До чертиков любопытно, что у них там происходит. Сходим, а?

Георгий молча кивнул — он уже научился не только говорить, но и кивать по-русски. Мануильский искоса глянул на неловко сидевшего за столом, углубленного в себя товарища, и глаза его бисерно блеснули. Он, видимо, собирался сказать что-то острое, задиристое и веселое, но сдержался. Он хорошо понимал, что творилось в душе Георгия в эти дни...

XII

Появление в комнате Вильгельмины Мануильского и Георгия произвело свое действие: наступила полнейшая тишина. Мануильский отвесил общий поклон (то же сделал и Георгий за его спиной) и совершенно естественно, не желая замечать настороженной тишины, попросил:

— Мишка, пожалуйста, переводите! — Он повернулся ко всем и продолжал: — Когда Торез был у меня, он сказал мне так...

С разных концов комнаты раздались возгласы на ломаном русском языке:

— Не надо переводить, все ясно...

Мануильский повторил:

— Он сказал...

И вдруг произошло волшебство: каким-то неуловимым движением тела, мимикой лица и голосом Мануильский перевоплотился в Тореза. Он прошелся по комнате, сказал несколько слов так, как говорил Морис Торез, и дружный хохот потряс стены комнаты...

Товарищи, хорошо знавшие Мануильского, рассказывали мне, что у него было незаурядное актерское дарование, он умел точно воспроизводить манеру разных людей разговаривать, свойственные им жесты. Известно, что он помог актеру Щукину создать правдивый образ Владимира Ильича в кинофильме «Ленин в Октябре». Много часов провел Щукин с Мануильским, стремясь уловить, как Ленин ходил, брал книгу из шкафа, садился за письменный стол, читал...

Весь вечер Георгий просидел в углу, зажатый со всех сторон молодыми людьми. От него трудно было добиться слова, но когда хором запели немецкую рабочую песню, потом итальянскую, он пел вместе со всеми, и глаза его молодо и растроганно светились, и голос окреп.

— Вы хорошо поете,— похвалила Вильгельмина, наклоняясь к нему.— Вот не ожидала...

Мишка доверчиво смотрела на него, и Георгию показалось, что она хочет подбодрить, помочь ему избавиться от скованности и угрюмости. Девушка не знала ни о Любе, ни о предстоящем отъезде Георгия в Германию.

— Когда-то я любил петь,— Георгий усмехнулся.— И даже танцевать хоро.

Девушка удивленно подняла брови.

— Это болгарский танец,— пояснил Георгий,— мужчины и женщины становятся в круг и танцуют, положив руки друг другу на плечи, пока хватит сил.

— Давайте станцуем хоро! — воскликнула Мишка, смотря на Георгия доверчиво и лукаво.

— Нет,— сказал он решительно,— я уже давно разучился танцевать.

— Ой, какой вы мрачный! — шутливо воскликнула девушка, передернув плечиками.

— Через несколько лет мне пятьдесят, — сказал Георгий, — в два раза больше, чем вам и вашим друзьям.

Лицо его стало замкнутым, он опустил глаза.

— Мы будем танцевать, — воскликнула озорная Мишка, стремительно вскакивая с места. — Все будем танцевать! Слышите, все! Алле геноссен! Ту ле монд! — повторила она свой возглас по-немецки и французски. — Все товарищи! Все люди!

И «все люди» пустились в пляс. Один только Георгий остался на своем месте в углу комнаты.

Поздно вечером Мануильский провожал Димитрова по затихшим, темным улицам Москвы. Они разговаривали о предстоящей поездке в Германию.

Мануильский оставил обычный для него насмешливый тон, говорил мягко и спокойно:

— Георгий Михайлович, так нельзя, твоя сдержанность и суровость за границей могут только помешать и тебе самому и всем нам.

— Если будет надо, я стану галантным кавалером и даже шутником, — пробурчал Георгий. — Я привык к конспирации.

— Да не о том же речь, — продолжал Мануильский. — Тебе надо внутренне успокоиться и вновь обрести радость жизни. Ты понимаешь?

— Я не могу просто так приказать своей душе, — признался Георгий.

Мануильский вздохнул, покачал головой.

— Прежде я знал тебя, Георгий Михайлович, совсем другим. А сегодня... — Мануильский помедлил, — сегодня я побоялся сказать тебе шутку за столом. Понимаю, ты многое пережил и передумал,

вынес то, что не каждый вынесет. Ну, а дальше, дальше-то что? — воскликнул он.— Жизнь-то идет!..

Мануильский посмотрел на спутника просветленным, по-мальчишески наивным взглядом. Георгий молчал. Его усталое лицо с припухлостями под глазами, тронутое бликами призрачного света ночного города, исказилось болью.

— Я до сих пор не могу забыть... Никак не могу простить себе ошибки, которую совершил вместе с Цека девятого июня... Куда от этого денешься? — Георгий резко повернулся к спутнику и быстро, с хрипотцой заговорил: — Не могу простить себе понесенных нами жертв, не могу простить того, что с Любой... Ведь одно связано с другим, и ее болезнь... Были бы мы тогда настоящими большевиками, не случилось бы того, что случилось...

— Идем! — властно сказал Мануильский, крепко взяв Георгия под локоть. Он увлек его в темноту пустынного ночью бульвара, бесконечно тянувшегося посреди улицы. Они сели на скамейку под густым сплетением ветвей лип и кленов.

— Извини, Дмитрий Захарович!..— пробормотал Георгий.

— Молчи! Молчи! И успокойся...

Они долго сидели молча.

— Ну, ладно,— через некоторое время сказал Георгий,— тебе спать пора. Все уже! Больше не повторится, даю слово. Это я так... Посмотрел сегодня молодежь, поговорил с одной беззаботной девушкой и...— Георгий развел руками,— как видишь...

Мануильский добродушно рассмеялся.

— Видел, видел, с Мишкой попапался. Я, брат, многое вижу и замечаю...— Он хмыкнул.— «Беззаботной»! Эта беззаботная девушка, к твоему сведению, скоро поедет за границу на нелегальную работу в од-

ной интернациональной организации. Может быть, на смерть поедет. И самое удивительное, что она прекрасно сознает это и все-таки едет. Так-то вот, Георгий Михайлович! Новое поколение — оно идет нашей дорогой! Туда, вдаль, в метель, как и мы. Но уйдет дальше нас. В этом величайший смысл жизни, до которого когда-то хотели докопаться мы и который ищут — и находят! — теперь они. Что бы ни случилось, нам нельзя терять в душе радости жизни — спокойной, ядреной,— голос Мануильского окреп, и он с силой сжал кулак и потряс им,— цепкой, непреходящей, потому что они, молодые, то и дело оглядываются на нас, а потом, когда-нибудь в трудную для себя минуту скажут себе: «Спокойно! Не теряй головы, надо быть таким, как Георгий Димитров!» Ты понимаешь?..

Георгий глубоко и шумно вздохнул и откинулся на спинку скамейки.

— Спасибо тебе, Дмитрий Захарович,— сказал он просто, без прежней своей сдержанности.— Хватило бы только мужества у меня... на радость жизни...

— Хватит! — убежденно сказал Мануильский.— Я все время ощущаю в тебе какую-то скрытую, узловатую, как корень сосны, могучую силу. Потому и сказал тебе все это. Другому — у кого за душой, кроме марксистских молитв, ничего нет, не говорил бы. Пустой номер! А ты, Димитров, поймешь и выдюжишь.

XIII

В Берлине Георгий неожиданно лицом к лицу столкнулся с Мишкой. Встреча произошла в мрачноватом зале, который обычно сдавался его владель-

цами в аренду для выставок, деловых банкетов или собраний.

В эти дни в Берлин — Берлин двадцать девятого года, полный тревожных политических слухов и горьких разговоров о семейных заботах около лавок рабочих окраин, Берлин, наполненный возбужденными выкриками в пивных и каким-то торопливым, исступленным весельем в ночных дансингах и кабаре на улицах, ослепленных метелью рекламных огней,— в этот ждущий чего-то неизбежного и тревожного город, съезжались из разных стран видные политические деятели, писатели, ученые. Готовился второй после двухлетнего перерыва конгресс Антиимпериалистической лиги. Сначала предполагалось провести конгресс в Париже, но французское правительство отказало во въездных визах многим делегатам, хотя против самого конгресса и не возражало. Лондон также отказал. Английское правительство заявило: до тех пор, пока ведущиеся с Советским правительством переговоры не закончатся установлением дипломатических отношений, не может быть разрешен въезд советским делегатам. Наконец удалось получить разрешение провести конгресс в Германии, во Франкфурте-на-Майне. Самый конгресс должен был состояться в середине лета, теперь же съезжались участники подготовительного комитета, следуя во Франкфурт через Берлин.

Большинство уже знало друг друга по первому конгрессу и по работе в Исполкоме Лиги. Встречаясь теперь в пустоватом угрюмом зале, люди разных национальностей обменивались крепкими рукопожатиями и никак не могли наговориться, испытывая возвышающее чувство естественного человеческого единения.

С делегатами конгресса Георгий встречался через немецкого коммуниста Вилли Мюнценберга, человека обаятельного, связанного с интеллигенцией многих стран мира. Георгий не мог раскрывать своего настоящего имени.

В тот момент, когда Вилли Мюнценберг подвел к Георгию французского адвоката и оставил их, Георгий неожиданно увидел Вильгельмину в модном дорогом костюмчике. Она строго смотрела на него и нетерпеливо постукивала каблучком, видимо, ждала, когда он кончит разговор с французом. Девушка очень изменилась с тех пор, как он видел ее последний раз в Москве у Мартыновых,— то ли повзрослела, то ли стала сдержанней и серьезней.

Простившись с французом, Георгий подошел к Вильгельмине и, церемонно нагнувшись, поцеловал ее руку.

— Мишка...— прошептал он, и глаза его лукаво блеснули.— Это невероятно!

Вильгельмина безмолвно смотрела на Георгия: он предстал перед нею все таким же красивым и сильным, и все так же слегка путались кольца его отброшенных назад быстрым движением руки волос, но в нем не было прежней угрюмости и скованности. В большом и неуютном, наполненном гулом голосов зале, среди множества разноязычных оживленных людей он, видимо, чувствовал себя совершенно иначе, чем в ее комнате у Мартыновых в Москве.

— Здравствуйте,— наконец сказала Вильгельмина на чистейшем берлинском диалекте.— Я рада, герр...— Она замолкла, не зная, как назвать его.

Негромко смеясь, Георгий любовался ею.

— Великолепно! — сказал он также по-немецки, но выговор его скорее имел провинциальный оттенок.— Великолепно, мадемуазель! — воскликнул он,

произнося французское слово слишком твердо — на немецкий манер, как и полагалось бы немцу.

Уступая ей дорогу, он провел ее в коридор. Когда они остались одни, сделав таинственные пассы руками перед ее лицом, точно гипнотизируя ее, Георгий сказал:

— Забудь Димитрова. Перед тобой Гельмут. Запомни: Гельмут!

Вильгельмина сказала, что в Германии она проездом. Ей необходимо ехать дальше, в другую страну, но только сейчас венгерский товарищ встретил ее на вокзале и предупредил, что ехать туда нельзя — там начались провалы, один за другим, видимо, действует провокатор. Она решила сойти с поезда и попросила венгерского товарища проводить ее к надежным людям.

— Что делать? — спросила она, переходя на русский язык.— Если надо все-таки ехать туда, я поеду.

— Ехать нельзя,— также по-русски суховато, поделовому ответил Георгий. Он замолк, раздумывая. Потом решительно сказал: — Никаких отъездов! Ты останешься здесь. Человек, владеющий языками, для нас — клад.

До приезда Вильгельмины Георгий жил совершенно так, как и окружавшие его люди: днем работал, усердно, с немецкой пунктуальностью, соблюдая часы завтраков и обедов, вечером бывал в кафе или ресторане, иной раз в театре, заходил к немецким товарищам или занимался в библиотеке. Он убеждал себя, что этот размеренный немецкий образ жизни не только нужен для конспирации, но и постепенно возвращает ему душевные силы.

Вильгельмина безупречно играла роль дочери богатых немецких коммерсантов. Где бы она ни оказывалась — в ресторане или кафе, на улице, в метро,

присутствуя на деловой встрече в качестве его секретаря,— всюду и всегда ей удавалось оставаться самой собой. Что же это: прирожденный талант конспиратора или результат волевого напряжения, сознания ответственности? А может быть, и то и другое? Откуда же у этой девушки столько нравственных сил?

Так получилось, что около Вильгельмины стали увиваться парни и девчонки из немецкого комсомола. Они, разумеется, знали, что Вильгельмина — работник международной комсомольской организации. По вечерам за ней заходили молодые люди в спортивных костюмах и куртках, и она убегала с ними кататься на лодках или уезжала вместе с шумной компанией, поджидавшей ее на улице, в загородные прогулки. Как далек он был от всей этой веселой кутерьмы!

Вот тогда-то с неожиданной и пугающей отчетливостью Георгий понял, что в душе его продолжает жить тоска, какая закралась в нее, едва он уехал от Любы.

Теперь, глядя на Вильгельмину и ее друзей, Георгий задавал себе вопрос: доступна ли ему, прожившему трудную и сложную жизнь, простая, человеческая радость бытия, какой полна была молодежь.

Однажды, преодолев внутреннее сопротивление, Георгий решил попроситься в молодежную компанию. Он знал те дни, когда они уезжали в Трептов кататься на лодках. В конце рабочего дня он пришел в ее комнату и, потоптавшись у окна, для начала спросил, как ей живется в Берлине. Вильгельмина по-своему поняла его вопрос и ответила, что с трудом одолевает «Анти-Дюринг» Энгельса. Георгий привык видеть ее уверенной, собранной, спокойной, теперь же она смотрела на него со странной робостью, и нежная краска смущения пробивалась на ее щеках.

— Гельмут!.. Ну почему я такая бесталанная? — сказала она, комично поморщив свой носик.— Неужели моего образования недостаточно, чтобы понять Энгельса?

— Может быть, и недостаточно,— серьезно сказал Георгий. Он уже не мог заговорить с ней о лодках.

— Гельмут, а что если я начну заниматься на вечернем отделении химического техникума? — спросила Вильгельмина с такой наивной робостью и неуверенностью, заглядывая снизу вверх в его лицо, что ему стало не по себе.

— Прекрасная мысль! — воскликнул Георгий, искренне обрадовавшись тому, что она сама, даже не подозревая того, пришла ему на помощь.— Правильно, это великолепная идея.

«Вот какая она! — говорил он потом себе.— А я-то, пожалуй, и не подозревал...»

В том, что она читала «Анти-Дюринг», не было ничего исключительного — все в их кругу изучали философскую литературу. Да иначе и не могло быть! Его поразило другое: чистота, искренность ее огорчений и ее настойчивость.

Но все-таки через несколько дней Георгий решился спросить о лодках.

— Кажется, сегодня,— безразличным тоном начал он,— ты едешь с ребятами в Трептов?

— Да,— ответила она, подняв на него ясные глаза.— Что, есть срочная работа? Я останусь.

— Да нет! — Георгий почему-то смутился.— Я хотел... Просто хотел проветриться немного. Возьмешь меня?

Вильгельмина опустила глаза.

— Хорошо, ребята будут рады...

 Она не сумела скрыть своих чувств.

— Поедем! — с ожесточенной решительностью сказал он.— Где они запропастились, твои парни?

Вильгельмина украдкой глянула на него, и тревожная и одновременно веселая усмешка мелькнула в ее глазах.

Через открытое окно с улицы донеслись мужские голоса, негромко и не очень стройно затянувшие песенку: «В маленькой кондитерской сидели мы вдвоем...»

— Это они! — оживленно воскликнула Вильгельмина, бросаясь к окну. Она легла на подоконник и, болтая ногами, заглянула вниз и помахала рукой. На улице запели громче и еще более нестройно, темп мелодии ускорился.

Оттолкнувшись от подоконника и соскочив на пол, девушка перехватила внимательный взгляд Георгия. Улыбка исчезла с ее лица, оно стало холодным и строгим.

XIV

Молча они вышли в вестибюль и стали спускаться по лестнице. Вильгельмина неожиданно остановилась. Георгий тоже остановился, думая, что она что-то забыла.

— Гельмут...— тихо произнесла она и запнулась.— Я хочу сказать тебе, что мы с Куртом решили пожениться... То есть, вернее, мы уже поженились. Фактически... Любовь сильнее бумажки о браке, не правда ли? — продолжала она, стараясь быть спокойной.— Я не хочу менять фамилию и получать паспорт в чужой стране. Мало ли какие осложнения это может вызвать там у нас, на родине! Или, может быть, даже затруднит возвращение...

Георгий хорошо знал Курта по немецкому комсомолу, и это признание обрадовало его.

— Что же...— сказал он и, взяв ее безвольную руку, прикоснулся к ней губами, как и в тот раз, когда они встретились впервые после Москвы.

Когда они вышли на улицу, Георгий решительно подошел к трем парням. Курт, зеленоглазый, невысокий, крепко стоявший на мостовой, с аккуратно зачесанными назад темными прямыми волосами, был среди них.

Берега озера в трептовском парке были утыканы ресторанчиками и открытыми верандами. Зелень плакучих ив спускалась к воде. Весело болтая, они взяли лодку. Первым в нее спустился Георгий и занял место гребца. Начались препирательства с парнями: они требовали, чтобы он, пожилой человек, сел на корму у руля, рядом с Вильгельминой.

— Поехали! — не слушая их, сказал Георгий. Он вытащил весло из уключины и без лишних слов оттолкнулся от пристани.

Он греб спокойно, откидываясь назад и с силой проводя лопасти весел в воде у самой металлически отблескивающей ее поверхности. Буруны от весел закипали уже за кормой. Парни одобрительно покачивали головами.

Курт, сидевший рядом с Вильгельминой, спросил:

— Гельмут, где ты научился так хорошо грести? Никогда не думал. Профессиональная работа!

— Однажды в море мне пришлось грести много часов,— оживляясь, сказал Георгий.— Дело закончилось в общем неудачно, а все-таки я не бросал весел до самого конца, хотя казалось, что не смогу уже больше выдержать...

Он поднял весла. Лодка по инерции легко скользила в воде. С весел падали тяжелые и блестящие, как ртуть, капли. В спокойной воде от капель расходились и вскоре исчезали круги, точно кто-то бросал в воду проволочные кольца и они тонули позади лодки. Георгий сидел, согнув колесом сильную широкую спину, и следил за исчезающими кругами.

— Гельмут, иди сюда на корму,— вдруг позвала Вильгельмина.— Пусть теперь гребет Курт.

Георгий отрицательно покачал головой.

— Удивительная вещь человеческая память,— сказал он, как будто разговаривая с самим собой.— В ней остается только то, что было самым важным в жизни, а все остальное, ненужное, растворяется, точно эти круги на воде. Потому-то человек и остается всегда самим собой... Знаете что! — воскликнул он и обвел оживленным взглядом молодые лица.— В другой раз, ребята, тоже захватите меня. Чертовски хорошо как следует погрести!

Он снова опустил весла и, откидываясь назад, резко и сильно рванул их на себя.

Дня через два Георгий сидел в зале второго этажа ресторана на углу Унтер ден Линден (Липовой аллеи) и Фридрихштрассе. Он ждал, когда придут Вильгельмина и Курт, которых он отдельно друг от друга пригласил сюда, не сказав зачем.

Первым появился Курт. Георгий подвинул ему стул. Курт сел, покосился на бутылку с вином, на три бокала и вазу с фруктами, но вопросов задавать не стал. Вскоре появилась Вильгельмина. На ней был ее безупречно отглаженный костюмчик, она шла легкой походкой ничем не занятой светской девушки. Увидев Курта, она невольно воскликнула:

— Как, и ты?

Курт безмолвно пожал плечами.

— Вот что, ребята, когда вы думаете оформлять ваш брак? — спросил без предисловий Георгий.

Курт, не двинувшись, спокойно смотрел на Георгия. Вильгельмина сказала:

— Я ведь говорила: мы считаем, что любовь соединяет нас крепче, чем брачное свидетельство.

Курт кивком подтвердил свое согласие.

— Предположим,— сказал Георгий. Глаза его смеялись.— Я даже уверен, что это именно так! — Он повернулся к Курту.— А ты не думал, что паспорт, который она,— Георгий скосил глаза на Вильгельмину,— получит при оформлении брака, будет гораздо лучше того, который у нее есть сейчас? Лучше для ее безопасности,— добавил он.

— Нет, не думал,— смущенно сказал Курт.

— Подумайте оба.— Георгий взял бутылку с вином.— А там, в Москве,— он взглянул на Вильгельмину,— если понадобится, я все объясню, будь спокойна.— Улыбаясь, он наполнил вином бокалы.— За счастье!.. Ребята, жизнь идет и никогда не останавливается. Никогда! — Он поднял свой бокал.— Чтобы вы, молодежь, прошли через метель и ушли дальше нас, стариков. Ну, выпьем!..

Вильгельмину Германовну Славуцкую я разыскал в Москве много лет спустя после того разговора в ресторане на углу Унтер ден Линден и Фридрихштрассе. Сложную жизнь прожила эта как-то по-молодому, очень живо и заинтересованно относившаяся ко всему, о чем мы говорили, женщина. Она сумела пройти через метель — уготованные ей судьбой испытания,— не сломившись, не отступив от самой себя.

А Георгий Димитров сдержал свое слово: он пришел ей на помощь в самую критическую минуту ее жизни, всей правдой своего сердца после войны отстоял ее от тягчайшей несправедливости...

В разгар жаркого лета в сопровождении Вильгельмины Георгий поехал во Франкфурт на конгресс Антиимпериалистической лиги. Ехал он нелегально, под чужим именем. Вильгельмина играла роль незнакомой ему пассажирки и в случае его ареста должна была предупредить товарищей.

Из конспиративных соображений, запутывая возможную слежку, они приехали во Франкфурт уже после открытия конгресса.

Георгий с волнением вошел в зал. То личное, неспокойное, что скапливалось в душе, отступило. Он сразу ощутил единодушие собравшихся: шел суд народов над империализмом и колониализмом. Поразительнее всего было то, что на конгресс съехались совсем разные по занимаемому положению, по своим политическим симпатиям и устремлениям люди. Здесь были и социал-демократы, и лейбористы, и члены Индийского национального конгресса, и гоминдановцы, и коммунисты, и члены профсоюзных организаций США и стран Латинской Америки, представители Африки... Делегатов роднила общая для всех тревога за судьбы мира и демократии и политическое и морально-этическое неприятие лжи, лицемерия и агрессивности — всего того, что представляет собой проявление империализма.

Георгия захватили речи, волнение зала, аплодисменты. Все это было для него издавна привычным, родным, возбуждало и радовало его так же, как возбуждает и радует всякого человека встреча с людьми,

которые увлечены одним делом, одной общей страстью, одним устремлением. В этом зале и за стенами его, в близких и далеких странах ощутимо возникал единый фронт, о котором говорили многие, часто всего лишь декларируя идею. Здесь идея стала действием. Разве не о том, что являл собой этот конгресс, писал Ленин в «Детской болезни «левизны»...»: в трудной борьбе нужен массовый союзник — пусть временный, шаткий, ненадежный. Кто этого не понял — так, кажется, у Ленина,— тот не понял ни грана в марксизме и в научном современном социализме вообще...

Во время перерыва в одной из рабочих комнат конгресса Димитров увидел Эрколи. Даже мысленно Димитров старался не называть Тольятти его подлинным именем, к чему приучила всегдашняя конспирация,— как бы где-нибудь в неподходящем месте не произнести фамилии, хорошо известной итальянской, французской, австрийской, германской полиции. После ареста фашистами в 1926 году секретаря Итальянской компартии Грамши Тольятти стал ее генеральным секретарем. Затем был избран в члены президиума Исполкома Коминтерна. Жизнь подтвердила справедливость тех впечатлений от марксистской подготовленности Тольятти, которые остались у Димитрова после встреч с ним в Москве летом 1924 года.

Эрколи только что приехал из Парижа, где уже в течение нескольких лет возглавлял Заграничный центр своей партии. Они встретились сдержанно, чтобы не привлекать к себе внимания заполнивших комнату малознакомых им людей. Рукопожатие их было в меру — и не очень крепким и не очень продолжительным, но молодые глаза Эрколи за стеклами очков смеялись, и Димитров отвечал ему таким

же по-дружески теплым взглядом. Они отошли в сторону от толпившихся около столов делегатов конгресса и перекинулись парой слов. Тольятти, так же как и Димитров, был поражен единодушием разных по своим политическим взглядам людей и считал, что конгресс отражает серьезные сдвиги в сознании таких слоев общества в разных странах, которые прежде были далеки от политической борьбы против империализма или, участвуя в ней, не понимали ее истинной направленности.

Разговор с Тольятти заставил Димитрова с еще большим вниманием выслушивать выступления делегатов. Да, что-то новое пробуждается в жизни. Ну, а что думают обо всем этом там, в Москве?

Он решил встретиться с Косаревым, делегатом конгресса. Георгий хорошо знал и любил его. Хотелось просто поговорить с ним, узнать, как он воспринимает то, что происходит в зале. Да, просто поговорить! Но как это сделать? Могла быть слежка...

XV

На следующий день Георгий вошел в один из ресторанов, сопровождая Вильгельмину — богатую молодую даму. Они заняли столик посреди зала. Георгий, галантный кавалер, нагнулся поднять оброненный Вильгельминой платочек. С непринужденностью завсегдатая ресторанов помогал даме справиться с меню завтрака, шутил с кельнером. Он умел держаться в обществе, и все шло хорошо. Уголком глаза он заметил четверых мужчин, входивших в ресторан. Косарев был среди них. Мужчины заняли столик у окна.

— Посмотрите, кто там! — воскликнул Димит-

ров, обращаясь к Вильгельмине.— Привет друзьям! — весело и громко сказал он и помахал им рукой. Затем обратился к кельнеру: — Это наши друзья, мы хотим пересесть за их столик...

Пока Вильгельмина болтала с немецкими товарищами, сопровождавшими Косарева, Георгий вел с ним деловую беседу. Так же как и Георгий, Косарев был поражен единодушием участников конгресса.

— А ты помнишь?..— то и дело восклицал Косарев со своей обычной напористостью.— Нет, ты помнишь, как они долбили империалистов? Вот, например, этот... Как его? — И он принимался рассказывать о каком-нибудь наиболее понравившемся ему выступлении.

Георгию трудно было высказать собеседнику то, что он сам еще не смог как следует понять, обдумать, оценить. Он видел, что и Косарев также под властью силы этого единения, что и он не может до конца понять и взвесить увиденное и услышанное. Но и то, что Георгий почувствовал в своем собеседнике, было достаточно для раздумий и споров с самим собой.

Из ресторана они выходили вместе. Косарев рванулся к двери, опередив Вильгельмину.

— Что ты делаешь, Саша! — тихо воскликнула она, беря его под руку.— Даму надо пропустить первой, иначе любой шпик поймет, что ты не тот, за кого себя выдаешь.

— Извини,— взмолился Косарев,— я просто медведь...

Какой-то человек в черном фраке через стекло вестибюля наблюдал за ними.

На улице они быстро разошлись и смешались с толпой.

 Из Франкфурта в Берлин Георгий и Вильгельми-

на уехали за день до закрытия конгресса. Каждый из них на вокзале получил от товарищей заранее взятые в два соседних купе билеты. Георгий вошел в вагон с клетчатым пледом на руке, опираясь на трость: пожилой, респектабельный путешественник.

Рано утром он был уже на ногах. Пережитое во Франкфурте не давало ему спокойно спать. Ради того, что произошло там, в зале конгресса, стоило жить на чужбине, следить за каждым своим шагом и заглушать в себе тоску одиночества, слишком медленно растворявшуюся в будничных делах, но теперь поблекшую и отступившую в глубину сознания. Жизнь, полная новых проблем и странных противоречий, была перед ним.

Улыбаясь, Георгий вспоминал катание на лодках в Трептове. Он благодарил в душе Вильгельмину за частицу радости жизни, которую она отдавала и ему, и другим окружавшим ее людям.

До Берлина оставалось около часа, когда Георгий услышал в соседнем купе, где ехала Вильгельмина, глухой шум от упавшего тела. До этого момента они ни разу не встретились и не заговорили — ехали, как совершенно незнакомые люди. Их купе разделялись небольшой туалетной комнатой; тот, кто занимал ее, закрывал дверь к соседу. Теперь, не обращая внимания на конспирацию, Георгий быстро прошел через туалетную комнату в соседнее купе. Там на полу лежала Вильгельмина.

Поезд мчался, дергаясь из стороны в сторону на стрелках пригородных станций. Голова Вильгельмины на коврике у дивана мерно вздрагивала в такт качавшемуся вагону, глаза были закрыты. Мертвенная бледность растеклась по ее лицу. Опустившись подле нее на колени, Георгий едва нашел слабый пульс.

Что произошло и как теперь быть? Он резко встал и попробовал, заперта ли дверь в коридор. Дверь не поддавалась. Значит, здесь никого не было.

Георгий поднял Вильгельмину, положил ее на диван и отпер дверь купе. Потом вернулся к себе и вскоре появился в коридоре старым человеком: плечи его были опущены, он придерживался за стенки вагона. Ему хотелось действовать стремительно, он боялся за Вильгельмину, но заставлял себя медленно ковылять к проводнику в конце коридора.

— Господин проводник,— сказал он строгому усатому старику в темной форме железнодорожной администрации,— я услышал сильный шум в соседнем купе и увидел там молодую даму в обмороке. Вероятно, ей нужен нашатырный спирт и стакан крепкого чая.

Старик засуетился. Он протянул Георгию пузырек с лекарством и принялся готовить чай.

Нашатырный спирт быстро привел Вильгельмину в чувство.

— Наверное, сердечный приступ,— сказала она.— У меня побаливало сердце, когда я садилась в поезд, но я уже никому не могла сказать, а остаться было нельзя. Я так переволновалась за эти дни... Немножко полежу, и к приходу поезда в Берлин все будет в порядке...

Георгий стоял подле нее, насупившись, сжав зубы. Он ругал себя в душе. Как же он не смог заметить, какой дорогой ценой доставалось ей самообладание и естественное поведение на людях, ее заботы о всех тех, кого надо было оградить от шпиков, излишних волнений и житейских забот? А ему-то казалось, что она живет играючи и все для нее просто.

 И она еще просит извинить ее! Вот они, молодые,

те, что добровольно идут через метель и уйдут дальше!..

Его губы непроизвольно дрогнули, Вильгельмина с тревогой глядела на него. Георгий пересилил себя, и в глазах его заиграла улыбка, Вильгельмина слабо улыбнулась в ответ.

— Ничего, ничего...— заговорил Георгий.— Так держать, Мишка! Так держать!..

Вошел проводник со стаканом чая на подносе.

— Мы сделаем все, что необходимо,— принялся он успокаивать Георгия.— Администрация вокзала вызовет такси и доставит даму туда, куда она укажет. Это не первый случай, все будет улажено.

Вильгельмина в изнеможении откинула голову на подушку. Приехать в такси, да еще, может быть, привести за собой шпика на нелегальную квартиру, где они жили с мужем,— этого еще не хватало!

Георгий вышел из купе вслед за проводником, прикрыл за собой дверь и с видом старого ловеласа, подмигивая ему, сказал:

— Господин проводник, предоставьте мне возможность самому позаботиться о молодой даме...

Старик понимающе нагнул голову.

За окном тянулись сонные ранним утром, аккуратные немецкие домики городской окраины. Потом поезд прогрохотал по эстакаде над улицей среди закопченных многоэтажных зданий и стал замедлять бег, приближаясь к одному из многочисленных берлинских вокзалов.

В Берлине Димитров вновь встретился с Эрколи. Теперь уже более спокойно и обстоятельно они говорили о том, чему стали свидетелями на конгрессе. В их личных судьбах было много общего: оба они, изгнанники из своих стран, скитались на чужбине, и оба, может быть раньше других, стали видеть слабые

стороны фашизма. Тольятти сказал, что появление фашизма в ряде стран у порога тридцатых годов далеко не случайно, и не случайно фашизму в той или иной стране неизменно сопутствует концентрация политической, военной и государственной власти. В этом его сила, но в этом и его слабость. Если союз партии и народа против диктатуры капитала достаточно един и широк, фашизм в той или иной стране не обязательно должен прийти к власти.

Димитров согласился и рассказал о своих статьях осени двадцать третьего года в Болгарии, прямо вытекающих из ленинских идей о союзниках пролетариата.

Тольятти слушал его, плотно сжав губы.

— Мы все придем к этим идеям. Неизбежно! — сказал он.— Надо найти лишь форму...

XVI

Осенью Георгий получил известие о том, что здоровье Любы резко ухудшилось. Как ни подготавливал он себя к тому, что катастрофа близка и что Люба уходит из его жизни, короткое сообщение из Москвы оглушило его. Он не мог уже спокойно работать и при первой возможности выехал в Москву.

Случилось то, что когда-то предвидела сама Люба, что страшило Георгия все последние годы, висело над ним как проклятие и с чем он никогда не мог примириться. Врачи настояли на том, чтобы Люба легла в клинику по нервным заболеваниям. Георгий постарался окружить ее всеми удобствами, какие только возможны в больничной палате. Она платила дорогой ценой за свою преданность поэзии революции и верность любви. Да, Люба давно стала пони-

мать, какой будет расплата, шла на это ради того, чтобы до конца не изменять долгу, гражданской совести, идее великого братства, которая в двадцатом столетии сменила трагический героизм одинокой человеческой совести Гамлета.

Как ни тяжелы были утраты последних лет, с неумолимой жестокостью следовавшие одна за другой, Георгий нашел в себе мужество не быть пассивным, не впадать в беспросветную скорбь — не это его удел. Нет! Война всему, что убило Любу, чьей жертвой пали Никола и Тодорчо и тысячи других светлых жизней! Он отдаст свой разум и свое сердце для победы в этой священной войне. Пусть отныне его жизнь будет суровой и жестокой — другого выбора у него нет. Так он поклялся самому себе.

Как раз в те дни была объявлена очередная амнистия болгарским политическим эмигрантам. Но ни Георгий, ни многие другие эмигранты не подпали под нее, и Георгий снова уехал в Берлин.

Тяжко и душно было ему одному без Любы на постылой чужбине. Но он не предался апатии, не погрузился в свое горе. Он изъездил Европу в поисках путей для возвращения на родину, где осталась его партия, где жили близкие и друзья, где мил даже воздух гор и долин, вспоивший его. Вена, Прага, Амстердам, Париж, Брюссель... Дважды он встречался с Анри Барбюсом — в Амстердаме и в Париже, с чешским профессором Неедлы, с Цвейгом, с Роменом Ролланом. Лучших, честнейших людей — совесть мира — заклинал он поднять свой голос в защиту справедливости и демократии. Но они оказались бессильны. Мир был захвачен предчувствием грозных событий. Города Германии превратились в плацы для парадов и бесчинств национал-социалистов. Маршировали по улицам колонны «Стального шлема» —

гвардии генерала Шлейхера, искавшего будущее Германии в реакционном национализме.

Но вот среди грохота военных парадов и выстрелов из-за угла в политических противников фашизма раздался смелый голос женщины с белоснежными волосами, поднявшейся на трибуну рейхстага,— Клары Цеткин. Тяжелобольная, она приехала из Советского Союза, где лечилась, в Германию, чтобы в качестве старейшего депутата открыть рейхстаг.

— Числящийся за президентским кабинетом счет, по которому он несет ответственность, чрезвычайно сильно отягчен убийствами последних недель,— гневно говорила Клара Цеткин в притихшем зале рейхстага.— Кабинет несет полную ответственность за эти преступления, ибо он отменил запрет национал-социалистских штурмовых отрядов и открыто поощряет деятельность фашистских боевых организаций... В единый революционный фронт должны включиться все, кто продает свой труд, становится данником капитализма и жертвой его эксплуататорской и порабощающей системы... Я открываю рейхстаг по обязанности, в качестве старейшего депутата его. Я надеюсь дожить еще до того радостного дня, когда я по праву старшинства открою первый съезд Советов в советской Германии.

Выступление Клары Цеткин в немецком рейхстаге напомнило Георгию ее письмо к Любе, в котором она говорила, что болезнь мешает ей бороться так, как хотелось бы. Нет! Старая, больная немецкая коммунистка сумела перешагнуть и через старость, и через болезнь и бесстрашно явиться в Германию, чтобы бросить в лицо фашизму и тем, кто вел его к власти, свои отчаянно смелые и правдивые слова.

В начале 1933 года, исколесив почти всю Европу, Георгий снова вернулся в Германию и, пренебре-

гая смертельной опасностью, принял участие в происходившей в Мюнхене нелегальной конференции Итальянской и Югославской компартий.

27 февраля Георгий выехал из Мюнхена, а на следующий день, утром 28 февраля, его поезд уже подходил к Берлину.

На последней остановке Георгий увидел экстренные выпуски газет, полные фотографий и сообщений о поджоге рейхстага коммунистами. «Это провокация нацистов в связи с выборами в рейхстаг»,— в волнении подумал Георгий.

Когда просматриваешь газеты того времени, сталкиваешься с рядом противоречивых сообщений о поджоге рейхстага. Причина понятна: нацисты стремились скрыть правду, запутывали следы.

Спустя много лет, сопоставляя множество фактов, мемуаров, допросы на послевоенном Нюрнбергском процессе, начинаешь понимать, что наиболее точно события изложены в секретном письменном докладе руководителя группы поджога Карла Эрнста, убитого 30 июня 1934 года.

Вот что в действительности произошло.

Вечером 27 февраля 1933 года, точнее — в 20 часов 20 минут, когда мюнхенский поезд, в котором ехал Димитров, едва тронулся в путь, в Берлине в подземный ход, соединяющий дом Геринга с рейхстагом, спустился Карл Эрнст с двумя помощниками. На них были коричневая полувоенная форма и резиновые галоши — мера предосторожности против обнаружения следов служебными собаками. Обергруппенфюрер Карл Эрнст два дня назад заставил своих подчиненных дать клятвенное обещание сохранить в тайне предстоящую операцию. Для каж-

дого из них было ясно: это не клятва чести, а угроза смертью. 25 февраля они доставили в подземелье полученные от Геринга коробки с самовозгорающимся фосфором и бидон с керосином. Но не подожгли. Операция была отложена. Геббельс обратил внимание Геринга и Гитлера на то, что 25 февраля — суббота. В воскресенье выходят только утренние газеты, и, стало быть, настоящей сенсации не получится. Идея «операции» принадлежала ему, и он хотел, чтобы ее провели с максимальным эффектом для партии.

В результате две ночи Эрнст не мог спокойно спать. Стоило кому-нибудь из служащих рейхстага обнаружить в подвале под зданием зажигательные средства, и это кончилось бы для него смертью от пули или яда — на улице, в казарме, в собственном доме,— где бы его ни застигли исполнители негласного приговора. Эрнст прекрасно знал, как это делается. В партии есть ячейка «Г», приводящая в исполнение тайные смертные приговоры над провинившимися, слишком много знающими о делах партии и уже тем опасными людьми или политическими противниками. Шеф Эрнста Гейнес — лет сорока двух, благообразное лицо, аккуратный пробор справа, мягкий взгляд, вежливая, мягкая улыбка, пестрый галстук,— тайный убийца ячейки «Г», стрелял без промаха.

Поджигатели дождались, когда мерные шаги служителя рейхстага, совершавшего вечерний обход, затихли в отдалении. Затем подхватили небольшие коробки с фосфором, бидоны с керосином и вскоре оказались в зале заседаний рейхстага. Один из штурмовиков вернулся в туннель за оставшимися зажигательными материалами. Тем временем Эрнст и его помощники облили шторы и ковры керосином и об-

мазали столы и стулья самовоспламеняющимся фосфором. Работали быстро и молча. Закончили за двадцать минут. В 21 час 05 минут поджигатели, никем не замеченные, тем же путем удалились в дом Геринга.

Через некоторое время в объятом огнем здании рейхстага на внутренней лестнице полиция схватила полуобнаженного молодого, но рыхлого человека с отечным, измазанным копотью лицом. Он держал в руках горящую скатерть с ресторанного столика. Схваченный назвался голландцем Ван дер Люббе. Его допрашивали в небольшой комнатке, забитой несколькими десятками чиновников из различных ведомств, и он едва успевал отвечать. Он сообщил, что разбил стекло в нижнем этаже здания и влез через окно в пустой зал ресторана. Здесь он поджег скатерть и вскоре был схвачен. Маленький пожар в пустом ресторане рейхстага, устроенный Ван дер Люббе, был дополнением к главному в зале заседаний.

Таковы истинные обстоятельства поджога рейхстага, установленные по многим бесспорным документам, хотя Геринг даже в предсмертный час на Нюрнбергском процессе продолжал лгать...

Берлин поразил Георгия. Мчались закрытые полицейские машины, на тротуаре серебрились в изломах осколки зеркального стекла из витрины магазина, владелец которого, судя по фамилии на вывеске, был евреем. Из подъезда дома штурмовики выволакивали на улицу полуодетого человека в разорванной сорочке. Вталкивали в машину женщину с растрепанными седыми волосами.

Георгий не узнавал города, с которым у него было связано столько воспоминаний — и горьких, и

печальных, и радостных,— воспоминаний о трудной и все-таки дорогой ему жизни. Разве в этом обезумевшем городе катался он с молодежью на лодках? Здесь ли он в феврале двадцать первого года бродил с Любой по мрачноватым, полным немецкой деловитости и порядка улицам? Здание рейхстага — они были тогда и в рейхстаге — казалось непоколебимым символом добропорядочной немецкой демократии.

Безотчетное внутреннее напряжение все более овладевало Георгием. Ему начинало казаться странным, что с ним ничего не происходит в этом новом и незнакомом Берлине. Он остается самим собой посреди безумия. На него никто не указывает пальцем и не кричит с диким хохотом: «Что ты тут делаешь, нормальный человек, зачем ты расхаживаешь среди нас, разве ты не понимаешь, что все видят, какой ты урод по сравнению с нами!»

XVII

Новые подробности о поджоге рейхстага — а ими полны были берлинские газеты — еще более укрепили Георгия в мысли о том, кто истинные виновники грандиозной провокации.

Вот что произошло тогда же, вечером 27 февраля 1933 года.

К пылающему во тьме зданию рейхстага первой примчалась машина Геринга. В момент возникновения пожара, как писали в газетах, он оказался недалеко от рейхстага, в прусском министерстве внутренних дел. Это и дало ему возможность тотчас же
 приехать к месту происшествия. Затем появилась

машина с Гитлером и Геббельсом. Гитлер был в гостях у Геббельса, и потому они приехали вместе.

Гитлер! Он мог стоять на парадах, забывшись и сложив руки на животе, как немецкая домохозяйка в очереди за мясом. Но стоило ему попасть на трибуну, он превращался в безумца.

В этот вечер, расхаживая среди собравшихся на пожар, он нервно поджимал свои коротко подбритые усики. Мускулы лица его в неверных отсветах пламени подергивались. Теряя власть над собой, он быстро заговорил:

— Это перст божий! Теперь ничто не помешает нам уничтожить коммунистов железным кулаком...— Гитлер обернулся к Сефтону Дельмару, корреспонденту лондонской газеты «Дейли экспресс», клеветавшей на рабочее движение.— Вы свидетель новой великой эпохи в немецкой истории,— воскликнул он, возбуждаясь все больше.— Этот пожар — ее начало!

Тощий Геббельс, прихрамывая, подошел к ним и, вторя Гитлеру, воскликнул:

— Это сигнал!

Дельмар записывал в свой блокнот слова фюрера, чтобы ночью передать их по телефону в Лондон.

К тучному Герингу подошел гардеробщик рейхстага, член национал-социалистской партии Роберт Кольс.

— Я знаю,— заявил он,— что председатель коммунистической фракции Торглер был в рейхстаге в момент возникновения пожара.

Геринг, уезжая с пожара, посадил в свою машину Кольса, привез его в прусское министерство внутренних дел и там лично допросил.

В 11 часов вечера Геринг и руководитель берлинских штурмовиков Гельдорф отдали приказ об

аресте всех коммунистических функционеров и некоторых социалистов и пацифистов.

Тогда же, через несколько часов после поджога рейхстага, президент республики фельдмаршал Гинденбург — тот, кто в январе поручил Гитлеру сформировать правительство,— подписал «чрезвычайный декрет для защиты народа и государства». Отменялась или ограничивалась свобода личности и печати, свобода собраний и союзов, отменялась тайна почтовой корреспонденции, телеграфных и телефонных разговоров...

На другой день по нелегальным каналам Георгий получил известие из Москвы: Люба при смерти. Он готов был сейчас же немедленно мчаться в Москву. Но сделать это было не так-то просто.

Вскоре вечерняя газета «Нахтаусгабе» напечатала сенсационное сообщение: на нелегальной квартире арестован руководитель немецких коммунистов Эрнст Тельман. Новое несчастье! Удар по Германской компартии. Георгий хорошо знал Тельмана, они были друзьями.

Георгий метался из угла в угол по своей комнатке, которую снимал у двух весьма положительных и почтенных супругов.

Хозяйка квартиры постучала к нему.

— Опять зубы, господин Гедигер?

Недавно зубная боль мучила его, и хозяйка посоветовала обратиться к знакомому дантисту.

— Да,— пробормотал Георгий,— надо опять навестить врача...

Он проклинал в душе жалостливость пожилой немки, мешавшей ему сосредоточиться и принять необходимое решение.

— Я принесу вам горячий настой шалфея,— участливо сказала хозяйка.

Через несколько дней он шел на встречу с друзьями в ресторан, где часто бывал. Незадолго до условленного времени он петлял по соседним улицам, раздумывая, как быть. Тревога за Тельмана заставила его решиться: он направился к ресторану, предполагая узнать подробности о его судьбе.

В ресторане уже ждали расположившиеся за столиком болгары-эмигранты Попов и Танев. Неожиданно ворвалась полиция. Отряд вел знакомый Георгию кельнер ресторана Гельмер.

— Вот они! — вскричал Гельмер, указывая на Георгия и его товарищей.— Я видел их здесь в обществе поджигателя Ван дер Люббе.

Полицейские окружили болгар, раздалась резкая команда:

— Руки вверх!

Медленно поднимая руки и с хмурым прищуром поглядывая на полицейских и на возбужденного, тяжело дышавшего Гельмера, Георгий думал о том, что сталось с кельнером — казался прежде нормальным, а сейчас обезумевшим человеком. На какое-то мгновение Георгию показалось, что все происходит так, как и должно было произойти, потому что нормальные люди слишком выделяются среди безумцев и не могут долго оставаться незамеченными. Потом Георгием овладело беспокойство: сумеет ли он вырваться на свободу до того, как сердце Любы перестанет биться, сумеет ли увидеть ее в последний раз? Он поборол в себе слабость и со спокойным презрением смотрел в глаза полицейским. Отныне его союзники — разум и смелость — единственное, что может устоять перед безумием.

Троих арестованных отвезли в полицейской машине к зданию рейхстага. В зале Бисмарка их ждал крепко скроенный человек — комиссар уголовной

полиции Брашвиц. Началась обычная процедура допроса.

«Сегодня 9 марта,— подумал Георгий.— Когда же удастся вырваться?»

— Полиция имеет неопровержимые доказательства вашей связи с Ван дер Люббе и соучастия в поджоге рейхстага,— заявил Димитрову Брашвиц.

— Я протестую против чудовищного обвинения,— возразил Димитров.— Это ложь!

— Подпишите протокол полицейского дознания,— сказал Брашвиц. Его лицо выражало упрямое равнодушие служаки, привыкшего выполнять свою работу спокойно и методично.

— Я отказываюсь подписывать искаженные и неполные записи допроса,— ответил Димитров.

Брашвиц, сжав тонкие прямые губы, посмотрел на Димитрова. Пожалуй, впервые за время допроса на лице его отразилось испытываемое им холодное презрение к иностранцу, осмелившемуся подвергать сомнению действия комиссара германской уголовной полиции.

— Вы имеете дело с германской полицией,— заметил Брашвиц.

Димитров, не опуская глаз перед взглядом Брашвица, твердо сказал:

— Я не питаю ни малейшего доверия к германской полиции, как, впрочем, и к полиции вообще. Все, о чем я сочту нужным сказать, будет изложено мной в собственноручно написанном документе.

Из помпезного зала Бисмарка его отвезли в тюрьму при полицей-президиуме. Узкая камера, жесткая койка. Он почти доставал локтем противоположную стену. Ночью из соседних камер доносилась ругань, слышались вопли и стоны. До середины ночи он так и не мог уснуть. Утром все-таки встал со свежей го-

ловой и принялся обдумывать заявление полицейским властям, которое обещал Брашвицу. Пожалуй, единственным способом защиты могла быть лишь защита идей коммунизма, отвергающих индивидуальный террор и авантюризм. Чудовищной лжи обвинения он должен противопоставить правду своей политической борьбы. Да, да — только правду.

Раздумывая над этим и все больше укрепляясь в правильности принятого им решения, Георгий снова и снова мысленно выверял весь свой путь и путь партии со всеми удачами и ошибками. Он заново — в который раз! — переживал тягчайшие для партии и революционного движения в Болгарии последствия необдуманного взрыва Софийского собора. Ему ведь сразу было ясно, что на путь мести и ответного террора некоторые его товарищи вступили в порыве отчаяния и самозащиты. И еще тогда он отверг и осудил такой путь в письме ЦК. Странным образом круг замыкался, его самого обвиняли теперь в преступлении, подобном взрыву Софийского собора.

Да... Способ защиты, который он избрал, может стоить ему жизни, но другого выбора нет. Пусть столкнутся безумие с разумом, ложь с правдой, коварство с прямодушием, брань с иронией, издевательство со спокойствием, бесчестье с честью!.. В конце концов, не все безумны даже в Германии.

XVIII

С первых дней ареста у Георгия отобрали очки. Напрягая зрение, щурясь — как-никак ему шел уже шестой десяток,— испытывая резь в глазах и головные боли, он принялся писать заявление полицейским следственным властям. Он раскрывал свое

подлинное имя, политическую биографию, открыто защищал свою приверженность программе Коммунистического Интернационала.

Заявление было закончено и передано следственным властям 20 марта.

Ставя эту дату в конце документа, Георгий удивился: прошло всего одиннадцать дней. Неужели всего лишь одиннадцать дней?..

Письмо полицейскому следователю не оставляло никаких путей для отступления. Когда документ был передан по назначению, Георгий как-то внутренне успокоился — на душе его стало легче. Так случалось с ним после мучительных поисков; найдено решение, выбор сделан — наступала пора действовать. Исчезло странное ощущение нереальности и непрочности происходящего, какое овладело им, когда он вернулся в Берлин. Мысль сосредоточилась, сконцентрировалась в ослепительном фокусе. Просыпаясь по утрам, он обдумывал свои дальнейшие действия.

Следовало установить связь с внешним миром, и прежде всего с Барбюсом и Роменом Ролланом. Они не поверят фашистской пропаганде и, зная Георгия по недавним встречам, непременно встанут на защиту его и его товарищей. Но как это сделать?..

Вместе с очками полиция отобрала у Георгия все деньги, и первое, что необходимо было предпринять,— это найти способ оплатить почтовые расходы, иначе письма не будут отправлены за границу.

Тогда он написал местное письмо госпоже Крюгер, хозяйке квартиры, где он жил некоторое время. Госпожа Крюгер была спокойной, тихой женщиной. Она осталась без мужа, и ей едва удавалось сводить концы с концами: она воспитывала двух девочек — одиннадцатилетнюю Адельхайд и десятилетнюю Ан-

нелизе. Георгий был добр к девочкам, по праздникам приносил им недорогие подарки, и госпожу Крюгер трогало внимание Георгия. Это был единственный человек с берлинским адресом, которому можно было писать, не рискуя выдать полиции товарищей по партии. Георгий сообщал ей об аресте, о том, что невиновен, просил прислать почтовых марок и немного денег. Надеялся, что письмо дойдет по назначению, хотя бы потому, что полиции захочется установить его берлинские связи.

Расчет оказался верным. Вскоре ему передали ответ госпожи Крюгер и маленькую посылку. Она прислала почтовых марок и денег, пачку папирос, хлеб, колбасу. Госпожа Крюгер писала, что ей разрешили через десять дней принести новую передачу. Это была первая победа и первая поддержка оттуда, с воли, первый праздник в его тесной камере.

В конце марта Георгия перевели в тюрьму предварительного заключения Моабит. Должно было начаться уже не полицейское, а судебное следствие. Камера в новой тюрьме была просторнее. В ней помещались стол и скамейка, приклепанные к стене, койка и полочка с вешалкой. Под потолком в толстенной стене было прорезано небольшое окно. И стены, и скудная мебель, и пол были гораздо добротнее, чем в софийской тюрьме, но только в этом и была разница.

Георгий вошел в новую камеру в новой тюрьме с уже заранее составленным планом действий. Он знал, что и судебные чиновники подготовились к борьбе. Полицейские следователи, в чьем ведении он находился до сих пор, не могли, разумеется, не сообщить своим коллегам по следующей судебной инстанции о манере Димитрова не подписывать протоколов и отвечать только то, что он сочтет нужным. Именно

поэтому на новом месте можно было ждать чего угодно — избиения, пыток, но Георгий, уже однажды решившись, не испытывал никаких колебаний.

Способ защиты, который он избрал для себя, требовал выяснения исторических корней безумия, охватившего Германию. Это не чья-то прихоть, не вспышка массового психоза, свалившегося с неба. Надо найти его корни — экономические, политические, философские. Пусть тюремщики готовят пытки. Он будет готовить свой разум. Он написал письмо тюремному библиотекарю и вскоре получил «Историю Германии» Шефера.

В тот же день, увидев в руках тюремного надзирателя газету, он вежливо попросил ее. Это была первая газета почти за три недели. Голодный не впивается с такой жадностью в кусок хлеба, с какою он впился глазами в фашистский листок «Моргенпост».

Заметка о разоружении «Стального шлема» — гвардии националистов. Значит, отныне штурмовики — полные хозяева положения, буржуазная оппозиция Гитлеру сломлена.

Вместе с тем телеграммы корреспондентов из Лондона, Брюсселя, Парижа убедительно свидетельствовали о том, что за границей начинаются протесты против фашистских зверств.

Через несколько дней, 3 апреля, Георгия вызвали на допрос к следователю, советнику имперского суда Фогту.

Встреча состоялась в скупо обставленной светлой комнате. Выйдя сюда из темного коридора, Георгий сощурился от света, и только опустившись на стул против следователя, мог разглядеть его как следует: небольшой человечек, жесткий, точно накрахмаленный — до блеска выбритые щеки, твердый воротничок, отточенные движения...

— Когда вы это писали? — резко спросил Фогт, протягивая Димитрову бюллетень Коммунистической партии Германии о поджоге рейхстага.

Переводчик Тарапанов, сидя здесь же, перевел вопрос на болгарский. Георгий сделал невольное движение, чтобы взять документ, но Фогт отдернул руку.

— Спокойно! — скомандовал Фогт.

Георгий пожал плечами, откинулся на спинку стула.

— Я в первый раз это вижу,— сказал Георгий.

— Когда вы писали? — снова спросил Фогт и, вытягивая шею, заглянул в лицо Димитрову.

Георгий молчал.

Фогт на мгновение потерял власть над собой и, подпрыгнув на стуле, завизжал:

— Вы будете отвечать следователю, советнику имперского суда, или нет?

Георгий окинул Фогта насмешливым взглядом и спокойно сказал:

— Я уже ответил.

— Вы жестоко поплатитесь за свою дерзость и за каждое слово лжи,— процедил сквозь зубы Фогт, записывая что-то в протокол. Щеки его расцвели лиловыми пятнами.— Фогт никогда не бросает своих слов на ветер,— добавил он, окончив писать.

«Мелочной идиот и иезуит,— думал Георгий.— Годен для ведения мелких уголовных дел, но не политического процесса...»

Фогт положил ручку на место и некоторое время молча изучал подследственного. Потом деловито сказал:

— Расскажите о плане коммунистического восстания, сигналом для которого должен был послужить поджог рейхстага.

Димитров кинул на Фогта презрительный взгляд. Он готов был взорваться, но, сдержавшись, ответил:

— Подобные действия категорически и решительно осуждаются Коминтерном и Коммунистической партией Германии, как недопустимые, бессмысленные и вредные для дела коммунизма и пролетариата.

Фогт сидел все в той же позе, но Георгий почувствовал, что по лицу следователя пробежала почти неуловимая тень неуверенности и сомнения: в сухом, деловом ответе Димитрова Фогт угадал внутреннюю силу человека, который в полной его, Фогта, власти и не желает этой власти подчиняться.

Фогт задал еще несколько вопросов и, не получив того, что стремился получить,— Димитров бесстрастным тоном сообщал сведения, уже названные в заявлении полицейским властям, отрицал обвинения,— принялся просматривать протокол дознания. Потом протянул бланки Димитрову.

— Подпишите,— сказал он и, словно уверенный, что Димитров немедленно начнет читать записи допроса, потянул к себе какие-то бумаги и углубился в них.

Георгий неподвижно сидел на своем месте, молчал.

— В чем дело? — спросил Фогт.

Георгий усмехнулся.

— Я должен сказать господину советнику имперского суда,— заявил он,— что не буду подписывать никаких протоколов, изложенных неполно и составленных тенденциозно.

На тонкой шее Фогта появилась и медленно багровела полоска натертой кожи.

— Вы смеете обвинять Фогта, всегда безукоризненно ведущего следствие Фогта, в обмане?

— Господин советник имперского суда меня не понял,— бесстрастным тоном сказал Димитров.— Я никого здесь не обвиняю. Обвиняют меня, и потому я изложил факты так, как счел нужным, в собственноручно написанном заявлении. Я просил направить господину следователю имперского суда свое заявление, переданное...

Фогт перебил Димитрова:

— Меня не касается то, что вы писали там,— он вздернул руку с накрахмаленной манжетой, указывая в окно,— у полицейского следователя. Я веду следствие сам, и меня интересует только то, что подследственные говорят на допросе, который веду я, а не кто-нибудь другой.

«Боже, какой мелочной идиот,— думал Димитров.— Глуп и тщеславен...»

— И тем не менее,— сказал он Фогту,— я никаких протоколов подписывать не буду!

Фогт долго молчал, видимо, стараясь взять себя в руки.

— Вы плохо знаете Фогта,— с угрозой в голосе произнес следователь.— Я привык вести следствие по всем правилам. Я привык к порядку.— Он поднял вверх палец, подчеркивая этим жестом значительность своих слов.— Слышите? К порядку! — резким, скрипучим голосом повторил он.— Рано или поздно вы будете подписывать протоколы.

Георгий не пожелал возражать этому мелкому, разозленному человечку.

— Теперь я хочу сделать заявление,— сказал Димитров.— Мне необходимо готовиться к защите, изучать немецкое законодательство и углублять знания немецкого языка, но у меня отобрали очки и деньги при аресте и до сих пор не возвращают. Я не могу даже выписать себе газет.

Фогт с едва скрытой торжествующей улыбкой в глазах смотрел на Димитрова.

— Очки и деньги вам не могут быть возвращены,— сказал он и, вызвав конвойных, приказал увести подследственного. Уходя, Георгий заметил, с каким победным видом Фогт сунул в ящик стола бланки протоколов, задвинул его и встал, выпятив грудь. Хотя бы даже такая иезуитская победа над подследственным, находившимся в его власти,— отказ в выдаче очков и денег — подняла этого человека в собственных глазах.

У двери Георгий остановился и, обернувшись к Фогту, сказал:

— Желаю вам доброго здоровья, господин советник имперского суда!

Фогт, дернувшись, повернулся к Димитрову и молча смотрел на него своими холодными серыми глазками.

«Ты можешь не давать мне очков и денег,— думал Димитров, шагая по тюремному коридору между конвойными,— но заставить меня подписывать лживые протоколы не в твоей власти!»

XIX

На следующий день запястья рук Георгия перехватили стальными наручниками крест-накрест, соединенными двумя звеньями цепи. Он молча наблюдал за тюремщиками, скреплявшими оковы. Губы его были плотно сжаты, отчего стали резче глубокие складки и отвердели мускулы лица.

Начался поединок с Фогтом.

Со дня ареста Георгий вел дневник. Коротко записывал в тетрадь основные события, которые надо

было помнить для подготовки защиты. Когда запястья рук были замкнуты наручниками и писать стало больно и неудобно от сдавившей руки стали — пришлось двигать сразу обеими руками,— он занес в дневник всего четыре слова: «4 апреля. Получил чернила».

Перед сном вошел надзиратель и проверил, не ослабли ли наручники.

— Напрасно беспокоитесь, господин надзиратель,— сказал Димитров.— Они так врезаются в кожу, что я не могу найти себе места.

Ночью он просыпался раз двадцать: руки затекали, сталь больно давила на кости. Вечером следующего дня к наручникам удалось приспособиться и записать в дневнике более подробно: «...Получил разъяснение, что ручные кандалы надеты по распоряжению судебного следователя, а не в наказание за резкие выступления.

Заметка: может быть, как ответ на мое заявление об облегчении моего личного положения в тюрьме или, вернее, как метод ведения следствия».

В тот же день Георгий написал письмо Анри Барбюсу. В ручных кандалах! Это была непростая задача, письмо получилось в четыре раза длиннее, чем запись в дневнике. Но его нужно было написать, и оно было написано!

В свободное время Георгий читал «Историю Германии» Шефера, читал в оковах. И потому даже при чтении кандалы все время возвращали его мысли к Фогту.

Георгий надолго отложил книгу: ему пришла мысль, что этот ничтожный и напыщенный человечек, причинявший ему столько страданий, был как бы живой иллюстрацией к истории Германии. Тридцатилетняя война привела Германию к распаду на

множество мелких княжеств. Провинциальные князьки с ограниченной властью — тираны-пигмеи — и противостоящие им трусливые мещане — вот истоки «немецкого убожества», грязного и мелкого провинциализма. Это болото порождало приниженность и узость мышления, мелочность и мелкость человеческой личности, высокомерие ничтожества и иезуитскую жестокость.

Георгий подумал, что надо бы вновь прочесть «Фауста» и «Гамлета». Гёте и Шекспир — две эпохи, два времени исторических драм. Великолепное дополнение к изучению истории. Простора мысли, глубины философии — вот чего не хватает ему здесь, в Моабитской тюрьме.

«Я как птица со связанными крыльями,— сказал он себе.— Надо с силой взмахнуть широкими крыльями человеческого разума. Услышат ли шум этих крыльев?»

Месяц спустя после ареста Георгию вернули очки. Возможно, это явилось результатом письма к Барбюсу, в котором он писал, что его лишили даже очков. Вслед за этим Георгия вызвали на второй допрос к Фогту.

Их встреча опять носила бурный характер. Георгий потребовал адвоката, возвращения своих денег, необходимых на оплату почты, и снятия ручных кандалов. Кончилось тем, что взбешенный Фогт вызвал конвоиров и, кивнув на Георгия, резко бросил:

— Обратно в камеру!

Жизнь в камере текла своим чередом: изучение немецкой истории (новая книга доктора Иоганна Гольфельда, 6700 страниц по немецкой истории, прочитанных в ручных кандалах), протесты следователю (не довольно ли почти месяца пыток?) о задержке денег, об отсутствии адвоката. И вот наконец — о

радость! — первое письмо от матери и старшей сестры из Болгарии в ответ на письмо к ним.

Мать писала, что он, ее сын, подобен апостолу Павлу. Георгий улыбался, читая наивные, проникнутые верой в его правоту слова матери. Она призывала его нести свой крест, как нес святой апостол — с мужеством, стойкостью и терпением.

— Милая, родная! — мысленно обращался к ней Георгий.— Хорошо, что твои слова, твои мысли не ослабляют. Ты сама мужественная женщина и требуешь мужества от сына. Действительно, судьба твоего сына в какой-то мере напоминает судьбу апостола Павла. Но тот из Савла превратился в Павла, а сын твой с самого начала был и остается лишь «пролетарским Павлом». И еще в одном будет разница: конец его жизни не будет таким трагическим, как у апостола Павла. В самом ли деле не будет? Кто может это сказать! Но матери — ни слова о своих сомнениях, пусть в ее душе до последних минут живет надежда. Она и так слишком много страдала за свою жизнь. Она любила их всех — семерых детей своих,— любила, как может любить только мать, отдавая каждому всю свою любовь, не делая различий между ними. В каждом видела свои достоинства. Видела и недостатки и не мирилась с ними — и тогда, когда они были детьми, и когда стали взрослыми, но всегда умела любовью своей пробудить в них самое светлое и очищающее человеческую душу — ответную любовь к матери.

Любила ли она своего старшего, Георгия, сильнее других? Вряд ли! Просто ему, Георгию, выпадало много испытаний, и потому на его долю больше доставалось и материнских забот и материнской ласки. Да, мать каждому из них отдавала всю свою любовь — и ему, Георгию, и тем троим, что погибли, но

продолжали жить в ее сердце,— Костадину, Николе, Тодорчо...

Какое сердце, кроме материнского, способно на такую щедрую и бескорыстную любовь!

Он должен был ответить матери и не мог этого сделать. У него не осталось уже ни денег, ни почтовых марок из тех, что каждые десять дней присылала госпожа Крюгер. Все они ушли на письма Барбюсу, Марселю Кашену и другим политическим деятелям и юристам.

Прошло несколько тягостных дней. Снова раскрыта тетрадь дневника.

«6 мая (суббота). Записал еще один день — и ничего. Ни писем, ни сообщений, ни тюремных событий — ничего. Даже без обычного бритья. Я тоже никому не писал, потому что нет марок. Ни гроша денег».

«7 мая. Шестое воскресенье здесь. Всегда особенно тяжело в воскресенье».

Гнетущая тюремная тишина воскресного дня... Нет часов, и не доносится колокольный звон. Никто не вызывает на допрос, не слышно ни хлопанья дверей, ни шагов в коридоре — по воскресеньям соседей не посещают родственники. Закаменевшая тюремная тишина. А перед глазами — Люба.

Люба... Именно сегодня, в этой гнетущей тишине Георгий понял, что с первого дня ареста — и там, в тюрьме полицей-президиума, внезапно просыпаясь ночью, словно от толчка, и здесь, в тюрьме Моабит, не смыкая глаз по ночам от нестерпимых болей, которые причиняли ему кандалы,— он все время думал о Любе: жива ли она или ушла из жизни навеки? Днем было легче. Поглощенный мыслью о вставшей перед ним неимоверно трудной задаче — выйти

 из тюрьмы победителем,— он как будто забывал о

Любе, как будто и не думал о ней вовсе. На самом же деле, и бодрствуя, и погруженный в тревожный сон, Георгий каким-то подсознательным чувством ощущал ее рядом с собой.

Наконец от госпожи Крюгер пришли почтовые марки и еще немного денег. Теперь он мог написать родным и узнать о судьбе Любы.

«По сообщению, полученному незадолго до моего ареста,— писал он, отвечая матери и сестре,— бедняжка при смерти. Вы хорошо знаете, что означала бы для меня эта потеря. Это было бы величайшей потерей и самым большим ударом за всю мою жизнь».

Письмо родным Георгий направил через следователя, как и все другие письма. В тот же день Фогт вызвал его на допрос. Прочитав письмо, он, вероятно, решил, что пытка кандалами и моральная пытка неизвестностью судьбы любимой женщины сделали свое дело: внутренняя сила личности его жертвы сломлена и сопротивления не последует.

Фогт встретил Георгия пристальным, едким взглядом.

Обычные вопросы: где был тогда-то, что делал тогда-то... Вдруг Фогт нагнулся вперед, приближая свое лицо к Георгию, насколько позволял край стола, в который уперлась его узкая грудь, и спросил:

— Объясните, какая роль отводилась вашим болгарским соучастникам поджога?

Георгий с достоинством ответил:

— Ручаюсь головой, что Попов и Танев, так же как и я, не имеют никакого отношения к поджогу рейхстага.

Фогт откинулся на спинку стула. Глаза его враждебно поблескивали в щелочках между короткими жесткими ресницами. Вдруг щелочки расширились:

— Вы и без этого должны будете расстаться со

своей головой,— крикнул он. Немигающими, холодными глазами, в которых было и торжество и злорадство оттого, что Димитров дал ему возможность насладиться новой пыткой, он смотрел на свою жертву.

Даже переводчик Тарапанов, всегда бесстрастный, старавшийся ничем не выражать своих чувств, отшатнулся от Фогта.

— Мне кажется,— сказал Димитров,— господин следователь имперского суда преувеличивает свои возможности и прибегает к приемам следствия, запрещенным законодательством, пока еще действующим в Германии.

Кулачки Фогта сжались, пальцы побелели от напряжения.

— В камеру! — крикнул он конвойным.

XX

Спустя три дня Димитрова снова привели к Фогту. Пока Георгий шел к своему месту в комнате следователя, Фогт мерно постукивал карандашом по краю стола. Георгий усмехнулся в душе: этими мерными легкими ударами человечек давал выход какому-то сдерживаемому внутреннему волнению. Придумал новую пытку?

— Я ставлю вам вопрос: с кем из болгар вы были связаны в Берлине и в Болгарии? — произнес Фогт, продолжая свои мерные удары карандашом, словно отсчитывая секунды, необходимые Димитрову на размышления.

Георгий пожал плечами.

— Уже не раз во время дознания я говорил, что в Берлине был связан с болгарскими эмигрантами, ожидавшими амнистии.

— С кем именно? — последовал новый вопрос, сопровождаемый взмахами карандаша.

— Вам должно быть понятно,— сказал Димитров, что я не могу дать подробных сведений о своих связях с болгарскими политическими эмигрантами, потому что...

Фогт прервал его:

— Вы еще смеете говорить, что мне должны быть понятны ваши чувства! Я не желаю понимать вашей коммунистической морали, разрешающей вам творить беззакония. Я ставлю вам вопрос и требую ответа без всяких ваших «вам должно быть понятно».

— Я отвечаю: никаких сведений о болгарских политических эмигрантах в Германии и о моих друзьях в Болгарии не дам.

— Вот как?! — Фогт прищурился, впиваясь буравчиками глаз в лицо Георгия и не переставая постукивать карандашом.

— А если я вам кое-что напомню?

Ясно: сейчас Фогт выложит то, что приготовил на сегодня. Георгий опередил следователя:

— Я дважды направлял вам протесты против наложения ручных кандалов. Не довольно ли вам тех страданий, которые вы причинили мне?

Фогт, не меняя ритма, продолжал постукивать карандашом по краю стола.

— Насколько мне известно,— продолжал Георгий,— даже обвиняемые в убийстве не находятся в таком положении. Смотрите! — Он показал ему израненные кандалами руки.— И этим я обязан вам.

Карандаш застыл на весу. Фогт не ожидал, что вулканическая сила все еще кипит в Димитрове. Из каких источников она получает пополнение? Танев, не выдержав иезуитских допросов и пытки одиночеством, покушался на свою жизнь. Торглер готов

сдаться: его повели по темному коридору, приставив дуло револьвера к затылку, и он с диким криком кинулся в темноту, не сознавая, что делает. Только Димитров не теряет человеческого достоинства, полон презрения к нему, советнику имперского суда. Жгучее желание поставить себя над неистовым болгарином, хотя бы на время морально возвыситься над ним, охватило Фогта.

— Протесты потом! — закричал он.— Слышите? Потом! — Голос его сорвался, он откашлялся.— Не вы меня, а я вас вызвал на допрос.

Димитров откровенно усмехался, и это не давало покоя Фогту.

— Если вы не хотите отвечать, я напомню вам, как было дело,— теряя спокойствие, торопливо проговорил Фогт.— Вы подготовили все для пожара через Попова и Танева и после этого уехали в Мюнхен. Вот каковы ваши связи с так называемыми...

Фогт запнулся. Димитров медленно поднимался со своего места. Ноздри его трепетали, черты лица дышали гневом и презрением.

Фогт отпрянул к спинке стула. Упершись в край стола кулачками, он двинул стулом и выскочил из-за стола. Димитров, выпрямившись, стоял у своего места. Глаза Фогта бегали по сторонам, он совершенно потерялся и не знал, что делать.

— Я протестую,— глухо сказал Димитров, еле сдерживая себя.— Это чудовищная клевета... господин следователь имперского суда.

Он медленно опустился на свое место, его внезапно побледневшее лицо застыло от сдерживаемого волнения.

— Вы посмели...— задыхаясь, проговорил Фогт.— Вы посмели поднять руку на следователя?..

— Успокойтесь,— сказал Димитров.— Я не шевельнул и пальцем. Господин переводчик свидетель тому. Мне было бы омерзительно...

Фогт злобным движением, как хорек, кинулся к двери, вдруг остановился на полпути, обернулся, мгновение смотрел на Димитрова и выбежал вон с криком:

— Обратно его в камеру!

Когда, окруженный конвойными, Димитров проходил мимо Фогта, тот крикнул им:

— Следите за ним получше. Ему в Болгарии вынесен смертный приговор, и он скоро будет туда отправлен.

Злоба, бешенство, торжество клокотали в голосе Фогта. Не оборачиваясь, Георгий представил себе, как он, крича, поднимался на цыпочки и вытягивал тонкую шею с натертой багровой полоской кожи у края жесткого крахмального воротничка.

Через неделю, во время допроса в здании рейхстага, когда Георгий еще раз отказался отвечать на вопросы о связях с болгарскими эмигрантами и друзьями в Болгарии, Фогт крикнул:

— Теперь дело пойдет всерьез!

— А до сих пор, простите меня за вопрос, господин следователь имперского суда, что же было до сих пор: водевиль, фарс? — Сине-зеленые глаза Димитрова в ярком свете, падавшем из высокого окна зала Бисмарка, смеялись.

— Вы плохо знаете Фогта,— следователь не уступил взгляду Димитрова.— Вы очень плохо знаете Фогта...

Накануне завершения предварительного следствия Георгий написал второе свое заявление судебным следственным властям. В нем содержались ответы на вопросы, которые ставились следователем.

Поединок был окончен, и не в пользу следователя.

Но вскоре стало ясно, что Фогт продолжает свои преследования с не меньшей злобностью и жестокостью. Да, Георгий, наверное, и в самом деле плохо знал этого человека.

Мать сообщила Георгию в письме, что умерла Люба.

Георгий знал, что дни Любы сочтены, и все-таки в глубине души у него все время тлела какая-то слабая, почти неосознанная надежда. Теперь этого огонька не стало. Смерть близкого или просто даже знакомого человека всегда поселяет в нас трепет перед неумолимостью совершившегося и невозвратностью утраты. Смерть Любы оглушила Георгия. Он вспоминал их совместную жизнь, полную лишений и тревог, вспоминал, с какой решимостью Люба помогала ему и оставалась с ним в самые тяжкие и опасные дни, хотя и знала, что мозг ее сгорает и всякое волнение ускоряет приближение неминуемого конца. Редко встречаются столь одаренные и так умеющие любить натуры, и тем невосполнимей потеря, тем трагичнее смерть и мучительнее раздумье о том, что он, может быть, мог сделать и не сделал для нее...

Ушла Люба. Небытие когда-нибудь — и, может быть, скоро по воле его мучителей — поглотит и его самого, но дела людские остаются с живыми и помогают жизни крепнуть и развиваться. Смерть конечна, единовременна, человек не умирает дважды. Жизнь бесконечна и бессмертна. Но не сама по себе. Все зависит от людей. Победа над Фогтом — это шаг в бессмертие того дела, ради которого жила Люба. Дело это должно жить — и в этом долг его, Георгия,

 здесь, в тюрьме, долг перед партией и долг перед

Любой. И в этом его сила, природу которой никак не может понять Фогт. И еще его долг, и долг других, живых — собрать все стихи, которые написала Люба, выполнить ее горячее желание.

Так он и написал матери и сестре в Болгарию.

Вскоре от сестры пришел ответ, в котором она сообщала, что за нелегальную деятельность арестован Любчо.

Любчо — сын старшей сестры Магдалины, племянник Георгия, которого он совсем не знал!.. Георгий видел его давным-давно, приезжая время от времени в Самоков, когда племянник был еще ребенком. Однажды осенью, уезжая из Варны, он написал Магдалине на открытке несколько слов, что-то вроде: «Пока не исчезнет контраст между великолепием в природе и человеческой нищетой, счастье будет неполным. Воспитай твоего Любчо борцом...» В то время Любчо было два или три года. А теперь он взрослый сознательный человек. Ему уже восемнадцать...

Георгий хорошо знал семью отца Любчо, владельца небольшой типографии Стефана Барымова, который никогда не был революционером, хотя и помогал Георгию в поисках нелегальных квартир. А Любчо в восемнадцать лет в тюрьме! Кто помог окрепнуть и возмужать юноше?

В судьбе Любчо — знамение времени. Надо быть еще крепче и еще непримиримей здесь, в Моабите. И ты, Любчо, держись там, в болгарской тюрьме. Держись, дружок!

Так думал Георгий. А спустя несколько дней он получил еще одно письмо, добавившее ему горечи и тревоги. Госпожа Крюгер сообщала, что неожиданные жестокие испытания выпали на ее долю и надо приготовиться к худшему — вряд ли она сможет писать.

Письма от госпожи Крюгер, почтовые марки и деньги перестали поступать. Это могло означать лишь одно: Фогт, через которого шла вся переписка Георгия, решил именно сейчас, когда узник понес тяжелейшую утрату, оставить его без всякой поддержки извне. Георгий был убежден, что это новый удар Фогта, нанесенный ему в спину.

Письмо, которое Георгий недавно отправил родным и тоже, конечно, через следователя, могло лишь еще более утвердить Фогта в его иезуитском замысле. Георгий оставлял копии своих писем, он разыскал и еще раз прочел копию этого.

«Милая моя сестра!

С благодарностью получил твои письма от 17 и 25 июня; к сожалению, я не мог сразу ответить потому, что у меня нет денег на почтовые расходы. Раньше я часто получал почтовые марки от г-жи Крюгер (Ани). Но у бедной женщины, видимо, случилось какое-нибудь несчастье... Опасаюсь, что я потерял единственного человека, который мог бы сделать для меня что-нибудь и который для меня, находящегося в тюрьме в чужой стране, был моральной опорой! И действительно: в самое тяжелое время, вопреки господствующему неблагоприятному настроению, г-жа Крюгер стала на мою сторону с необыкновенным мужеством и редкой самоотверженностью и — при своей бедности — *много* помогала мне...»

В этом письме Георгий просил найти и собрать все стихотворения Любы — и опубликованные, и ненапечатанные, чтобы издать сборник. Здесь же он успокаивал сестру в связи с арестом Любчо.

Фогт, естественно, читал это письмо. Молчание госпожи Крюгер — его рук дело. Теперь он ждет,
 что воля закованного в кандалы Димитрова, потря-

сенного смертью любимой женщины и оставшегося без поддержки извне, будет наконец сломлена. Могла ли быть мечта сладостней, чем эта, для душонки Фогта!

Георгия вновь вызвали к следователю, показывали каким-то незнакомым дамам и господину, искали новых подставных свидетелей. Георгий собрал всю волю в кулак и молчал, молчал, пока на обратном пути в камеру, в тюремном коридоре его не показали еще кому-то. Показали, как показывают медведя, проводя на цепи мимо публики. Его охватило бешенство. Подняв скованные руки, он крикнул своим тюремщикам, и голос его разнесся в длинном гулком коридоре:

— Все вы когда-нибудь будете отвечать за потерянное мною время и здоровье. Все, в один прекрасный день!

В этот час была обычная толчея: чиновники с папками, гестаповцы, конвоиры. На мгновение они замерли. Наступила мертвая тишина.

Опомнившись, тяжело дыша, Георгий прошел в свою камеру.

Это была вспышка гнева, но и слабости. Оставшись один, он корил себя и клялся, что никогда не отступит перед Фогтом. Никогда! Лишь такое решение давало ему новые силы. Но оно — это решение — требовало связи с внешним миром, ощущения поддержки друзей оттуда, из-за стен тюрьмы. Он начал перебирать в памяти имена друзей, кому можно было бы написать о своем положении и о своей борьбе, которую он вел здесь, в тюрьме,— друзей, письма к которым не могли бы раскрыть его партийные связи. Он вспомнил Розу, рядового работника секретариата Балканской коммунистической федерации в Австрии. Она не была известным политиче-

ским деятелем, в Австрии в ней не заподозрят опасного политического противника, но через нее партийные товарищи могли узнать о политической сути затеваемого процесса.

Все более и более утверждаясь в намерении использовать письмо к Розе для связи с внешним миром, Георгий невольно стал припоминать те дни, когда они встретились. Роза не раз приходила на вокзал к его приезду в Вену, чтобы помочь донести нелегальную литературу, иной раз сопровождала в поездках на рабочие собрания, чтобы сообщить партии в случае его ареста, где и когда это случилось.

Однажды, направляясь в Вену, Георгий вез с собой много нелегальной литературы, еле вместившейся в два портфеля. Как всегда, он предупредил своих австрийских друзей шифрованной телеграммой: встречайте. На перроне венского вокзала его ждала Роза.

Они обменялись быстрыми взглядами. Роза незаметно взяла у Георгия тяжелый портфель и тотчас отошла, смешавшись с толпой. К нелегальной квартире, куда следовало сдать литературу, им полагалось добираться поодиночке, разными улицами. Но не успел Георгий отойти от вокзала, как Роза вновь очутилась рядом с ним.

— Что может случиться? — воскликнула она.— Ведь мы уже вышли с вокзала!

Откуда-то сзади послышался отчаянный женский вопль, потом свисток полицейского. Мимо промчался парень в коротком плаще.

Георгий шел не оглядываясь, не убыстряя шаг. Он уже проклинал себя в душе за то, что начал этот разговор, вместо того чтобы сразу же отослать ее другой дорогой.

 Быстрые шаги догоняли их. С Георгием порав-

нялся полицейский и вежливо, но настойчиво предложил следовать в ближайший полицейский участок.

— Квартал оцеплен,— сказал он,— даму и господина все равно задержат. Совершено ограбление.

В полиции попросили предъявить документы и показать содержание портфелей. Георгий вынул из кармана голландский паспорт на имя гаагского профессора и подал его полицейским, но когда те попытались было заглянуть в его портфель, решительно запротестовал.

— Как! — воскликнул он, отчаянно коверкая немецкие слова и размахивая паспортом перед лицом полицейского.— Ученый приезжает в цивилизованную страну и не может спокойно пройти по улице? Я никому не позволю совать нос в свои рукописи. Этого еще не хватало!..

Гнев «голландского профессора» был неподдельным. На лбу у него выступили капли пота, губы подергивались, казалось, вот-вот, и он кинется на полицейских с кулаками.

«О, это было страшно,— говорила потом Роза.— Я боялась, что они скрутят вам руки и сами откроют портфели»...

Он решил написать Розе. Уже поздно ночью, присев к столу, он писал ей, что не имеет отношения к преступлению, в котором его обвиняют, что он изучает историю Германии и находит в ней связь между прошлым немецкого народа и современными событиями, и что ему нелегко, и он чувствует себя, как связанная птица, у которой есть крылья, но она не может ими воспользоваться.

«Я часто вспоминаю,— писал он,— остроумные стихи Байрона:

«Я так беспомощен, как только может пожелать сам черт:

Им уже ничего не стоит вытащить меня на сушу,
как попавшуюся на удочку рыбу,
Или, как ягненка, который не сумел спастись
от мясника, потащить на бойню.
Но я не очень-то подхожу для такой изысканной
трапезы.
И еще меньше желаю попасть на сковороду».

— А иногда, когда мне особенно тяжело,— писал он дальше,— я тихо напеваю знаменитое стихотворение Гёте:

«Трусливые мысли, боязливое колебание, женская робость, боязливая жалоба *не избавят тебя от нищеты и не сделают свободным!* Устоять вопреки насилию, *никогда не сгибаться, быть сильным,*— вот о чем бедные взывают к легиону богов!»

И особенно утешает меня превосходный афоризм Гёте:

«Богатство потерять — немного потерять,
Честь потерять — много потерять,
Мужество потерять — все потерять!»

Георгий писал, и ему казалось, что он разговаривает с Розой и слышит ее голос, ее ободряющие слова, и ему становилось теплее на душе.

«Да, так вот,— продолжал он,— смелость, смелость, всегда смелость! На всех парах вперед — несмотря ни на что!..»

Он сообщал, что 8 мая после многолетней неизлечимой болезни умерла Люба. «В последние годы,— писал Димитров,— она, бедная, жила и умерла, как *истинная мученица!* Теперь моя сестра соберет ее стихи и издаст их, что будет самым хорошим памятником ей.

Желаю Вам всего доброго, с наилучшими пожеланиями!»

Он кончил письмо и долго еще сидел у тюремного стола, погруженный в видения прошлого, забыв, где находится и что с ним происходит.

Потом глубоко вздохнул, отодвинул исписанные листы. И усмехнулся: разве мог Фогт понять, откуда у подследственного берутся душевные силы? Как неизмеримо выше он, Георгий, этого жалкого в своей злобности и мелочности человечка!

XXI

Арестованный Любчо, прихрамывая, посреди двух полицейских, пришел к отцовскому дому. Одежда его была помята, изорвана, покрыта пылью. Лицо трудно было узнать — оно распухло от побоев и бессонницы.

В доме один из полицейских с силой толкнул его кулаком в плечо, крикнул:

— Показывай, где спрятано оружие!

Любчо, как зверек, готовый броситься в драку с более сильным врагом, обернулся к полицейскому и молча, с ненавистью взрослого человека, испытавшего немало на своем веку, смотрел на него.

Один из полицейских начал обшаривать дом, а другой сторожил юношу. Любчо все время стоял посреди комнаты с омертвевшим лицом.

В доме в это время была баба Параскева, гостившая у своей старшей дочери Магдалины, матери Любчо. Параскева подошла к внуку и, прикоснувшись рукой к его плечу, сказала:

— Держись крепче, сынок. Сожми зубы...

Забывшись, она назвала его сыном, да он и в самом деле был похож на ее сыновей и цветом глаз, и лицом, и ненавистью к врагам.

— Назад! — крикнул полицейский и грубо отстранил ее.

Любчо словно очнулся и сделал движение, собираясь кинуться на полицейского.

— Не надо, сынок,— быстро встав перед ним, сказала баба Параскева.— Этот человек забыл, что его родила болгарская женщина. Если бы его мать увидела все это, она бы плюнула ему в лицо. Будь сильнее этих людей. Помни, ты пятым в семье пошел путем наших мужчин...

Если бы Любчо дожил до наших дней, он смог бы увидеть на месте старого отцовского дома, куда его привели во время обыска, двухэтажное здание из стекла и бетона. У входа я прочел на мраморной доске, что в этом здании помещается детский сад имени бабы Параскевы. Будущее Болгарии — веселое, шумное, здоровое — живет во дворце с врачебными кабинетами, с просторными спальнями, полы которых покрыты пластиком и коврами...

И еще одна мраморная доска прикреплена к фасаду этого здания. Вот какие слова выгравированы на ней:

«Здесь жил Любен Барымов, родился в 1914 году, член ЦК комсомола, партизанский политкомиссар третьего батальона. Убит фашистскими палачами 13 мая 1944 года на краю села Стрезимировци».

Смертью храбрых пал Любчо, будучи уже взрослым человеком, отцом, партизаном. Всего четырех месяцев не дожил до освобождения своей родины советскими войсками и партизанскими отрядами. Улица, на которой находится детский сад имени бабы Параскевы, названа его именем...

Баба Параскева, не обращая внимания на полицейского, прижалась щекой к груди Любчо. Он обнял сухонькие плечи бабы, думая, что она плачет. Она выпрямилась, и Любчо не заметил слез в ее глазах. Только когда увели Любчо, она ушла в свою комнату и, негромко всхлипывая, долго плакала. Ведь Любчо был еще совсем мальчиком, ему нелегко было переносить побои не только физически, но и нравственно: дома его никто не бил.

Когда кончились слезы, она долго сидела, раздумывая над тем, как все случилось с Любчо.

С тех пор как Тодорчо замучили в тюрьме, а подросшая Еленка, спасаясь от преследований, эмигрировала в Советский Союз, матери трудно было оставаться в опустевшем доме на Ополченской. Она уехала в небольшой городок Самоков у подножия поросшего хвойным лесом хребта Рила к дочери Магдалине. Скудных доходов от маленькой типографии мужа Магдалины Стефана едва хватало на содержание семьи, в которой росло трое детей: старший — Любчо и две девочки — Невенка и Христинка.

Параскева и у дочери, сколько хватало сил, работала по дому, ее редко видели сидевшую сложа руки. Больше ссутулились ее плечи, прибавилось морщин на лице и тоньше стали пальцы. Она часто работала на стареньком ткацком станке. В те редкие минуты, когда баба оставалась одна без дела, она тихонько плакала. Христинка, вбегая в комнату и останавливаясь перед ней, спрашивала:

— Баба Параскева, ты плачешь?

— Нет, я пою,— отвечала она, вытирая сухонькой рукой струившиеся из глаз слезы.

— Что же ты поешь такое, отчего бегут слезы? — не отставала Христинка.

— Старые песни,— отвечала баба Параскева.—

Я вспоминаю своих детей, какими они были много лет назад.

— Ты нужна теперь нам,— говорила Христинка с детским эгоизмом, которого не понимала.— Не плачь понапрасну!

— Уж не знаю, буду ли я кому нужна. Я стара, и у меня свои мысли, а у вас свои... Лучше я пойду поработаю. Работа — здоровье, работа — успокоение...

И баба опять шла к ткацкому станку и ткала, ткала...

Незадолго до ареста Любчо, ранней весной, когда над горами, окружавшими Самоков, холодно светилось синевой горное небо, а в садах едва наклюнулись розовые почки на голых ветвях деревьев, пришло письмо из Германии от Георгия. Магдалина и Стефан не хотели тревожить детей, позвали бабу Параскеву в соседнюю комнату. Они ждали, что мать расплачется, узнав тяжелое известие. Но глаза ее были сухи.

— То, что они говорят о Георгии, неправда,— произнесла она с твердостью, выслушав письмо.— Это ложь. Сколько неправды говорили о нем, пока он жил в Болгарии... Так бывает с праведниками. Иоанн Креститель был праведником, а его убили. Мы должны сделать то, о чем просит Георгий, послать денег, газет и сыра. Я помню, как он любил наш домашний сыр.

Вечером в комнату к бабе Параскеве постучался Любчо. Он вошел стремительно, легкой походкой и опустился на низенькую скамеечку у кресла, в котором она сидела. Густые, с трудом зачесанные назад волосы открывали широкий светлый лоб. Юное лицо с правильными, четко обрисованными чертами было полно решимости.

— Хочу знать правду о дяде Георгии,— сказал он.— Незачем от меня скрывать, что бы ни случилось. Скажи мне, баба...

Баба Параскева, глядя куда-то в пространство, поджав тонкие старческие губы, едва приметно покачивала головой.

— Разве отец и мать тебе ничего не сказали? — спросила она.

— Меня все еще считают ребенком, но я уже вырос.— Морщинка, не оставлявшая следа на коже, когда она разглаживалась, залегла между бровей Любчо.— Я хорошо знаю отца и не могу не любить и не уважать его и как отца, и как человека. Но все-таки мы с ним на разных позициях.— Юноша взглянул сосредоточенно и строго: — Не противоположных, а разных,— уточнил он.— Помнишь, два года назад меня исключили из американского колледжа?

— Помню, помню, сынок,— подтвердила баба Параскева, по забывчивости называя внука сыном. Он тянулся все выше и впрямь напоминал ей сыновей.— Ты организовал забастовку против плохого питания...

— А отец сказал мне тогда, что я не должен был так поступать,— живо продолжал Любчо.— Он сказал, что главное для меня — учение, а не забастовки. Разве он прав?

Баба Параскева уклонилась от прямого ответа.

— Твой дядя Георгий тоже звал рабочих бастовать еще с тех пор, когда был учеником в типографии.

— Отец считает, что мне рано заниматься политикой и видеть в людях врагов и друзей.— От возбуждения нежная кожа на щеках Любчо потеплела, а глаза стали яркими и большими.— Но я хочу разобраться в жизни, хочу понять и ответить самому

себе, зачем я живу на земле, что мне делать и куда идти. Скажи, разве я не должен знать, что с дядей Георгием?

— Да,— сказала баба Параскева,— с любовью глядя в сине-зеленые, как у Георгия, чистые и светлые глаза внука,— да, ты должен знать, сынок. Мужчины нашей семьи рано узнавали жизнь и выбирали свой путь. Ну так слушай, Любчо, что я скажу тебе о твоем дяде и своем сыне Георгии и что написано в его письме.

Баба Параскева неторопливо начала свой рассказ, мешая события жизни Георгия с библейскими преданиями...

Как-то в мае, когда колючие кустарники над пенящейся горной рекой охватило нежным маревом молодой листвы, все еще холодные в горах ночи были полны рассыпавшихся меж темных вершин звездных отмелей, Любчо под вечер ушел из дому, ничего никому не сказав. Поздно вечером баба Параскева услышала в доме чужой голос и вышла в комнату для гостей. Там стоял смуглолицый и невысокий учитель Петков.

— Как же так,— говорил Петков,— на дворе ночь, а вы не знаете, где ваш сын, ученик гимназии. Странно. Очень странно!

Отец Любчо, Стефан, благообразный человечек, не знал, что сказать, и лишь, прихрамывая, переступал перед учителем с ноги на ногу.

Баба Параскева сразу заподозрила неладное: уж очень быстро бегали по углам комнаты колючие глазки учителя и неприятен, недобр был его голос.

— О чем вы тревожитесь, господин учитель? — спросила баба Параскева, склонив голову набок и
 пристально глядя в остроносое, худощавое лицо не-

званого гостя.— Наш Любчо добрый и честный мальчик, он никогда никому не сделает зла.

Учитель ушел, ничего не ответив. А утром Любчо, как и многих его товарищей, ушедших в ту ночь из своих домов, арестовали и доставили в казармы.

Уже позднее баба Параскева узнала, что их били, пытали. И Любчо вместе со своим другом Димитром Иончевым взяли всю вину на себя, чтобы избавить остальных товарищей от пыток.

Узнала она и о причине их ареста. На подпольном комитете комсомола Любчо и его друзья решили отметить пятидесятилетие со дня смерти Карла Маркса. Ночью развесили на столбах с проводами красные флаги, а на стенах домов Самокова — лозунги. Среди друзей оказался предатель. Накануне той ночи он сообщил учителю фашисту Петкову о подпольном заседании комитета, и всех забрали.

XXII

Тяжелее других арест и осуждение Любчо на три года тюрьмы переживал его отец. Стефан молча уходил с утра в типографию и так же молча поздним вечером появлялся в доме. Казалось, он стал еще ниже и прихрамывал еще больше.

— Зачем ты мучаешь себя, Стефан? — оставшись однажды наедине с ним, спросила баба Параскева.— Любчо жив и здоров, он пишет, что в тюрьме вокруг него хорошие люди и что он бодр духом.

— Но он же в тюрьме, Параскева! — воскликнул Стефан, и такая мука была в его голосе, в его лице, что она отшатнулась.— Разве для того я растил своего Любчо и молил бога о его благополучии, чтобы он попал в тюрьму и остался необразованным,

темным человеком? Подумай, Параскева, что ждет его и какой позор лег на мою голову!

В отчаянии он спрятал лицо в ладонях.

Баба Параскева, глядя на его седеющие волосы и аккуратную бородку, обрамляющую щеки и смятую сейчас руками, долго молчала, понимая, что никакие слова утешения не помогут. Стефан должен успокоиться, прежде чем с ним можно будет продолжать разговор.

— Когда-то я думала так же, как и ты,— негромко заговорила она,— мне тоже было обидно, что мой сын Никола сидит в тюрьме в России. И я так же говорила себе: «Разве затем я молилась о его благополучии и растила его, чтобы он попал в тюрьму?» А потом убили на Балканах моего Костадина. За что? — спрашивала я себя и ничего не могла понять. Но позднее, когда в тюрьму в первый раз посадили моего старшего сына Георгия, который ушел в ученьи дальше всех нас и который был честен и добр, я поняла, что в тюрьму сажают не за то, что человек плох, не за то, что он причинил бедным людям зло, а потому, что он говорит правду и хочет добра всем нам. А потом...— Параскева запнулась.— Мне кажется, это было совсем недавно, хотя пробежало уже восемь лет с тех пор, как у меня отняли моего самого младшего, моего Тодорчо...— Голос ее дрогнул.— Отняли у меня моего Тодорчо,— повторила она, и ее дрожащий, старческий голос возвысился,— а я сказала себе: будьте прокляты вы, сажающие в тюрьмы и убивающие наших детей. Будьте вы прокляты! Не женщины рожали вас. И знайте: если бы у меня были еще сыновья, такие же, как Никола, Тодорчо и Георгий, я благословила бы их, сказала бы им: «Оставайтесь всегда смелы, тверды и сильны!»

Баба Параскева откинулась на спинку старого скрипучего кресла, в котором сидела. Она часто теперь опускалась в кресло и накрывала ноги теплым, из разноцветной овечьей шерсти, клетчатым родопским одеялом.

Стефан, отняв руки от лица и подняв голову, пристально смотрел на бабу Параскеву. Он никогда не видел ее такой.

Отдохнув немного, она снова заговорила:

— Любчо — смелый, честный мальчик, он вырастет настоящим мужчиной, и ты должен гордиться им.

Стефан вновь охватил свою голову руками и, покачиваясь, застонал:

— Как это могло случиться?

— Я знаю,— сказала баба Параскева,— ты считаешь себя виноватым, что недосмотрел в ту ночь за Любчо, позволил ему уйти из дому, не сумел ему объяснить, как важно для него учиться...

— Да,— признался Стефан,— ты угадала, мать. Мне надо было иначе с мальчиком...

Баба Параскева покачала головой и, поджав губы, с какой-то странной болезненной улыбкой смотрела на Стефана.

— Не мучай себя понапрасну, Стефан,— сказала она.— Я тоже когда-то ругала себя за то, что ничего не могла поделать со своими сыновьями. Когда я увидела, что и мой самый младший, Тодорчо, отдаляется от меня, я ночи не спала и выплакала свои глаза до того, что они, мне кажется, стали совсем прозрачными, и вся былая синева ушла из них вместе со слезами. Тодорчо был слишком мягкого характера, и я больше, чем за других сыновей, боялась за него. Однажды я попросила Георгия поговорить с Тодорчо, сказать, чтобы он оставил рабочие собрания и не

ходил в партийный дом. Георгий сказал мне тогда: «Слова не помогут, мама: то, что в душе у человека, сильнее слов. Тодорчо уже никто не сможет остановить». И это была правда: никто и ничто уж не могло остановить моего Тодорчо. И я решила — пойду помогать ему в его святом деле. Разносила по семьям арестованных деньги... И теперь у меня есть утешение: я была с Тодорчо до последнего его часа, помогала ему.

Баба Параскева замолкла и, склонив голову, задумалась.

— Я не могу, как ты,— промолвил Стефан.— Что поделаешь!

— Я тоже думала, что не смогу,— возразила баба Параскева.— Но смогла. И ты тоже сможешь, ты отец. Три года в тюрьме для Любчо не пропадут даром. Георгий всегда учился в тюрьмах, и Любчо тоже будет учиться, он тебе уже писал об этом. Подумай, как поддержать его, что послать!..

В Болгарии мне удалось сфотографировать письма Любчо из тюрьмы. Они хранятся в семье, как священная реликвия.

Вот отрывок из них:

«...Эх, отец, если бы ты мог хоть немножко пожить в той среде, в которой я живу, ты бы увидел так много неизвестных вещей, что коренным образом переменился бы. Какой идеализм, какая преданность движению, какая смелость! Эти качества я стремлюсь приобрести и как можно лучше укрепить в себе. И, как мне кажется, я в этом успеваю. Верно, что ты не будешь стыдиться такого сына...»

«...Раньше жизнь повертывалась ко мне бурной

 неизвестностью. Прежде, чем я сюда попал, я смот-

рел на жизнь испуганными глазами, как бы считая, что все в жизни темно и страшно. И вдруг я вошел в жизнь, увидел ее прямо в лицо. Самое важное — я узнал ее, понял ее. Сейчас я вхожу в нее глубже и глубже с ясным представлением о будущем, имея перед собой разрешенный вопрос: «зачем я живу на этом свете», «что нужно делать и куда идти»...»

И еще два отрывка из писем, относящихся уже к более позднему периоду, когда в Лейпциге начался суд над Георгием:

«...То, что вы пишете о бабушке, говорит о многом и исключительно интересном. Но не удивительно. Что другое можно ожидать? И то, что она была готова сделать,— велико, за это она заслуживает пролетарские приветы, поздравление от целой взволнованной земли... Было бы отлично, если бы вы могли поехать в Лейпциг, но проклятая бедность! Но ничего, вы можете сделать достаточно и отсюда. Не знаю, почему вы еще молчите — ты и отец. Неужели бабушка должна вас превзойти? Эх, ужасно мне тяжело, что я за решеткой именно в этот важный, решающий момент... Я прошу вас приобретать и хранить все документы по делу — все, до которых вы можете добраться. Они мне будут очень нужны...»

«...Отец, из предыдущего письма я понял, что ты страшно тревожишься за меня. Это, конечно, естественно, но лучше, чтобы этого не было. Ведь верно, что борьба с нашей человеческой природой бывает очень полезна. Я был бы гораздо спокойнее и терпеливее, если бы узнал, что ты победил ту страшную муку, которая сквозит в твоем предыдущем письме. Действительно, сегодня человек не может быть совсем спокоен. Особенно же в твоем положении. Но ты знаешь, что сильно выигрывают те, кто победил

жизнь, кто вопреки всему бодр, смел и стремительно идет вперед.

...Очень мало ты мне говоришь о процессе дяди, хотя знаешь, как сильно меня это интересует...

Отец, снова прошу — не волнуйся... А твой сын не только я. Хелл, Михаил и все мои другие близкие друзья — все как сыновья тебе...

Целую твою руку... Твой *Любчо».*

Может быть, Георгий понимал, как тяжко будет Стефану, и потому вскоре прислал письмо из Германии, в котором писал примерно то самое, что недавно говорила Стефану и баба Параскева. Конечно, Георгий излагал все это другими словами, гораздо лучше.

Слушая письмо, баба Параскева покачивала головой. Тихая улыбка застыла на ее лице.

— «Он должен взять пример с меня,— раздельно, ровно читала Магдалина, чтобы баба Параскева могла лучше понимать содержание письма.— Несмотря на то что мне 51 год и для меня создан в тюрьме чрезвычайно тяжелый режим, я использую малейшую возможность для того, чтобы учиться и учиться. Ты должна передать ему это от моего имени. Передай ему также мой сердечный привет. И смелость, смелость и еще раз смелость!»

В письме еще говорилось, что Георгию наконец вручен обвинительный акт и что вскоре начнется суд по обвинению его в государственной измене в связи с поджогом рейхстага.

И затем Магдалина прочла заключительные строки:

— «Я, как лев в клетке, как птица, которая имеет крылья, но не может летать!..»

Баба Параскева вздрогнула, наверное, от наступившей разом тишины и, подняв глаза на дочь, сказала:

— Что же мы сидим здесь? Георгию плохо, его хотят судить за то, в чем он не виноват, а мы сидим сложа руки и ничего не делаем. Надо ехать к нему, в Германию!

— Это не так просто, мама,— сказала Магдалина, удивляясь в душе, что матери, которой исполнился семьдесят один год, пришла такая мысль.

Через два дня, когда за столом собралась семья и все, как обычно, после молитвы перед обедом сидели молча и смотрели на незанятое место Любчо, баба Параскева сказала, что вернется к себе в Софию и узнает у добрых людей, как можно поехать в Германию.

Стефан тяжело вздохнул и, опустив глаза, ничего не сказал. Магдалина с живостью посмотрела на мать.

— Ты права,— сказала она.— Я думала о том же два дня назад. Мне кажется, надо попытаться. Если нас пустят, поедем вместе.

Стефан не возражал. Магдалина многое решала в семье сама. Он только спросил, как же быть с детьми, и Магдалина пообещала попросить кого-нибудь из родных на это время переселиться в их дом.

XXIII

Баба Параскева покинула Самоков и вернулась в Софию. Здесь было необычно для ранней осени слякотно и холодно. С Витоши тянуло сырым ветром, хотя листва в парках, омытая каплями оседавшего на деревья тумана, еще зеленела. Бабе Параскеве не

было, как прежде, одиноко в старом доме на Ополченской. Все ее мысли теперь были заняты тем, как уехать к сыну.

Вместе с матерью Танева, такой же древней старушкой в черном платке, она пошла в германское посольство. На ступеньках крыльца обеих старух схватила болгарская полиция. Их стащили на мостовую, повели в полицейский участок. На другой день выпустили.

Нетвердой походкой возвращалась баба Параскева домой. Когда она шла по Ополченской, знакомые, узнавая ее, низко кланялись. Об ее аресте писала газета «Вик» («Голос») — единственная в Болгарии, которая вела кампанию за освобождение Георгия Димитрова. Редактор ее Тодор Генов издавал газету как частное лицо, но негласно был связан с подпольным ЦК компартии. «Вик» читали в окраинных кварталах, и рабочий люд с Ополченской приветствовал свою бабу Параскеву, давно уже здесь не появлявшуюся.

Ночью кто-то громко постучал в ворота. Бабе Параскеве еще не спалось. Она накинула на плечи шерстяной платок и вышла в темный двор. Не спрашивая, кто стучит,— одной ей нечего было бояться — она открыла калитку. На улице стоял Борис и еще трое. Сзади них в темноте на мостовой маячил фаэтон.

— Мама! — воскликнул Борис, бросаясь к бабе Параскеве.— Милая моя мама!

Он бережно обнял ее и поцеловал в морщинистую щеку. От него пахло духами.

— Если ты пришел ко мне, проходи в дом,— сказала мать.— Я всегда тебе рада...

— Не сердись, мама! — сказал Борис.— Я услышал, что тебя выпустили эти звери, и пришел сказать,

как я люблю и уважаю тебя.— Нагнувшись, он обернулся к товарищам и махнул им рукой.— Пошли, мама приглашает нас, вы же слышали... А что я вам говорил?.. Нет матери лучше, чем наша мать. Входите, ребята!

Мать пропустила поздних гостей и закрыла за ними калитку.

— Мы не пойдем в дом,— сказал Борис, останавливаясь у старой лозы.— Там слишком жарко для нас, надо прохладиться. Мы посидим под лозой, которую я помню с детства. Она много знает, лоза...— Он погрозил пальцем в темноту.— Где у тебя фонарь?

Мать принесла зажженный фонарь, поставила на столик. Все присели на скамеечки. Борис принялся выгружать из своих карманов и карманов друзей сладости и пирожные.

— Все это мы прихватили тебе, мама,— говорил Борис, протягивая ей пирожное.— Я всегда думаю о тебе.

— Спасибо, Борис,— говорила мать, беря угощение.— Спасибо, что ты подумал обо мне.

— Мы подняли бокалы за твое здоровье,— сказал Борис.— Как мы могли не произнести этого тоста! — Борис кивнул на своих товарищей.— Я привез тебе музыкантов. Целый оркестр! Скажи, что тебе сыграть, и они сыграют.

— Поздно, Борис, проснутся соседи,— сказала мать.— Уезжайте по домам, вас ждут ваши жены.

— Сейчас ребята сыграют тебе, и мы поедем к нашим женам.— Борис повернулся к друзьям.— Играйте, ребята, «Интернационал». Здесь живет мать р-р-революционера. Давай, ребята, громче! «Интернационал» — назло фашистам!..

Утром пришли за бабой Параскевой из редакции газеты «Вик» от Тодора Генова. Она накрылась своим

черным платком, защищающим от моросившего дождя, и вышла на улицу.

В редакции высокий, молодой, с веселыми глазами редактор Тодор Генов спросил бабу Параскеву, согласится ли она выступить на митинге перед германским посольством в день начала суда над ее сыном.

— Я никогда не говорила перед людьми на митингах,— ответила мать.— Я не знаю, что говорить, когда передо мной много людей.

— Ничего не нужно говорить,— сказал Тодор Генов.— Достаточно и того, что все будут видеть мать Георгия Димитрова.

— Я такая же мать, как и другие болгарские матери,— сказала баба Параскева,— но если это может помочь Георгию, я приду на митинг, хотя один раз меня уже прогнали от германского посольства.

Утром того дня, когда назначили митинг,— это был день начала суда в Германии, 21 сентября,— бабу Параскеву и Тодора Генова арестовали в редакции «Вик». Агенты полиции приказали им следовать в управление государственной безопасности, а сами двинулись позади на некотором расстоянии. Они не посмели открыто вести под стражей по улицам города древнюю старуху.

Дома тонули в полосах дождя и тумана. Они прошли по залитой водой Дворцовой площади, и когда начали подниматься по ступенькам городского сада, мать остановилась, чтобы передохнуть. Она положила руку на локоть Тодора Генова, и он почувствовал, как ее рука дрожит. Мать повернулась и посмотрела на позолоченную корону над дворцовой оградой.

— Вот этот аспид... чтоб ему голову снесло! — борясь с одышкой, прошептала она.

В кабинете директора государственной безопасности — тучного, затянутого ремнями — было мрачно и холодно. Окна наполовину закрывали тяжелые темно-зеленые шторы.

Баба Параскева, опустив голову и уронив худые, мокрые от дождя руки, стояла у двери рядом с Тодором Геновым.

— Вот что затеяли! — воскликнул директор, и серые его глаза злобно устремились на Тодора Генова.— Митинг перед германским посольством! Вытащили откуда-то и эту старуху.

— Почему вы нас арестовали, господин директор? — спросил Генов.— Это просто старая женщина, мать того болгарина...

Директор вскочил и ударил кулаком по столу, оборвав Генова. Он выхватил из ящика стола револьвер и, размахивая им, закричал:

— Предатели! Я расстреляю всех вас. И не думайте, что меня остановит присутствие на вашем сборище этой мерзавки...

Слово «мерзавки» застряло в его горле, и он, задохнувшись, замолк.

Мать подняла голову в черном платке, низко надвинутом на лоб, и сделала один небольшой шажок навстречу человеку с револьвером в руке. Твердым голосом, которого Генов не ожидал от нее, она сказала:

— Я думала раньше, что у таких, как вы, есть матери. Вижу — ошиблась. Не могли матери рожать таких... Нет у вас матерей. Ничего у вас нет человеческого. Ничего!

В конце октября бабе Параскеве через французское посольство удалось достать визу на въезд во Францию и занять денег для продолжительной заграничной поездки.

Вскоре она в сопровождении Магдалины отправилась в путь.

В Париже маленькую, худенькую старую женщину в черном платке привезли в огромный зал Бюлье, полный парижских рабочих. Зал глухо гудел, и лица под светом ярких ламп сливались в слепящее сияние. Мать стояла на сцене рядом с другими, слабая и потерянная, не зная, на ком остановить взгляд и от кого ждать помощи. К ней подошел переводчик.

— Бабушка, ты должна сказать что-нибудь.

Мать взглянула на него и доверчиво произнесла:

— Сынок, я хочу, чтобы ты знал правду: мне никогда не приходилось говорить перед людьми в защиту своего сына. Я не смогу, я спутаюсь.

— Ты его мать,— сказал переводчик,— а мать всегда будет говорить от сердца.

Мать медленно пошла к краю сцены. И чем ближе она подходила к передним рядам, тем все тише и тише гудел слепящий зал, и когда ее хрупкая фигурка остановилась, наступила такая тишина и неподвижность, будто под огромными сводами никого не было.

— Поверьте мне...— раздался в этой тишине слабый старческий голос, и переводчик тут же повторил ее слова по-французски: — Поверьте мне: я его мать и знаю своего сына, как знает сына всякая мать. Он не такой человек, чтобы устраивать поджоги... Он совсем не такой человек! Тридцать пять лет он был с рабочими...

Она сказала совсем немного слов. Но такой скрытый заряд таился в них, что семь тысяч парижан, собравшихся в зале Бюлье, поднялись со своих мест. Мгновенно мать перестала слышать свой голос, биение своего сердца, тишину, только что затопившую

уходивший в бесконечность зал. Так же, как тишина может оглушать, грохот обвала лишает слуха и оставляет человеку лишь зрение. Это был взрыв, соединивший в ослепительной вспышке коммунистов и социалистов, радикалов и просто парижан.

На следующий день миллионы газетных полос во многих странах разнесли по земле слова старой женщины, слова, впервые за долгую ее жизнь сказанные ею на митинге, первое ее выступление перед семью тысячами парижан, первую ее речь перед всем миром. Вечером следующего дня в сумасшедшей сутолоке парижского Северного вокзала советский журналист Михаил Кольцов брал интервью для «Правды» у матери Димитрова перед ее отъездом в Германию. А мать уже всем сердцем, всеми своими помыслами была там, на суде, вместе со своим сыном.

XXIV

Председатель четвертого уголовного сената имперского суда Вильгельм Бюнгер окинул взглядом затихший переполненный зал судебного заседания. Исторический процесс! Под сверкающими люстрами трепетали алые отсветы шелковых мантий — его, Бюнгера, и еще восьми судей. Желтый электрический свет, мутноватым потоком заливавший зал, пронизывали густо-синие лучи прожекторов. Черными провалами мертвых стеклянных глаз гипнотизировали кинокамеры. Впервые в истории германского суда снимали подсудимых на пленку. Судебное следствие будут стенографировать и, кроме того, вести звукозапись. В зале в напряженном ожидании сидели сто двадцать четыре журналиста, из них восемьдесят два иностранных. Не было только советских коррес-

пондентов: им воспрещено было появляться на процессе — таково указание «сверху». Но и без них картина внушительная.

Сейчас предстояло произнести вступительную речь, отметающую обвинения за границей, на контрпроцессе в Лондоне, и в Коричневой книге о предвзятости германской юстиции. «Достаточно взглянуть в этот зал,— скажет он,— и станет ясно, что процесс открыт для всех. Судьи не боятся гласности!..»

Взгляд Бюнгера скользнул по обвиняемым и остановился на Димитрове: он явно следил за ним. Уже несколько раз Бюнгер невольно замечал на себе взгляд Димитрова и сам ловил себя на желании разглядеть его отчетливей. Вот и сейчас... Он не мог оторвать глаз от его строгого, красивого лица, на котором светились умные, насмешливые и спокойные — слишком спокойные! — глаза. Единственный среди всех подсудимых, Димитров был собран, сжат, как пружина, готовая мгновенно развернуться. О, эта пружина уже распрямлялась — и не раз! — на предварительном следствии и била больно. Нельзя допустить этого здесь. Обвинительное заключение составлено слишком примитивно, грубо, и, судя по протоколам допросов, Димитров нащупал слабые стороны. Всякий опытный судья знает — успех дела зависит от заранее разработанной тактики ведения процесса. У Бюнгера достаточно опыта, и этот опыт подсказывает: нельзя дать Димитрову увлечь суд на путь поисков истинных поджигателей. Бюнгер усмехнулся в душе: «Ага, вот откуда невольные взгляды в сторону Димитрова! Но Бюнгер — это не Фогт,— он снова усмехнулся.— Нет, Бюнгер — это не Фогт!..» Впрочем, надо начинать.

Председатель суда встал, и на его плечах зловеще
 вспыхнуло алое пламя. Первые заученные слова всту-

цительной речи падали в зал, как камни в пропасть — без единого всплеска. Но вот и те, что пришли в голову минуту назад перед началом заседания:

— Достаточно взглянуть в этот зал...

Легкое движение среди журналистов было ему ответом: они оглядывали зал, друг друга. Поняли, что Бюнгер прав. Первый кирпичик в здание победы положен. И так кирпичик за кирпичиком. Трудная работа, но что поделаешь! Молодые люди в коричневой форме хороши там, где надо стрелять. Для исполнения более деликатной и сложной миссии нужны такие, как Бюнгер,— вино старой закваски и многолетней выдержки, цвет нации...

Судебное следствие, направляемое твердой рукой Бюнгера, пошло своим чередом: заявление защитника Торглера Зака против Коричневой книги, изданной за границей и обвиняющей в поджоге Геринга, затем вызов и допрос четырех свидетелей для опровержения все той же Коричневой книги...

Не совсем обычное начало судебного следствия, но и процесс необычен.

Вечером дома в мягком кресле у торшера Бюнгер читал в газете о себе: «Симпатичная личность с белыми волосами и здоровым, свежим цветом лица». Второй кирпичик в фундамент победы! Он прикрыл глаза, седая голова с багровой кожей, проглядывавшей сквозь пух волос, склонилась, и шары щек вздулись еще больше. Газета выскользнула из его холеных рук.

В начале третьего дня судебного следствия Бюнгер, выспавшийся, надушенный, свежий, отчетливо произнося слова, предложил подсудимому Димитрову дать сведения о себе. Теперь можно спокойно смотреть на этого человека, ни у кого не вызывая подозрения в скрытом интересе к нему.

Лицо Димитрова ожило, голова поднята высоко. Он сообщает сведения, обычные для подсудимого: год и место рождения, родители, образование... Но он говорит, как оратор перед большой аудиторией. И его слушают, как оратора. Взгляды всех прикованы к нему, зал захвачен той внутренней силой, которую Бюнгер сразу же почувствовал в подсудимом. Отчетливо звучит гордость в его голосе: он тридцать лет в Болгарской коммунистической партии и двадцать три года — член ЦК. С явным вызовом бросает он в тысячеглазое, жарко дышащее лицо зала свои слова.

Довольно!

Оборвав подсудимого на полуслове, Бюнгер резко и властно сказал:

— Димитров, вы должны говорить, обращаясь к судьям, а не к залу.

Подсудимый повернулся к Бюнгеру. Несколько секунд он молча смотрел прямо в глаза председателя суда. Что это, вызов? Но Бюнгер сам этого хотел, надо подождать более удобного и очевидного для всех момента, чтобы проявить свою власть. Спокойствие, спокойствие: Юпитер, ты сердишься...

Димитров продолжает, обращаясь к Бюнгеру, так, точно в зале больше нет никого, только он и Бюнгер. Но теперь в его голосе — гнев и возмущение: восстание в Болгарии подавлено, все права и свобода народных масс уничтожены, в стране установлен военно-фашистский режим...

Опасный поворот! Димитров опять стал оратором.

Председательствующий поднял руку. Алый отсвет мантии пробежал по залу, Димитров замолк.

Как можно более спокойно Бюнгер обратился к подсудимому:

— Вас уже судили... Правда, не в Германии, а в Болгарии.— Он едва скосил взгляд в зал, мол, вели-

колепная подробность, не правда ли, господа? И снова Димитрову: — Можете ли вы об этом что-нибудь сказать?

Димитров пожал плечами и небрежно, словно они сидели за мирной беседой в кафе, сказал:

— Я слышал, что меня в Болгарии приговорили к смертной казни. Более подробных сведений относительно этого не искал. Эти приговоры меня не интересуют.

В зале было так тихо, что Бюнгер, даже не глядя туда, чувствовал, с каким напряжением следят все за ним и за Димитровым. Заставляя себя сохранять прежнюю позу подчеркнутого внимания, тоном учителя, готовящегося поставить плохую отметку, он произнес:

— Но они интересуют нас, эти приговоры. Может быть, вы окольными путями информировались о них?

— Для меня эти приговоры не представляют интереса и не имеют значения,— сказал Димитров с таким вызовом, что Бюнгер оцепенел.

По залу словно пронесся ветерок, и все опять стихло.

— Я спрашиваю только,— повысил голос Бюнгер, еле сдерживая раздражение,— можете ли вы подтвердить изложенные здесь сведения о ваших судимостях?

Димитров вобрал в легкие воздух и решительно сказал:

— Ладно, в таком случае я отвечу на это...

Бюнгер с силой отодвинул от себя том обвинительного заключения.

— Ведите себя скромно и спокойно,— резко сказал он.— В противном случае вы у нас ничего не добьетесь.

Димитров говорит о терроре, вызвавшем восстание, о том, как восставшие под давлением превосходящих сил с боями отступали к границам Югославии. Опять говорит, обращаясь в зал, и Бюнгер опять заставляет его повернуться к суду. Он спрашивает, участвовал ли Димитров лично в восстании.

Димитров встречает вопрос, не меняясь в лице, смело смотрит на Бюнгера.

— Я активно, находясь на руководящем посту, принимал участие в этом восстании,— громко, неуступчиво говорит он.— Я несу за это ответственность и горжусь этим. Я сожалею только, что я и моя партия еще не были тогда настоящими большевиками, и потому мы не смогли успешно организовать и провести это историческое народное восстание с пролетариатом во главе...

Собирая материалы о Димитрове, я познакомился с книгой, которая поразила меня. Английский публицист коммунист Ральф Фокс в тридцатых годах написал литературно-критическое исследование о романе. Одна из глав книги посвящена разбору... ненаписанного романа о Димитрове. Автор подробно говорит о том, какими должны быть, по его мнению, герои, обстановка, сюжет романа. Ральф Фокс лично знал Димитрова, и потому особенно интересно, что он говорит о главном герое этого ненаписанного романа.

«...Димитров не родился во всеоружии для этой битвы в Лейпциге. Нет, всю свою жизнь он с огромным напряжением преодолевал и переделывал самого себя и в то же время боролся против... капитализма своего балканского отечества. Те из нас, кто помнит его после поражения болгарского восстания

1923 года, знают, через какие нравственные пытки он прошел в последующие годы. Он долго боролся сам с собой, беспощадно себя критиковал. Неудавшееся восстание показало, что он еще не был готов, еще не созрел для того, чтобы привести людей к победе, и он тяжело переживал свою ответственность за людские жертвы, за дело, потерпевшее временное поражение. Он открыл причины поражения в узком сектантстве, в оппортунизме социалистического движения на Балканах и неустанно совершенствовал себя, пока не освободился от этих пороков, пока не почувствовал себя *большевиком,* вооруженным опытом Ленина и рабочего класса России».

Свидетельство Ральфа Фокса приобрело в моих глазах особое значение, когда я узнал о его судьбе. В 1937 году английский коммунист, современник Димитрова Ральф Фокс героически погиб в Испании, недалеко от Кордовы.

Слушая новую речь Димитрова, Бюнгер забеспокоился: довольно этого ораторства! Надо заставить Димитрова давать показания, а не произносить речи. Он сделает это во что бы то ни стало!

XXV

У Бюнгера давно уже приготовлен вопрос о взрыве Софийского собора, напоминающем чем-то поджог рейхстага. И он, прервав страстную речь Димитрова, как можно более весомо и значительно спросил:

— По сведениям болгарского министерства внутренних дел, взрыв в Софийском соборе был организо-

ван тайным коммунистическим союзом. Что вы можете сказать в связи с этим?

Димитров почти неуловимо изменился. Перед Бюнгером был уже не оратор, а человек, которого, казалось бы, и не очень-то занимает заданный ему вопрос, да и ко всему происходящему он начинает терять интерес. Долгая практика приучила Бюнгера проникать в психологию подсудимого и вовремя предугадывать возможный поворот. Но того, что произошло дальше, Бюнгер не предвидел.

— Да, возможно, что министр это сказал,— безразличным тоном произнес Димитров и, секунду помедлив, добавил: — Ведь и в Германии это бывает.

Бюнгер спохватился только после того, когда в зале возникло движение, а затем раздался и тотчас угас чей-то короткий смешок.

— Что это за намеки? — взорвался Бюнгер.— Я применю к вам строгие меры.

— Должен добавить,— сказал Димитров, не теряя самообладания,— что компартия, так же как и я лично, совершенно отрицает индивидуальный террор и авантюризм.

— Это голословное заявление! — вскричал Бюнгер.

— Если бы я имел свободную защиту,— спокойно ответил Димитров,— я бы смог достать документы, подтверждающие мою правоту. Однако, несмотря на мои требования, мне не разрешили выбрать защитника, и я должен сам себя защищать, не получая того, что мне нужно.

— Я отвергаю ваше заявление,— оборвал его Бюнгер.

Но тем не менее оно уже было произнесено. Димитров, как бы мимоходом, нанес еще один удар по германской юстиции и суду.

Все в Бюнгере ожесточилось против этого человека, не желавшего сдаваться ни на предварительном следствии, ни на процессе. Но Бюнгер был достаточно опытен для того, чтобы не поддаться ослепляющим чувствам. Чутье судьи подсказало ему, что аналогия между взрывом Софийского собора и поджогом рейхстага, кроме внешних выгод, таит скрытую опасность. Если Димитрову удастся доказать, что он был непричастен к взрыву и даже осуждал софийскую трагедию... Нет,— это запретная область, вступать в нее нельзя! В запасе у Бюнгера есть другие тактические ходы, смертельно опасные для Димитрова.

— Впрочем,— безразличным тоном произнес Бюнгер,— это событие со взрывом в Софии совершенно не касается обсуждаемого здесь вопроса. Есть более существенные детали вашей биографии.

И он с присущей ему скрупулезностью германского судьи старой закалки занялся выяснением подробностей деятельности Димитрова в более поздний период. Постепенно он подвел подсудимого к ловушке, которая была намечена задолго до суда и интересовала не только его, Бюнгера. Не зря ведь из Берлина прибыл болгарский консул и сегодня присутствует в зале.

Димитров, казалось, ничего не подозревая, сам шел навстречу опасности. Подробно и смело говорил он об организации помощи болгарским эмигрантам с 1927 по 1929 год, о пересылке собранных денег в Болгарию для нелегально работавших партийцев. Димитров раскрывал многое, принимая бой грудью.

Бюнгер понял его тактику еще в то время, когда знакомился с обвинительным заключением, и оценил ее силу. Но это была в то же время опасная для Димитрова игра.

— Каким путем эти суммы попадали в Болгарию? — спросил Бюнгер.

— Через курьеров,— спокойно ответил Димитров, как будто и не задумываясь над тем, что означал ответ.

«Вот как? Интересно! Теперь мы стоим у самой черты,— думал Бюнгер.— Еще один шаг...»

— Каким же образом курьеры переходили границу? — сдерживая волнение, спросил Бюнгер.

В наступившей паузе тишина затаившегося зала больно ударила по нервам.

— Это дело самих курьеров,— с едва уловимой насмешкой в голосе сказал Димитров.

Ярость на мгновение ослепила Бюнгера. Протягивая руку в сторону Димитрова, он закричал:

— Я призываю вас к порядку... Я применю самые строгие меры.— Он отдышался и добавил: — Вы были несдержанны и на предварительном следствии.

— Меня тогда провоцировали.

Бюнгер почувствовал, как его прошибла испарина. Довольно! Надо морально уничтожить подсудимого, лишить сознания своей непогрешимости, отнять честь... Растоптать!

— Каким образом вы, женатый человек,— холодно начал Бюнгер,— сделали официальное объявление о своей помолвке с некой Ани Крюгер?

Лицо Димитрова стало совсем бескровным. Но Бюнгер был беспощаден:

— В то время, когда вы давали объявление о помолвке,— продолжал он,— ваша жена была еще жива. Не кажется ли вам, что, если называть вещи своими именами, это означает преследуемое законом двоеженство?

Впервые потеряв власть над собой, Димитров крикнул:

— Это ложь!

— Я удалю вас из зала за оскорбление суда,— выкрикнул Бюнгер. Торжество заполнило его душу. «Наконец-то! Наконец этот неуязвимый и неукротимый болгарин сорвался...»

Димитров тяжело дышал. Обеими руками он схватился за край стола и, сомкнув посеревшие губы, расширив глаза, то ли в ярости, то ли в охватившем его безумии смотрел на Бюнгера. Казалось, он еще раз сейчас крикнет: «Это ложь!» Но он молчал.

В разных концах зала поблескивали очки — в публике приподнимались, чтобы лучше разглядеть поверженного Димитрова. Бюнгер не сделал ни малейшей попытки навести порядок: пусть смотрят, пусть как следует разглядят, во что превратился его противник — этот вождь восстания, этот железный и непогрешимый коммунист. Любуйтесь!

Димитров выпрямился, задыхаясь. Ему все еще не хватало воздуха.

— Я никогда не давал объявлений о помолвке с госпожой Ани Крюгер...— глуховато сказал он. Понадобилось несколько глубоких вздохов, чтобы он мог продолжить. — На предварительном следствии мне такого обвинения никто не предъявлял.

Бюнгер жестко сказал:

— Суд установит истину. Вам будет устроена очная ставка с Ани Крюгер.

— Все что угодно!..— Он опять готов был сорваться.

Бюнгер ждал. Димитров успел вовремя взять себя в руки.

— Ваш тон недопустим,— сказал Бюнгер.— Я предупреждаю вас последний раз.

Димитров медленно, взвешивая слова, не давая себе взорваться, заговорил:

— Мое возбужденное состояние должно быть понятно, если учесть, что пять месяцев днем и ночью я был закован в ручные кандалы, а во время предварительного следствия меня провоцировали на резкие протесты...

— Довольно! — оборвал его Бюнгер.— Итак, пойдем дальше. Но я хочу предупредить вас: вы должны говорить о своей личности, а не о своих политических воззрениях.

— Именно потому, что я должен говорить о своей личности, я излагаю свои взгляды,— властно сказал Димитров, и все поняли: он полон прежней силы и непримиримости.

Да... Он уже не смотрит на Бюнгера, он готовится произнести очередную речь. «Что же — начинай, я все равно не дам тебе разойтись! — говорит ему мысленно Бюнгер, и лютый гнев опять медленно заливает его.— Здесь сила на моей стороне, даже если те, в зале, будут тебя поддерживать».

А Димитров между тем начал речь.

— Я пролетарский революционер,— сказал он и откинул свалившиеся на лоб пряди седеющих волос.— Я член ЦК Болгарской компартии и член Исполкома Коминтерна. Следовательно, принадлежу к руководящим коммунистам и в качестве такового готов нести полную ответственность за все решения, за все документы и за все действия своей Болгарской компартии и Коммунистического Интернационала. Но именно поэтому я должен заявить, что я не террористический авантюрист и не путчист. Я страстный поклонник пролетарской революции и диктатуры пролетариата, и именно потому, что в этой пролетарской диктатуре я вижу единственный выход...

— Больше я этого не потерплю! — Бюнгер вскочил.— Я лишаю вас слова!

Другого оружия против Димитрова у него уже не было.

После окончания заседания он покинул свое председательское место с облегчением. Давно с ним не случалось такого. Утром его ждала новая неприятность. Просматривая газеты, он прочел в «Нойе лейпцигер цейтунг», что Димитров — этот человек, гордый тем, что руководил революционным восстанием, который кричит в лицо каждому буржуа, что он борется против него, который отметает от себя всякую сентиментальность, вызывает аплодисменты буржуазных корреспондентов из-за границы.

И это пишет немецкая «Новая лейпцигская газета»! Бюнгер почувствовал, как горячо становится его шее. Он вытащил батистовый надушенный платок и приложил его несколько раз к тому месту около затылка, где воротничок врезался в кожу. Потом он оперся круглыми локтями о стол и грудью навалился на его край. Тело его распласталось по столу, как тесто, вышедшее из квашни.

Вдруг он встрепенулся, со злостью пристукнул по столу сразу обеими пухлыми ладонями и подпрыгнул на месте, как мяч, который ударили сверху кулаком.

XXVI

Через два дня начался допрос Ван дер Люббе — выродившегося Фауста двадцатого века, спровоцированного на поджог исчезнувшим Мефистофелем, как определил для себя Георгий его роль и его самого.

В начале заседания Георгий поднялся и, обращаясь к Бюнгеру, сказал:

— Я хочу заявить протест против извращения моих слов фашистской прессой.

Бюнгер, еще не остывший после недавно прочитанного опуса «Новой лейпцигской газеты», искренне возмутился: «Он еще хочет протестовать! Невозможный человек».

— Довольно! — крикнул Бюнгер.— Вам слова не дано. Я определяю, когда можно делать заявления.

Георгий уже успел понять нутро этого напыщенного, но быстро теряющегося человека.

— Я хотел бы заявить, что в субботу...— начал было Георгий, но Бюнгер тут же его оборвал:

— Я не разрешаю сейчас выступать с заявлениями.

Димитров повернулся к нему.

— Я констатирую, что меня лишают возможности...

— Тихо! — упрямо оборвал Бюнгер.— Вы тут ничего не можете констатировать. Обратитесь к своему защитнику.

— Я сам защищаю себя! — воскликнул Димитров.

С тех пор как Бюнгеру удалось насладиться гнусной выходкой с неизвестно откуда взявшимся объявлением о помолвке, внутреннее напряжение, овладевшее Георгием в начале процесса, усилилось еще более. Что-то произошло с Ани Крюгер — он понял это давно, после ее тревожного письма — теперь ясно, она тоже попала в лапы Фогта. Какие еще подлости придумают Фогт и Бюнгер?

Но вчера после допроса сестры Елены, неожиданно приехавшей из Советского Союза через Лондон и Париж, он почувствовал себя лучше, свободней и спокойней. Лена, войдя в зал и увидев брата, засмеялась. Да, да, засмеялась — по-человечески просто и радостно. Засмеялась, не обращая никакого внимания на полицию, на полыхающие алым огнем судей-

ские мантии. Она никого и ничего не видела, кроме брата.

Георгий смотрел на смеющуюся сестру, и на мгновение она показалась ему той, прежней, стремительной, длинноногой Еленкой, которая могла броситься на шею ему или Любе и тотчас умчаться в глубину дворика. Внутреннее напряжение, которое он испытывал все дни суда, ослабло, стало рассеиваться.

«Наша Еленка! — говорил он себе, не замечая того, что и сам улыбается ей в ответ.— Наша Еленка!..»

Бюнгер резко бросил переводчику:

— Она не должна смеяться, здесь идет суд.

Сестра рассказала суду о том, какие чистые и нежные отношения были между ним и Любой. Георгий принялся задавать ей вопросы по-болгарски о своей политической деятельности, сформулированные так, что в них уже заключался ответ, и ей надо было лишь развить его мысль. Вдруг Бюнгер подскочил: он разобрался, что его провели, и потребовал, чтобы Георгий задавал вопросы по-немецки ему.

В тот же день Георгий встретился с сестрой в крохотной тюремной комнатке в присутствии переводчика. Лена сказала, что везде в Европе защищают его, и она тоже выступает на митингах. Потом они говорили о Любе. Георгий сказал, что в его жизни всегда были ему опорой два человека: Люба и мать. Люба умерла как мученица, все отдав другим. Он до сих пор не может примириться с ее смертью. Осталась теперь одна мать. Но... сможет ли она приехать? Лена этого не знала...

Политические разговоры запрещались, но все-таки ему удалось спросить сестру:

— Сказали они тебе что-нибудь, когда ты уезжала?

Она поняла, о ком и о чем он спрашивает, и ответила:

— Абсолютно ничего. Они рассчитывают на тебя.

Потом он не раз повторял себе: «Они рассчитывают на тебя»...

Какое-то подсознательное чувство памяти восстанавливало все, случившееся вчера, и не мешало внимательно следить за бессвязными ответами Ван дер Люббе на вопросы председателя суда. Все то, что здесь происходит с Ван дер Люббе,— ложь, фарс, разыгрываемый прокуратурой и судом. Ван дер Люббе, этот «Фауст двадцатого века», либо молчал, либо вдруг в самых неподходящих местах допроса разражался идиотским, беззвучным смехом.

Георгий вновь вступил в борьбу с председателем суда, пытаясь прямыми вопросами вывести Ван дер Люббе из состояния безразличия. Напрасно!

Наконец Бюнгер не выдержал.

— Послушайте,— заорал он,— вы не имеете права вмешиваться в ход дела. Вы выступаете так, словно непосредственно участвуете в ведении заседания...

Всплески каких-то эмоций в зале еще больше подхлестывают Бюнгера, он отклоняет один за другим три вопроса Георгия. Подсудимые с укоризной смотрят на Димитрова, делают ему какие-то успокаивающие знаки.

Нет! Ничто не заставит его молчать. Сейчас можно подвести суд к вопросу, от которого судьи шарахаются, как от нечистой силы. Пусть по крайней мере корреспонденты услышат его и поймут психологию судей...

— Последний вопрос: этот Ван дер Люббе...— впервые голосу Георгия приходится бороться с шумом в зале.— Зачем он совершил это чудовищное

преступление против рабочего класса Германии и с кем он его совершил?

— Итак, я отклоняю ваши вопросы,— сказал Бюнгер, торопливо подгребая бумаги со стола к своей груди.— Хватит, довольно вопросов.

Бюнгер встает. Трепещут девять судейских мантий, пламя шелка длинными языками ускользает в дверь позади судей и вскоре вновь выплескивается обратно.

После короткого совещания Бюнгер, стоя, огласил решение суда:

— Подсудимому Димитрову больше не разрешается задавать вопросы, так как он злоупотребляет своим правом и спрашивает лишь для того, чтобы вести коммунистическую пропаганду.

Георгий вскакивает со своего места, пытаясь что-то сказать.

— Довольно, Димитров! — кричит Бюнгер, бросая листы протокола на стол.

Суд оглашает решение о «новом методе» ведения следствия: завтра вместо Ван дер Люббе будет допрашиваться его следователь, советник имперского суда Фогт.

Фогт явится в суд! Георгий боялся выдать охватившее его волнение. Гнев и торжество вспыхнули в нем: поговорить с Фогтом еще раз, поговорить с Фогтом не в наглухо закрытой следственной камере, а на виду у всех. Понимает ли Бюнгер, чем это пахнет?.. Впрочем, может быть, у него нет иного выбора: допрос Ван дер Люббе становится посмешищем и таит опасность разоблачений.

Весь вечер после судебного заседания Георгий готовился к встрече с Фогтом, просматривал свой дневник, копии писем.

На следующий день Георгий встретил Фогта бес-

пощадным взглядом в упор. Ох, как хорошо он его знал! Надменный, чопорный человечек в аккуратном, отутюженном костюмчике, с прямой спиной и выпяченной грудью. Кажется, если постучать по нему, раздастся такой же звук, как от щелчка по деревянному протезу.

Бюнгер отнесся к новому свидетелю с подчеркнутой почтительностью и благоговейно приступил к допросу.

Фашистский защитник Торглера Зак спросил Фогта, достаточно ли объективно он вел допрос Ван дер Люббе? Видимо, Зак хотел дать толчок фогтовскому красноречию. Но Фогт обиделся.

— Я полагаю,— сказал он, подняв голову и глядя снизу вверх на судей,— такой вопрос не должен быть мне поставлен. Я могу лишь сказать,— он искоса оглядел свой пиджачок, одернул его и вновь поднял голову,— я могу лишь сказать, что, во-первых, я германский следователь, во-вторых, я советник имперского суда и, в-третьих, мое имя — Фогт!

Он окинул взглядом судей, повернулся и оглядел зал. Затем, склонив голову набок, застыл в деревянной позе в ожидании следующих вопросов.

Георгий, сдерживая себя, как можно более спокойно попросил у председателя разрешения задать свидетелю вопрос.

Какая-то тень пробежала по застывшему лицу Фогта, но он овладел собой и остался в прежней позе холодного внимания.

Георгий, обращаясь к Бюнгеру, спросил:

— Не вводил ли свидетель в заблуждение общественное мнение до начала следствия и не составлял ли он протоколов допросов тенденциозно?

Фогт стал пространно рассказывать о своем безукоризненном методе ведения следствия, по временам

одергивая костюмчик и всем своим видом давая понять, что он добросовестнейший судебный чиновник.

Георгий терпеливо ждал, когда Фогт выговорится. «Ты лжив, нагл и жесток,— говорил себе Георгий, слушая его,— но ты мелок и глуп».

И Фогт шел навстречу собственному поражению, уготованному ему Георгием, не замечая того.

XXVII

Наконец фогтовское красноречие иссякло. Георгий задал ему тот же самый вопрос, но на этот раз сформулированный с предельной конкретностью, не оставлявшей места для лазейки:

— Публиковал ли Фогт первого апреля, перед началом следствия, сообщение, в котором утверждалось, что Димитров, Попов и Танев подожгли рейхстаг вместе с Ван дер Люббе?

Георгий повернулся к Фогту, и в тишине, наступавшей в зале всякий раз, когда он начинал говорить, тоном, в котором отчетливо чувствовалось презрение, резко и громко бросил ему в лицо:

— Я спрашиваю: да или нет?

Трепет пробежал по залу.

Фогт молчал. Молчал и Бюнгер. Наконец, председатель суда пришел в себя.

— Что за тон? — воскликнул Бюнгер.— Если вы не измените своего тона, я лишу вас права задавать вопросы.

Георгий впился испепеляющим взглядом в лицо Фогта. Фогт опустил глаза. В первый раз он опустил глаза!

— Да, такое сообщение было дано...— произнес он как бы по инерции тоном безупречного служаки.

но смысл того, что он сказал, изобличал предвзятость и необъективность следствия, и он запнулся.

В зале переговаривались, кашляли. Только теперь Фогт понял, куда загнал его Димитров.

— В этом сообщении,— продолжал не очень уверенно Фогт,— также указывалось, что трое арестованных болгар принимали участие во взрыве Софийского собора. Но позднее...

Нетрудно было догадаться, что делается в душонке Фогта: он искал спасения в том, чтобы сосредоточить внимание судей и публики на второй части своего предвзятого сообщения в печати. Георгий злорадно усмехнулся: «Ну что ж, лезь дальше в петлю!»

— Позднее,— повторил Фогт,— я сказал Димитрову, что сообщение мне кажется ложным, но он сам виноват в этом, так как не поправил меня, когда я в разговоре о болгарском восстании двадцать третьего года поставил его в связь со взрывом Софийского собора, в то время как в действительности собор был взорван в двадцать пятом году.— Внешне Фогт был все так же обстоятелен и безупречно скрупулезен, но в голосе его не хватало прежней жесткости, и он, окончательно сбившись со своего обычного тона, закончил: — Я тогда сказал ему, что опубликованное мною сообщение покоится на заблуждении...

Все! Дальше идти некуда.

— Мой вопрос не понят,— сказал, разводя руками Георгий.— Я и не думал говорить о взрыве Софийского собора. Я только говорил о том, что перед началом предварительного следствия следователь распространил клеветническое утверждение о моем участии в поджоге рейхстага.

Бюнгер, слушавший Димитрова в напряженной позе, воскликнул:

 — Что вы хотите этим доказать?

— Я хочу доказать,— в полную силу своего голоса, обращаясь к притихшему залу, сказал Георгий,— что следствие велось тенденциозно и общественное мнение было введено в заблуждение.

— Я не потерплю этого больше, замолчите! — Бюнгер непроизвольно сжал кулаки.— Вы не имеете права давать указания судебному следователю.

Фогт, поджав губы, закивал.

Георгий взял со своего стула книгу и поднял ее над головой.

— На основании германского процессуального кодекса,— сказал он,— я констатирую: то, что я был закован в кандалы по распоряжению следователя Фогта, противоречит закону.

Бюнгер раздраженно пробормотал:

— Нечего больше говорить об этом.

Фогт стоял, сжавшись, опустив глаза, повернувшись спиной к залу.

Лицо Георгия дышало гневом, он не собирался щадить Фогта.

— Я написал письмо французским юристам и сообщил им, что не имею ничего общего с поджогом рейхстага.— Георгий выбросил вперед руку, указывая в спину Фогта.— Это письмо не было отправлено.

Бюнгер заколотил по столу томом обвинительного акта.

— Сядьте! — визгливо крикнул он.

Полицейские, взяв за руки Георгия, силой усадили его на стул. Он вырвал руки и, тяжело дыша, загреб пальцами свои волосы и откинул их назад.

Через пять минут Бюнгер читал решение суда:

— Димитров лишается права задавать вопросы, и если он еще раз попытается сказать хотя бы одно слово, он будет немедленно выведен из зала заседаний.

Димитров, возбужденный, с желваками на щеках, искоса поглядывал на Бюнгера, кивая в такт его словам, точно хотел сказать, что иного от него и не ждал.

Только после заседания, в камере лейпцигской тюрьмы, к нему пришло успокоение. Все-таки он расправился с Фогтом! И публика, корреспонденты иностранных газет, кажется, поняли. А может быть, впечатления его от реакции публики обманчивы? Нет!

С каждым днем процесса все отчетливее становилась реакция корреспондентов в зале суда. По вечерам, измотанный судебным заседанием, Георгий с пристрастием спрашивал себя: что происходит? Иной раз он не верил себе, своим догадкам. Ведь в зале сидели буржуазные журналисты — других сюда не допустили,— те, для многих из которых Георгий непонятен и враждебен. И все-таки, в причудливом калейдоскопе мелькавших перед ним лиц, в не поддающейся никакому анализу, часто неожиданной реакции публики, даже в стычках с председателем суда, Георгий все отчетливее обнаруживал одну странную черту: правоту его понимают. Понимают! По тому, как относятся к нему конвоиры — по их взглядам, усмешкам, даже молчанию — можно судить, насколько удачно он выступал. Недаром конвоиров меняют каждый день! Бюнгера почти ежедневно охватывает бешенство после стычек с ним, Георгием, но даже и Бюнгер, и судьи ждут от него острого слова или — о чудо! — тонкой похвалы своим способностям, своей юридической квалификации. Ждут, как это ни странно! А корреспонденты? Среди них нет ни одного коммуниста или социалиста, но и они на его стороне во время жестоких схваток со свидетелями, прокурором и судьями.

Многие из тех, кого обычно зачисляют в стан врагов, способны понять то, чем дышит, чем живет Георгий. Они никогда не станут коммунистами и друзьями — смешно говорить! — и никто из них не согласится с тем, что составляет смысл и содержание его жизни. Но они его понимают, а некоторые и одобряют, может быть, они просто подпали под обаяние его личности? Нет, здесь что-то иное, что-то очень нужное и важное. Что же? Что? Не присуща ли всем честным людям органическая ненависть к фашизму? Так оно и есть! Иначе чем же объяснить то единодушие буржуазной и социал-демократической печати в оценке судебного фарса? И это не просто сугубо человеческие симпатии или же антипатии. Это единство против фашизма, против его политики и его морали, единый фронт без перехода союзников на политические позиции какой-нибудь одной партии!

Не слишком ли огрубленно представляли мы себе единый фронт, когда ждали, а иногда требовали от своих возможных союзников перехода на наши политические позиции, вместо того чтобы искать поддержки в решении общих демократических задач? Не оттого ли прекратила свое существование Антиимпериалистическая лига? По-видимому, идея единого фронта сложнее, многообразнее, многограннее, чем мы ее себе представляли. Ленин говорил: нам нужны союзники — пусть колеблющиеся, пусть временные, пусть недостаточно последовательные, но все-таки союзники, облегчающие борьбу, и он, разумеется, прав.

Эти мысли давали Георгию новые силы, помогали находить правильную тактику поведения на суде, исподволь обдумывать то, что предстоит сказать в своей последней защитительной речи, которую Бюнгер, обрывая его и изгоняя из зала суда во время

допросов свидетелей, обещал терпеливо выслушать в конце процесса.

С еще большей последовательностью Георгий стремился обнаружить во время допросов свидетелей ложь и лицемерие фашизма, его политику провокаций, моральное убожество, жестокость, садизм и грязь — все то, что, попав в статьи иностранных корреспондентов, должно было усилить сопротивление фашизму. С Фогтом Георгий расправился, охваченный гневом и презрением к его ничтожеству, наказывая его за жестокое отношение к себе. Теперь Георгий все отчетливее понимал, что изобличение Фогта было не только справедливым возмездием, оно было также толчком к незримому, без договоров и обязательств, единению, о возникновении, о существовании которого он стал постепенно догадываться.

XXVIII

Процесс перенесли в Берлин, и Георгия возили туда из тюрьмы Моабит в черной закрытой карете. В перерывах между судебными заседаниями он опять мог читать немецкую историю, Шекспира и Гёте. С тюремным библиотекарем Моабита у него были хорошие отношения.

Георгий уходил в поэзию Шекспира и Гёте, как уходят в леса по склонам гор, наполненным чистым воздухом и простором. А мысль его неотступно расширяла ту брешь, которую ему удалось пробить сквозь стены тюрьмы и судебного зала, углубляла открытие, на пороге которого он стоял.

Через много дней изнуряющих судебных заседаний, стычек с судьями, неоднократных лишений слова и удалений из зала Георгий однажды во время до-

проса лжесвидетеля, морфиниста и вора Либермана, как бы подвел итог своим наблюдениям.

— Мне хотелось бы только, господин председатель и господа судьи, заметить,— сказал он совершенно спокойным тоном,— что круг свидетелей прокуратуры против нас, обвиняемых коммунистов, сегодня этим свидетелем замкнулся. Этот круг открылся депутатами рейхстага от национал-социалистской партии, национал-социалистским журналистом и замкнулся вором...

Он говорил о замкнувшемся круге, зная, что в суд в качестве свидетеля уже был вызван — или, может быть, приказал себя вызвать — всемогущий Геринг. И тем большую притягательную силу — Георгий понимал это и стремился к этому — имели сказанные им слова. Они незримо противопоставляли то, что делалось на суде и в фашистской Германии, всему остальному миру, каким бы он ни был несовершенным, этот мир.

Бюнгер понял скрытую силу его слов лишь на следующий день, после грубого окрика в свой адрес «Фелькишер беобахтер»: почему председатель суда не наказал Димитрова за дерзость. Тогда Бюнгер пригрозил Димитрову жестокими репрессиями.

Все мысли Георгия, его выступления во время судебных заседаний, трудная работа по девять часов в день — все теперь было подчинено одному желанию, одному стремлению, одной страсти. Он ждал появления в суде Геринга, предвидя, что это будет вершиной всего того, что с такой последовательностью делал на суде. Вершиной и, может быть, концом его, Георгия, как личности, как человека. «Быть или не быть?» — этот вопрос возникал и перед ним в реальной действительности, и потому приобретал огромную глубину и новое значение. По вечерам в тюремной

камере, почти приговоренный к смерти — если не судом, то правителями Германии,— он вчитывался в строки «Гамлета» и «Фауста». Он искал своего решения вопроса «быть или не быть», иного, чем у Гамлета. Свобода и сила духа Шекспира и Гёте витали над ним и утверждали его в неизбежности собственного решения. Он считал, что лишь один шанс из ста за то, что он остается в живых. Но он был безгранично убежден также в том, что жить — это значит для него все время быть в бою против Мефистофелей двадцатого века. Смерть в таком бою не означает поражения, ибо он сам, его разум, его личность — лишь маленькая частица противоборствующих фашизму сил. И в том, что на его защиту поднялись многие, был смысл его жизни, и его смерти, и бессмертия его дела.

Он нашел у Гёте то, что выражало состояние его духа, может быть, даже глубже, чем политические формулы:

Впору ум готовь же свой.
На весах великих счастья
Чашам редко дан покой:
Должен ты иль подыматься,
Или долу опускаться;
Властвуй — или покоряйся,
С торжеством — иль с горем знайся,
Тяжким молотом взвивайся —
Или наковальней стой.

Да, кто не хочет быть наковальней, тот должен быть молотом! Истина, которую германский рабочий класс в целом — именно в целом — не понял ни в восемнадцатом, ни в двадцать третьем, ни в январе тридцать третьего...

Эту мысль надо сделать достоянием многих, и она дойдет до товарищей через стены тюрьмы в заключительном слове.

Накануне того дня, когда должен был появиться всемогущий свидетель, председатель суда благоразумно удалил Димитрова из зала заседаний. И все-таки Димитров был вызван в суд. Он ехал в тюремной карете из тюрьмы Моабит в здание рейхстага, где происходило теперь судебное заседание, и внутренне усмехался. Он догадывался, кто отменил решение председателя суда. Геринг хотел увидеть своего заклятого, не желавшего сдаваться врага и сразиться с ним. Иначе не могло быть, Бюнгер прежде никогда не отменял своих решений.

Улицы, прилегающие к рейхстагу, были забиты полицией, отрядами штурмовиков и полицейскими машинами.

Димитрова ввели в переполненный зал заседаний суда, и он сразу же увидел Геринга. Затянутый в военную форму, он расположился в первом — почти пустом — ряду сразу на двух стульях. Подле него сидел худощавый, с изуродованным шрамами лицом — следы студенческих дуэлей — шеф берлинского гестапо Дильс. Геринг с натугой поворачивал толстую шею к своему соседу,— они о чем-то тихо совещались. Глазки Геринга, глубоко вделанные в мягкое, лишенное костной структуры лицо с обрубленным подбородком, под которым висели складки жира, остро поблескивали.

Поодаль от них, в том же первом ряду, сидела элегантно одетая девушка и с открытой заинтересованностью смотрела на Георгия. Нельзя было не заметить ее пристального, изучающего взгляда. Георгий невольно несколько раз встречался с ней глазами. Кто это мог быть: близкий Герингу или Дильсу человек? Но почему так мягко светились эти спокойные, удивленные глаза?..

Димитров не знал и не мог знать, что неподалеку от Геринга сидела дочь американского посла Марта Додд. К счастью, она рассказала обо всем в своих записках, названных ею «Из окна американского посольства» и опубликованных гораздо позднее. С интересом читал я свидетельство современницы Лейпцигского процесса.

Марта получила билет от Дильса. Он сказал: «Грешно пропустить самый драматический момент во всем процессе».

С Дильсом Марта познакомилась на одном из скучных обедов. Он поразил ее своей внешностью: лет тридцати, иссиня-черные волосы, лицо в синеватых шрамах — даже рот изуродован ударом шпаги, и холодные, пронизывающие глаза. Он был совершенно непохож на чопорных, сдержанных гостей на том обеде, и уже одним этим вызывал интерес Марты. Она угадывала за его вкрадчивыми движениями и жесткими интонациями речи, за его мрачным взглядом опасный и потому притягательный сгусток энергии. Это было время, когда Германия, увиденная ею из окна посольского автомобиля, удивляла ее своей устремленностью и собранностью: флаги со свастикой, марширующие отряды штурмовиков, молодые люди в полувоенной форме... Ничего похожего не было в Америке. Американской жизни не хватало укрепляющих волю идей и пробуждающего душу героического начала — так думала Марта. С наивностью девочки, не знавшей истинного положения вещей в Германии, Марта решила, что нашла нечто потрясающе интересное. В то время отец Марты, историк, американский демократ старой закалки, полушутя, полусерьезно называл ее «юной нацисткой».

Дильс, казавшийся Марте олицетворением новой
 Германии, часто бывал у них в доме на официальных

визитах. Приходил он обычно поздно вечером и совершенно неожиданно, без доклада дворецкого, каким-то образом проскальзывая незамеченным. Гости веселились, болтали, танцевали — и вдруг воцарялось молчание: на пороге комнаты стоял Дильс.

Со временем посещения Дильса участились. Он заглядывал запросто в дом Доддов, приглашая Марту в театр или ресторан. Иногда они уезжали за город, бродили в лесу, забирались в какой-нибудь тихий, пустовавший ресторанчик на окраине города. Дильс дал ей понять, что только за городом, когда никого нет рядом, он может быть откровенен. Однажды он сказал ей — то ли для того, чтобы придать себе мрачную героичность, то ли предупреждая об опасности,— что в служебных комнатах посольства и у них на квартире в стенах проложены провода для потайных микрофонов, все телефонные разговоры подслушиваются. Это сообщение потрясло Марту, она не могла заснуть в своей комнате и среди ночи перешла в спальню матери.

В другой вечер Дильс, проводив ее до дому, сказал, что не прочь посидеть в тепле за стаканом виски. Он был чем-то встревожен и, наверное, хотел отвести душу. Марта пригласила его войти.

В домашней библиотеке, где они расположились, Марта схватила с дивана подушку и накрыла ею телефонный аппарат.

Дильс усмехнулся и, молча одобрительно кивнув, опустился в кресло. Весь вечер они провели в библиотеке. Дильс, потягивая виски, заговорил о том, что сам подвергается слежке и не может быть спокоен ни одного дня. Он дал ей понять, что слежкой занимается не только гестапо, но и другие ведомства, что Геббельс шпионит за Герингом, а Геринг за Геббельсом, и оба они — за гестапо, а гестапо за ними, и что ему,

Дильсу, приходится следить за другими, а другие следят за ним...

Дильс опять разоткровенничался. Несколько лет назад социал-демократ министериаль-директор Абег взял его на работу в прусское министерство внутренних дел, которое возглавлял Зеверинг. Вскоре Дильс получил пост референта по делам коммунистической партии. Рассказывая все это, он дал понять, что злоупотреблял своим постом, осведомлял нацистов о слежке за компартией. После того как к власти пришли нацисты, Геринг поставил его во главе вновь созданной тайной полиции — гестапо.

Марте трудно было слушать эти откровения, с некоторых пор Дильс пугал ее. А он, видимо, все еще находился под впечатлением прежней симпатии Марты к нацистам. Слушая Дильса в этот вечер, Марта подумала, что его посещения не были пустым времяпрепровождением. Он, наверное, хотел на всякий случай через нее заручиться поддержкой американского посольства. О, сколько в нем было хитрости и коварства!

Знакомство с Дильсом постепенно довело Марту до грани истерии. Она стала бояться всякого откровенного разговора о порядках в Германии со своими немецкими друзьями или знакомыми из других посольств. Боялась говорить по телефону, боялась телефонного аппарата, подозревая, что в него вделан тайный микрофон, боялась самих стен...

У отца уже не было никаких оснований хотя бы в шутку называть ее «юной нацисткой»... Вспоминая Америку, Марта с невольной тревогой спрашивала себя: знает ли она свою родину достаточно хорошо и не постигнет ли ее разочарование, когда она взглянет на Америку более пристально и внимательно, уже не глазами наивной, взбалмошной девчонки?

Впоследствии Марта Додд стала, как известно, антифашистской писательницей и вынуждена была бежать из Америки. Но в те времена она была еще далека от литературы и от политики. Она просто жадно всматривалась в жизнь.

На заседании суда Марта бывала не раз еще до того, как должен был выступить Геринг. Билеты на процесс приносил ей все тот же Дильс и потом спрашивал о ее впечатлениях. Он говорил, что нацистское руководство и особенно Геринг недовольны мягкотелостью Бюнгера, его неспособностью «заткнуть рот» подсудимому. В конце концов Геринг решил поправить дела сам. Несколько дней назад, в первый раз увидев Димитрова, Марта была поражена правдой, которой дышали его слова. Она почувствовала, что этот человек по своему содержанию, своим качествам, по своей человеческой сути не сравним ни с Дильсом, ни с Герингом, которого она также знала, встречаясь с ним на официальных приемах. Димитров превосходил их умом, смелостью и внутренней силой.

Обо всем этом мне довелось прочесть в ее книге, и я как бы собственными глазами увидел, как она сидела в тот памятный день в первом ряду судебного зала, совсем недалеко от Димитрова, напряженно всматриваясь в его лицо...

XXIX

Едва начался допрос, все внимание Георгия вновь сосредоточилось на ходе судебного заседания. Он начал задавать вопросы министру-председателю спокойно, отточенными фразами, проникнутыми непоко-

лебимой логикой. В памяти у него был весь процесс. Он знал слабые места судебного следствия и именно на них сосредоточивал внимание. Он видел, с какой настороженностью следил за ним Бюнгер. Председатель суда, в напряженной позе, упершись кулаками в край стола, готов был каждую секунду вскочить и прервать его. Георгий не хотел давать ему повода для репрессий: надо было помочь министру-председателю разговориться.

Первые же вопросы Димитрова заставили Геринга подтвердить, что правительственные сообщения о поджоге и сообщения его самого, Геринга, были в сущности бездоказательны, тенденциозны и дали следствию предвзятое направление. Геринг во всеуслышание объявил, что он гордится такой предвзятостью. Но тут же он понял, что его подтолкнули на опасный путь.

— Нужно сказать,— заметил Геринг, не умея сдержать досады и неприязни, но пытаясь сохранять видимость спокойствия,— что я до сих пор очень мало интересовался этим процессом, то есть читал не все отчеты. Я только иногда слышал,— он повернулся к Димитрову всей своей тучной фигурой с живостью, которую трудно было в нем предполагать, и Димитров увидел его лицо с обвисшими щеками и обрубленным подбородком, заливаемое буроватыми пятнами раздражения,— что вы — большой хитрец. Поэтому я предполагаю, что вопрос, который вы задали, давно ясен для вас.

Георгий усмехнулся про себя: трогательная догадливость и неуклюжая откровенность. Того и гляди, министр-председатель разразится бранью.

— Не исключило ли это ваше заявление,— безукоризненно вежливо и холодно спросил Димитров,— возможности,— он приостановился и подчеркнуто

сказал: — возможности идти по другим следам в поисках подлинных поджигателей рейхстага?

Геринг, все более и более теряя самообладание, принялся говорить о том, что нельзя отождествлять его, министра, с уголовной полицией, дело которой обнаружить все следы.

— С моей точки зрения,— продолжал Геринг громко и отрывисто, точно выплевывая слова прямо в лицо Димитрову,— это было политическое преступление, и я был убежден, что преступников надо искать в вашей партии.— Лицо его стало багровым, глазки округлились, он поднял короткие руки со сжатыми кулаками и злобно закричал: — Ваша партия — это партия преступников, которую надо уничтожить!..

Димитров, опершись на стол обеими руками и подавшись в сторону Геринга, тем же безупречно вежливым и холодным тоном спросил:

— Известно ли господину премьер-министру, что эта партия, которую «надо уничтожить», является правящей на шестой части земного шара, а именно в Советском Союзе, и что Советский Союз поддерживает с Германией дипломатические, политические и экономические отношения, что его заказы приносят пользу сотням тысяч германских рабочих?

Геринг, задыхаясь, глотал слюну, но так и не нашелся, что сказать в ответ.

Бюнгер пришел на помощь, крикнул Димитрову:

— Я запрещаю вам здесь вести коммунистическую пропаганду!

Димитров, отрывая руки от стола и выпрямляясь, сказал Бюнгеру:

— Господин Геринг ведет здесь национал-социалистскую пропаганду! — И вновь наклоняясь вперед и обращаясь к Герингу, продолжал.— Это коммунистическое мировоззрение господствует в Советском

Союзе, в величайшей и лучшей стране мира, и имеет здесь, в Германии, миллионы приверженцев в лице лучших сынов германского народа. Известно ли это...

Геринг наконец, захватив воздуха в легкие и немного отдышавшись, прервал Димитрова новым взрывом дребезжащего, режущего крика:

— Я вам скажу, что известно германскому народу... Германскому народу известно... что здесь вы бессовестно ведете себя, что вы явились сюда, чтобы поджечь рейхстаг. Но я здесь,— он поднялся на носки и качнулся всем своим непомерно грузным телом,— я здесь не для того, чтобы позволить вам себя допрашивать, как судье, и бросать мне упреки! Вы в моих глазах мошенник, которого надо просто повесить.

Бюнгер принялся объяснять Димитрову, что свидетель выведен из равновесия пропагандой коммунизма.

— Пусть вас не удивляет, что господин свидетель так негодует...— добавил он, искоса поглядывая на Геринга и как бы говоря: «Ну, успокойтесь же, господин премьер-министр!».

Димитров понял и смысл этого взгляда, и назначение этих слов.

— Я очень доволен ответом господина премьерминистра,— улыбаясь, сказал он.

Улыбка Димитрова была столь откровенной и торжествующей, что Бюнгер взорвался:

— Мне совершенно безразлично, довольны вы или нет! Я лишаю вас слова.

Димитров спокойно сказал:

— Но у меня есть еще вопрос, относящийся к делу.

Бюнгер вскочил.

— Я лишаю вас слова! — резко бросил он.

Геринг, совершенно теряя самообладание, заорал:

— Вон, подлец!

Бюнгер послушно приказал полицейским:

— Выведите его!

Когда полицейские схватили Димитрова за руки и, с трудом одолевая его сопротивление, поволокли к выходу, он на несколько секунд сумел приостановиться и, обернувшись к Герингу, сказал:

— Вы, наверно, боитесь моих вопросов, господин премьер-министр?

Геринг сделал несколько шагов в его сторону и, покрутив кулаком перед своей лоснящейся от обильного пота физиономией, крикнул вслед Димитрову:

— Смотрите, берегитесь, я с вами расправлюсь, как только вы выйдете из зала суда! Подлец!

Это был третий в жизни Димитрова смертный приговор. Геринг всегда приводил в исполнение подобные свои приговоры, и Димитров это знал. Он почти привык к мысли о том, что ему не избежать смерти в тюрьме; слова Геринга отсекли последнюю теплившуюся у него надежду на спасение.

В тюремной камере он мысленно сказал себе: «Уж если так суждено, пусть будет так. Но вы не заставите меня раскаиваться, господа, как бы вам этого ни хотелось».

Принесли белье из стирки. На уголке счета прачечной Георгий прочел слово «привет», мелко нацарапанное остро заточенным карандашом. Он присел на табурет у стола, зажав в кулаке узкую бумажку. Свет и тепло жизни возвращались к нему.

Через несколько дней в зале суда появился прихрамывающий Геббельс. Он не кричал, не поднимал кулаков, не отверг ни одного вопроса Георгия. Но и не ответил, по существу, ни на один его вопрос. Всем своим видом, интонациями голоса он как бы говорил: «Посмотрите, господа, разве я похож на Геринга?..»

Под конец он сказал, что отвечает на вопросы Димитрова только для того, чтобы не дать ему и прессе повода утверждать, будто он, Геббельс, испугался.

Из этих слов Георгий понял, что выиграл стычку с Герингом и что Геббельс явился спасать положение. Не так часто выпадает на долю узника радость в тюрьме. К нему она пришла, Георгий еще раз ощутил силу единения людей. Великая сила!

Почти вслед за допросами Геринга и Геббельса в суд вызвали Ани Крюгер. Судьи приберегли этот удар напоследок. Того, кто не потерялся перед угрозой смерти, они хотели втоптать в грязь морального падения. И все же вызов в суд Ани Крюгер был косвенным подтверждением того, что до сих пор суду не удалось сломить Георгия.

Два с лишним месяца с тех пор, как Бюнгер пригрозил ему очной ставкой с госпожой Крюгер, суд держал его в ожидании дня, когда — видимо, Бюнгер убежден в этом — будет уничтожена его честь.

Госпожа Крюгер стояла перед судьей потерянная и разбитая, едва сдерживая рыдания. Бюнгер спросил ее, кем были напечатаны карточки о ее помолвке с доктором Шаафсма, под именем которого нелегально жил в то время Димитров. Госпожа Крюгер ответила, что карточки она напечатала без ведома господина Шаафсма, то есть господина Димитрова, и послала некоторым своим знакомым.

Вот откуда взялись карточки о помолвке! Георгий слушал ее со странным чувством горечи. Госпожа Крюгер оставалась госпожой Крюгер, и тут уж ничего нельзя поделать.

Он поднялся и, смело глядя в зал, воскликнул:

— В связи с карточками я констатирую, что мои обвинители...— он хотел сказать «еще раз провалились».

Бюнгер оборвал его:

— Кончено! На сегодня я лишаю вас слова. Показаниями свидетельницы теперь выяснено, что не благодаря вам появились на свет карточки о помолвке.

Георгий, не обращая внимания на протесты Бюнгера, спросил:

— Вы были арестованы в связи с моим делом?

В наступившей тишине госпожа Крюгер сказала:

— Да, я была арестована...

Силы изменили ей, она поднесла скомканный в руке платок ко рту, пытаясь заглушить рыдания.

Бюнгер вскочил и объявил заседание суда закрытым.

XXX

У себя в тюремной камере Георгий долго не мог успокоиться в тот вечер. Что еще готовят ему его судьи? Все их обвинения рушатся одно за другим, но и его силы иссякают. Есть же предел напряжению человеческих нервов.

Через пять дней после допроса Ани Крюгер — это было в середине ноября,— войдя в судебный зал, Георгий увидел мать.

Мать! Она казалась здесь, в этом большом зале, среди сотен людей, совсем маленькой, сухонькой и беспомощной. Тотчас он понял, что она просто постарела за те десять лет, которые он не видел ее. Она смотрела на сына, вытянув тонкую шею и, немного иронически, как всегда, поджав губы. В добрых, знакомых с детства прозрачных глазах ее были и радость, и счастье, и боль, и что-то еще — особенное,

свойственное только ей, что нельзя было выразить словами, но что всегда давало ему новые силы.

«Как хорошо, что ты приехала именно сейчас,— беззвучно говорил он ей, и она, наверное, понимала его, потому что, глядя на него, едва приметно мягко, одобряюще покачивала головой.— Именно сейчас нужна ты мне, ты, давшая всем нам силы. Люба умерла, и теперь только ты — смелая, никогда не сгибавшаяся в горе, бесконечно дорогая мне — осталась у меня. Уж на тебя-то я могу положиться, родная!..»

Рядом с ней сидела старшая сестра Магдалина и кивала ему. Они поздоровались на расстоянии.

Во время перерыва Георгия привели для встречи с матерью в мрачную большую комнату. Матери еще не было.

Высокий, сухощавый немецкий чиновник в стороне жевал бутерброд. Переводчик Тарапанов негромко по-болгарски сказал Георгию:

— Все в полном восторге от постановки вопросов и от вашей защиты. Но этот ужасный тон...

— Тон делает музыку,— ответил, улыбнувшись, Георгий.

Вошли мать и сестра. Он быстро приблизился к ним и, склонив голову, коснулся лбом худенького острого плеча матери. Поцеловал сестру.

— Вот и увиделись...— сказал Георгий. Глаза его были полны слез.— Как дети? — спросил он у сестры, стараясь скрыть за обычными после долгой разлуки вопросами охватившую его слабость.— Радуюсь поведению Любчо, передай ему привет от меня.

— Ты похудел,— сказала мать, проводя рукой по его седеющим, но все еще волнистым и мягким волосам.— Отчего рукава рваные?

 — Это следы от кандалов.

— Я не понимаю, что они говорят по-немецки,— горестно сказала мать,— но когда я наблюдаю за ними, я вижу, что они не выпустят тебя...

Чиновник, слушая перевод того, что сказала мать, перестал работать челюстями.

— Передайте ей,— сказал он переводчику,— пусть она скажет сыну, чтобы он меньше говорил на суде.

Мать выслушала переводчика и долгим, долгим взглядом посмотрела сыну в глаза.

— Ты должен говорить, сынок, как считаешь нужным,— сказала она.— У тебя дар Павла...

Передо мной — заключительные строки стенограммы речи Димитрова на суде.

«Д и м и т р о в. Верховный прокурор предложил оправдать обвиняемых — болгар за отсутствием доказательств их виновности. Но меня это отнюдь не может удовлетворить. Вопрос далеко не так прост. Это не устраняло бы подозрений. Нет, во время процесса было доказано, что мы ничего не имеем общего с поджогом рейхстага; поэтому нет места для каких-либо подозрений. Мы, болгары, так же как и Торглер, должны быть оправданы не за отсутствием улик, а потому, что мы, как коммунисты, не имеем и не могли иметь ничего общего с этим антикоммунистическим актом. Я предлагаю вынести следующее решение:

1. Верховному суду признать нашу невиновность в этом деле, а обвинение — неправильным; это относится к нам: ко мне, Торглеру, Попову и Таневу.

2. Ван дер Люббе рассматривать как орудие, использованное во вред рабочему классу.

3. Виновных за необоснованное обвинение против нас привлечь к ответственности.

4. За счет этих виновных возместить убытки за потерянное нами время, поврежденное здоровье и перенесенные страдания.

Председатель. Эти ваши так называемые предложения суд при обсуждении приговора будет иметь в виду.

Димитров. Наступит время, когда такие предложения будут выполнены с процентами. Что касается полного выяснения вопроса о поджоге рейхстага и выявления истинных поджигателей, то это, конечно, *сделает* всенародный суд грядущей пролетарской диктатуры.

В XVII веке основатель научной физики Галилео Галилей предстал перед строгим судом инквизиции, который должен был приговорить его как еретика к смерти. Он с глубоким убеждением и решимостью воскликнул: *«А все-таки земля вертится!»* И это научное положение стало позднее достоянием всего человечества.

(Председатель резко прерывает Димитрова, встает, собирает бумаги и готовится уйти.)

Димитров (продолжает). *Мы, коммунисты, можем сейчас не менее решительно, чем старик Галилей, сказать: «И все-таки она вертится!» Колесо истории вертится, движется вперед, в сторону советской Европы, в сторону Всемирного союза советских республик...»* (Полицейские хватают Димитрова и силой усаживают на скамью подсудимых.)»

Как известно, приговором суда «за отсутствием улик» Димитров, Попов, Танев и Торглер были оправданы. Ван дер Люббе судьи приговорили к смертной казни. Но этим дело не закончилось.

Секретные документы из архива берлинского гестапо, захваченные после разгрома Германии, показали, какой опасности подвергался оправданный по

суду Димитров. Уже после окончания процесса, 4 января 1934 года, на совещании в имперском министерстве внутренних дел обсуждалась дальнейшая судьба Димитрова. Изучая секретные документы, я живо представил себе не только это совещание, в котором зловещую роль сыграл уже знакомый читателям шеф берлинского гестапо Дильс, но и все то, что ему предшествовало, а также то, что произошло потом...

Накануне совещания Дильс заперся в своем кабинете. Постукивая по столу длинным, отточенным ногтем, он еще раз изучал стенограмму заключительной речи Димитрова. Поразительно, с какой глубиной Димитров разбирается в тонкостях политической жизни Германии! А конец речи! Это же открытый призыв к борьбе с нацизмом...

Дильс с силой захлопнул тетрадь стенограммы. Его израненное шрамами лицо стало неподвижным, и в глазах вспыхнул недобрый огонек. Да, есть силы, которые нелегко преодолеть: они постепенно охватывают весь мир.

Имперский советник хорошо помнил, как недавно пришлось сопровождать группу иностранных журналистов в тюрьму полицей-президиума на Александерплац. Они, видите ли, хотели посмотреть, как содержатся политические заключенные, и вот, когда он вел всю компанию по длинному коридору, кто-то из журналистов спросил, не здесь ли Тельман. Такого вопроса Дильс не ждал и потому ответил не сразу. Сопровождавший их вахмистр сказал, что камера Тельмана находится как раз в этом месте тюрьмы. Желание увидеть Тельмана было единодушным. Пришлось рискнуть и распорядиться открыть дверь его камеры.

Крепкий, коренастый узник стоял у окна и смотрел на обрывок хмурого неба над тюремной стеной. Тельман спокойно сделал шаг в сторону и остановился в углу, повернувшись спиной к вошедшим и скрестив руки на груди. Дильсу пришлось придать своему голосу как можно больше мягкости. «Господин Тельман,— сказал он,— я привел к вам иностранных журналистов...» Тельман лишь едва пожал плечами и не повернулся. Дильс еще несколько раз обращался к нему. Узник оставался неподвижным. Дверь в камеру пришлось закрыть, не добившись от Тельмана ни слова.

Лицо Дильса горело, и шрамы — он знал — выступали еще отчетливей, выдавая пережитое им унижение. «Вы видите, господа,— сказал он журналистам,— этот человек подобен зверю. Бессмысленно разговаривать с ним. Его можно только запереть в клетку». Молчание было ему ответом. У тюрьмы, садясь в машину, Дильс услышал за спиной чье-то замечание: «Мне он чертовски нравится. Они не сломят его и за тысячу лет...»

Прервав наконец свои размышления, Дильс отправился в имперское министерство иностранных дел. На совещание он прибыл с некоторым опозданием. Вошел в комнату своими крадущимися шагами и остановился у двери. Все уже были в сборе. Разговоры стихли, и взгляды — то холодные и непроницаемые, то настороженные — устремились на него. Он поклонился общим поклоном и бесшумно прошел к оставшемуся свободным креслу. Дильс оглядел собравшихся. Вместе с ним — девять человек. Председатель совещания государственный секретарь Пфунднер и по два представителя от имперского министерства внутренних дел, министерства иностранных дел и Имперского министерства юстиции. Криминальный

советник Гелер, подчиненный Дильса, вел протокол.

Дильс терпеливо ждал, пока все эти господа доказывали друг другу, что Димитров должен быть отпущен на все четыре стороны за границы Германии и что есть подходящий для этого повод — официальное сообщение здешнего советского представителя: его правительство готово разрешить трем болгарам въезд в Россию.

Когда все уже было почти окончательно решено, Дильс попросил слова. Он сказал, что сделает официальное заявление по поручению господина премьер-министра Геринга. И затем в наступившей глухой тишине последовало и само заявление: господин премьер-министр не намерен выпускать на свободу политического преступника, который навсегда останется его врагом. «Определенные прусские круги» считают необходимым отправить Димитрова в концентрационный лагерь.

Государственный секретарь Пфунднер заявил, что выступление господина имперского советника Дильса вызывает целый ряд новых соображений...

Дильс сидел, как каменный, усмехаясь в душе: еще бы, господа чиновники, все эти соображения не могли прийти в ваши головы, прежде чем вам не напомнили о позиции господина премьер-министра.

Когда речь зашла о Торглере, господин государственный секретарь Пфунднер сразу же предоставил слово Дильсу.

— Господин премьер-министр,— сказал Дильс, оглядывая собравшихся холодным враждебным взглядом,— проявляет особый интерес к личности Торглера. На основании различных писем и заявлений Торглера можно предположить, что он отказался от своих прежних политических взглядов. По этой

причине прусское правительство было бы готово взять на себя заботу о нем...

На другой день Дильс написал письма верховному руководству СА — господину начальнику штаба имперскому министру Рему, рейхсфюреру СС господину президенту полиции Гиммлеру и заместителю фюрера господину имперскому министру Гессу с просьбой высказаться в имперском кабинете министров за отправку Димитрова в прусский концентрационный лагерь и исполнить таким образом особое желание господина премьер-министра Геринга.

Но вскоре после этого стало известно, что Советское правительство по просьбе родственников приняло в советское гражданство Димитрова, Танева и Попова. Советское полпредство в Берлине потребовало освобождения троих болгар из-под стражи и предоставления им возможности выезда в СССР. К требованию Советского правительства присоединился могучий, все более нараставший голос антифашистов всего мира. Все это заставило самого рейхсканцлера Гитлера пойти против желаний Геринга и принять решение об изгнании Димитрова и его товарищей из Германии...

Дильс молча, с бесстрастным видом выслушал доклад криминального советника Гелера, которому было поручено доставить болгар к самолету, отправлявшемуся в Советский Союз, а у самого так и кипело все внутри. Недолюбливал Дильс этого бывшего социал-демократа, который к тому же прекрасно знал, сколько энергии потратил Дильс, чтобы засадить Димитрова в концлагерь.

Гелер с видом бесстрастного наблюдателя сообщил Дильсу о последнем разговоре у самолета. Гелер высказал Димитрову пожелание, чтобы он за границей
 был объективным. «Конечно, я буду объективным,—

ответил Димитров.— Надеюсь возвратиться в Германию, но уже гостем германского советского правительства».

«Болван! — мысленно обругал Гелера Дильс.— Теперь слова Димитрова обойдут всю мировую печать». К тому же вскоре выяснилось: перед отправкой болгар в Советский Союз Гелер не позаботился о том, чтобы проверить их чемоданы. Димитрову удалось вывезти в Советский Союз свой тюремный дневник и стенограммы некоторых судебных заседаний.

XXXI

На Центральном московском аэродроме Георгия и его друзей встречали с цветами тысячи москвичей. В номер гостиницы «Люкс» на Тверской, куда он вернулся, набилось много народу. Было шумно и бестолково. Кто-то предложил выпить чаю.

— Разрешите мне самому сходить за кипятком,— сказал Георгий, беря чайник.— Я еще не забыл, где стоят кубы с горячей водой. В тюрьме не раз вспоминался наш «Люкс».

В тот же день его принял Сталин вместе с Ворошиловым и Мануильским. А вечером пришлось выступать на пресс-конференции перед ста корреспондентами советских и иностранных газет и телеграфных агентств.

Это был странный своей нереальностью реальный день...

Проснувшись утром, Георгий не сразу поверил, что свободен. Опять начались встречи с друзьями, интервью, работа над газетными статьями. Занятый делом, он не испытывал потребности в отдыхе и лишь

иногда, в редкую свободную минуту, удивлялся, почему не валится с ног от скопившейся в нем неимоверной, закоренелой усталости...

Мне довелось встретиться с одним из тех журналистов, которые взяли интервью у Димитрова в самые первые дни приезда героя Лейпцигского процесса в Москву. Литератор Евгений Симонов в 1934 году начинал свою журналистскую деятельность репортером «Вечерней Москвы». 1 марта 1934 года он узнал от друзей-кинооператоров, что Димитров будет в этот день на студии кинохроники. Опередив своих собратьев по перу, Симонов с утра примчался на студию и еще до начала съемки взял у Димитрова интервью. Георгий Димитров поразил молодого репортера своей внутренней силой, напористостью, таившейся в нем энергией. Вот несколько строк из репортажа, опубликованного «Вечерней Москвой» в номере от 2 марта 1934 года:

«В павильоне кинохроники был аврал. Сквозь шумящую Москву автомобили мчали к Брянскому переулку трех солдат коммунизма, вырванных из вражеского плена. Они — Димитров, Танев, Попов — появятся теперь на звуковом советском экране.

Под жужжание «Кинамо» и «Аймо»... три товарища, улыбаясь, входят в павильон. 3 часа 25 минут — шеф-оператор Кауфман командует: «Свет!» — и под бюстом Ленина усаживаются три гостя кинохроники. Вспыхивают глаза пятисоток и прожекторов. Три человека, прожившие год в казематной мгле, невольно жмурятся. Съемка пошла.

— Мы теперь на свободе, в Советской стране, в нашей стране,— говорит Димитров,— в нашей собственной великой стране. Но многие и многие остались

узниками немецкого фашизма. Среди них — т. Тельман. И освобождение их является долгом чести пролетариата всего мира. Да здравствует Советский Союз — самая большая гарантия победы пролетариата в других странах!

Из шеренги операторов отделяются два человека. Они проходят под световым водопадом юпитеров. Да это же укротители стратосферы — широкоплечий взволнованный Прокофьев и весело улыбающийся Годунов. Две руки встречаются над столом; рукопожатие, долгое и крепкое, как объятие, и пионер стратоплавания дружеским поцелуем приветствует Димитрова...»

Через несколько дней приехали из Берлина мать и сестра. Вечером 8 марта их пригласили в Большой театр. За столом президиума — Надежда Константиновна Крупская и сестра Ленина Мария Ильинична. Они усадили старую болгарскую женщину между собой. Свет рампы и прожекторов бил в глаза. Мать в своем неизменном черном платке на плечах, щурясь от яркого света, доверчиво смотрела в полумрак притаившегося огромного доброго и радостного зала с золочеными ложами и балконами.

Надежда Константиновна Крупская наклонилась к матери и негромко спросила:

— Понравилась вам Москва?

— Я счастлива, потому что увидела много счастливых людей,— сказала мать.— Я была счастлива и в Болгарии, но иначе: счастье человека не может быть полным, когда несчастливы люди рядом.

Крупская слушала мать, чуть приспустив отяжелевшие веки и вглядываясь в ее худощавое, освещенное яркими бликами света лицо. Не отрывая от

матери внимательного, немного усталого и спокойного взгляда, Крупская спросила:

— А что вы думаете делать дальше?

Мать пожала плечами: ее удивил вопрос.

— Поеду в Болгарию...

— Но ваш сын здесь,— сказала Крупская.— И ваша младшая дочь тоже...

Лена наклонилась к ним. Она боялась не расслышать слов матери. Невольное волнение овладело ею: как же мать ответит на вопрос, который и сама Лена хотела и никак не решалась задать ей.

— Знаете что,— промолвила мать,— я уже думала об этом. Моя дочь не может вернуться в Болгарию, и мой сын не может. Кто же расскажет в Болгарии о том, что я видела у вас? В Болгарии не знают, как вы живете. Я приеду и расскажу всем — и солдатам, и рабочим, и крестьянам,— что видела. Никто ничего не сделает за это мне, старой женщине. Я не могу долго оставаться у вас, мой внук Любчо в тюрьме. Мне надо ехать...

Бесхитростные слова матери болью отозвались в душе Георгия, он думал о них в тот день, когда Лена рассказала о встрече в Большом театре, и в следующий, и еще в следующий. И через много дней, когда мать уже уехала в Болгарию...

Все, чем он жил в первое время после возвращения к свободе,— шум и радостная суета встреч с друзьями, поздравительные письма и телеграммы, речи, приглашения к пионерам, на заводы, к солдатам — все это как бы отступило куда-то в глубину времени, и он увидел себя прежним изгнанником. Он понял, что в душе его с неутихающей болью живет тоска по Болгарии — той, первой его родине, где он родился, где не знал покоя, страдал и любил, где его бросали в тюрьмы и дважды приговорили к смерти.

И эта боль, и тоска по родине, по ушедшей жизни и друзьям, погибшим или оставшимся далеко, заставили его вспомнить о тех, кто еще жив, а среди них — о девушке из Вены, Розе Флайшман, которая помогала ему когда-то, пренебрегая своей собственной безопасностью. И друзья и враги считали Георгия человеком сильной воли, да это так и было на самом деле. Но лишь очень близкие друзья понимали, как тягостно для него одиночество после смерти Любы и как ранит его разлука с другой любимой и любящей его женщиной, всю жизнь служившей ему опорой,— матерью. Человек, проживший большую часть своей жизни и потерявший любимую, не может начать жизнь заново — заново любить и заново искать счастья. То, одно за всю жизнь Георгия, испытанное полной мерой счастье, когда была жива Люба, ушло безвозвратно. Теперь он хотел лишь сохранить своих старых друзей, сохранить теплоту человеческой дружбы, в которой сильные души нуждаются так же, как и слабые.

Не без колебаний он решил написать Розе письмо. Она не задержала ответа. Началась постоянная переписка...

Пока он отдыхал и лечился, приехала Роза. Они поженились, и у него появился свой дом, как и у всех или у большинства людей. Но ни домашний уют, ни семейная жизнь не могли отвлечь его от того, что всегда было и оставалось для него смыслом жизни.

Во второй половине года намечался созыв VII конгресса Коминтерна. Многие ждали от конгресса ясного ответа: что делать, как остановить победный марш фашизма? Искал ответа и Димитров.

Еще в тюрьме он понял, что мировое коммунистическое движение идет к единству, гораздо более широкому, чем прежде. Особенно важным был в этом

отношении опыт австрийских рабочих. В то время, когда Георгий после суда сидел в подвалах гестапо, коммунисты и социал-демократы Вены и других городов Австрии плечом к плечу сражались на баррикадах против фашистов и полиции. Это было еще одним подтверждением правильности мыслей Димитрова о единстве действий.

Надо было как можно скорее начинать подготовку предстоящего VII конгресса. Для выработки проекта решений и докладов Исполнительный комитет Коминтерна создал подготовительные комиссии.

Едва завершив курс лечения после Лейпцигского процесса, Димитров тотчас взялся за дело. Прежде всего он решил написать своим товарищам смелое и прямое письмо. Надо было без обиняков сказать им о горькой и для некоторых непонятной истине: старые представления мешают добиться единства действий рабочего класса. Он знал, что его письмо, которое он уже обдумал, повлечет неизбежные дискуссии.

«...Мне хотелось бы... поставить следующие вопросы»,— записал он первую фразу.

И тотчас перешел в атаку:

«Правильной ли является огульная квалификация социал-демократии как социал-фашизма...»

Он перестал писать и сам себе ответил: «Нет!».

Но правильно ответить на этот вопрос должен был не только он сам и не только те, кто уже сумели отойти от прежних представлений и понять их ошибочность. Многие и многие его товарищи должны были отвергнуть старые догмы, и только тогда путь переменам будет открыт.

В тезисах десятого пленума Исполнительного комитета Коминтерна в июле 1929 года социал-демократия в целом была названа социал-фашизмом — слишком часто правые ее лидеры предавали интересы

рабочих. Социал-демократию называли особой формой фашизма в странах, где сильны социал-демократические партии. Существо ошибки заключалось в том, что неправильно отождествлять отличные друг от друга явления — отличные по целям, социальной природе и массовой базе. Это лишь затрудняло организацию единого фронта рабочих-коммунистов и рабочих-социалистов, облегчало правым лидерам социал-демократии проводить политику раскола рабочих, осложняло борьбу против фашизма и войны.

XXXII

Димитров снова потянулся к перу.

«Этой установкой,— решительно начал он,— мы часто преграждали себе путь к социал-демократическим рабочим».

Вслед за первым он записал еще несколько столь же прямо поставленных «вопросов» об оценке роли социал-демократии. В них, в этих «вопросах», уже заключались ясные ответы, формулировалась точка зрения, которую он теперь разделял без колебаний.

Он вновь отложил перо и непроизвольным сильным движением руки, как бывало в молодости, закинул назад длинные пряди все еще завивавшихся и уже седеющих волос. «Не декламировать о гегемонии компартии,— думалось ему,— а осуществлять на деле руководство компартии...»

Письмо с «вопросами» и схему доклада он отправил своим товарищам 1 июля и уже на другой день выступил на заседании комиссии. Он спешил, лечение отняло слишком много времени.

Начались дискуссии. В них принимали участие испытанные, видные деятели международного ком-

мунистического и рабочего движения, которых Димитров знал хорошо,— Мануильский, Куусинен, Бела Кун, Пик, Геккерт, Лозовский и многие другие. Дискуссии затянулись на все лето.

К концу года в Москву приехал Тольятти. Димитров давно уже думал о том, что этот человек был бы незаменимым помощником в подготовке конгресса и одним из основных докладчиков. С Тольятти они не раз встречались в Москве на международных конгрессах и заседаниях Исполкома Коминтерна и в Германии во время работы Димитрова в Западноевропейском бюро. Они хорошо понимали друг друга, ждали этих встреч, хотя и не так уж часто судьба сводила их. Было известно, что Тольятти с трудом отрывался от деятельности в заграничном центре Итальянской компартии. Лишь решение важных для многих компартий задач заставляло его переламывать себя и уезжать из Франции или Швейцарии, где помещался центр и где он жил нелегально в обстановке постоянной опасности и настороженности. Но что могло быть важнее для судеб мирового коммунистического и рабочего движения, чем будущий конгресс, каким представлял его себе Димитров? Он-то и предложил товарищам на время отозвать Тольятти из Франции.

Едва обосновавшись в Москве, Тольятти позвонил Димитрову и пригласил на чашку кофе все в то же общежитие, располагавшееся в бывшей гостинице на Тверской, где обычно останавливались деятели зарубежных компартий, и по традиции именовавшемся «старичками» «Люксом».

Жил Димитров тогда уже не в «Люксе», как бывало во время его прежних приездов в Москву, а в отдельной квартире в Доме правительства у Москвы-
 реки, почти напротив Кремля, и ехал теперь к

«Люксу» в машине — стареньком бьюике. Вглядываясь в хмурые от слякоти и зимнего оттепельного тумана, полные торопливо шагавшими людьми улицы, он раздумывал о том, как сложно и трудно идет подготовка к конгрессу и как он, еще не оправившись от фашистской тюрьмы, устал в эти дни споров и дискуссий. Поездка к Тольятти на время отвлекала от дел, заставляла оглянуться на все то, чем он был занят, и испытывать беспокойство: слишком мало времени до конгресса, нельзя терять ни часа.

Тольятти встретил давно знакомой одновременно и ободряющей, и доброй, и какой-то немного иронической, свойственной лишь ему одному улыбкой. Их руки соединились в крепком пожатии, и Димитров ощутил, как силен невысокий, худощавый молодой человек с высоким лбом и в очках с тонкой оправой. Они обнялись.

Димитров поздоровался с худеньким мальчиком девяти или десяти лет, сыном Тольятти Альдо, и тот сейчас же отбежал к дивану, с которого поднялся, и, забравшись на него с ногами, уткнулся в книгу. Мать Альдо была поглощена партийной работой, часто уезжала по делам Итальянской компартии, да и отец оставлял его надолго, вынужденный жить нелегально во Франции. Но когда Тольятти возвращался, он становился нежным и заботливым отцом — Димитров хорошо это знал,— терпеливым воспитателем и другом своему Альдо. Вот и теперь они вместе... Сын! Георгий был лишен счастья отцовства и потому особенно обостренно ощущал, как много света и радости приносит в душу Тольятти близость с сыном. Сын!.. Роза ждет ребенка, и скоро наконец придет то, чего не хватало в течение многих лет жизни с Любой. Она, бедная, погибла, так и не испытав роди-

тельских чувств. Скоро, может быть, и у него будет сын, может быть, дочь!..

Тольятти принялся за приготовление кофе. Он любил кофе и знал несколько рецептов — кофе по-итальянски, кофе по-турецки, кофе по-болгарски. С улыбкой наблюдая за ним, Димитров вспомнил высохшие материнские руки, державшие джезве с кофе над пылающими углями конфорки в их дворике...

Тольятти разливал по чашечкам кофе — да, он умел его готовить, пена покрывала поверхность напитка, сохраняя его аромат,— и приговаривал:

— Садись, Георгий, и рассказывай... Ты сумел выстоять перед судом фашистской инквизиции! — Он неожиданно перестал разливать кофе и, взглянув на Димитрова, воскликнул: — Я гордился тобой, читая газетные отчеты!

Они впервые встретились после Лейпцигского процесса, и Димитров понимал чувства, владевшие его другом.

Тольятти разлил кофе, и они опустились в кресла, держа блюдечки с чашечками в руках. Негромким, резковатым голосом, как обычно, отчетливо произнося слова, Тольятти заговорил о политических последствиях Лейпцигского процесса, о том сдвиге в сознании многих людей, который породили смелые выступления Димитрова на суде, его атаки фашизма и открытая, глубоко продуманная защита идей коммунизма.

Потом Димитров принялся расспрашивать Тольятти о его делах, о политическом положении в Итальянской компартии, о рабочем классе Франции. Оба они, перебивая друг друга, торопились вставить свое слово — оценить события по-своему, дополнить или развить мысль другого.

Неожиданно послышался жалобный возглас Альдо:

— Папа, вы так шумите, что я даже не могу читать...

Он сидел на диване, зажав уши ладошками, и смотрел на них сердитыми, темными глазами.

Тольятти, замолкнув, повернулся к нему и спокойно произнес:

— Вот как!

— А книга такая интересная...— продолжал Альдо, опуская руки.

— Ничего не поделаешь, сын мой, придется тебе привыкать,— все так же спокойно, как-то совсем нестрого, по-дружески, на равных, словно мальчик был его товарищем, произнес Тольятти.— На заседаниях, когда кто-нибудь начинает говорить скучно и длинно, я тоже читаю книгу, а ведь ораторы говорят громко...

Мальчик вновь уткнулся в книжку, и Димитров, невольно понизив голос, заметил:

— Завидую, Пальмиро...— Он кивнул в сторону Альдо.— Хорошо, если и у меня когда-нибудь будет то же самое...

— А как же может быть иначе? — живо и тоже негромко сказал Тольятти, взглянув на Димитрова.— Дети нуждаются в том, чтобы по-братски протягивать им руку помощи — вот и все.

Не забывая оберегать Альдо от шумного разговора, они спокойно и обстоятельно заговорили о будущем конгрессе. Димитров сразу почувствовал, что Тольятти вполне подготовлен для той работы, которая им предстояла. Тольятти прекрасно понимал, что международное коммунистическое движение подошло к поворотному пункту, что нужен новый взгляд на объединение всех здоровых сил против фашистской опасности. До него во Францию уже доходили отго-

лоски дискуссий, возникших в связи с подготовкой конгресса. Да и события последнего года, о которых они сейчас говорили, заставляли самого его искать новых путей и прийти к выводам о необходимости пересмотра многих, казавшихся прежде незыблемыми установок.

Он рассказал, что перед отъездом в Москву решил выяснить, возможно ли вообще соглашение с левыми социалистами II Интернационала, и встретился с лидерами левых социалистов, бежавшими из Испании.

XXXIII

Димитров с интересом слушал собеседника. Тольятти спокойно и подробно рассказывал о своей встрече, ровно настолько касаясь ее внешних обстоятельств, насколько это было необходимо для характеристики политических настроений левых социалистов.

— Собственный опыт,— говорил Тольятти, не отрывая взгляда от Димитрова,— заставляет их искать союзников. Это несомненный сдвиг, и мы не можем не учитывать его.— Тольятти замолк, все так же внимательно из-за стекол очков глядя на Димитрова.— Соглашение о единстве действий с ними возможно,— негромко и в то же время решительно произнес он.

Слова Тольятти подтверждали то, о чем неотступно думал Димитров. Он внутренне сдержал себя, не желая слишком бурно проявлять свои чувства. Тольятти был сравнительно молодым человеком — ему шел сорок второй год, он был на одиннадцать лет моложе Димитрова, и тем не менее они хорошо понимали друг друга. Для каждого из них десять лет,

прошедших с их встречи на V конгрессе Коминтерна в 1924 году, когда Тольятти впервые приехал в Москву, достались недешево. Все они — соратники Ленина — с особенной глубиной осмысливали идеи Ленина о союзниках пролетариата, высказанные им на предыдущих четырех конгрессах Коминтерна.

Теперь, когда они прожили без Ленина долгих и тревожных десять лет, вся тяжесть и теоретического и практического решения вопроса о союзниках в боях против окрепшего фашизма целиком легла на плечи тех, кто когда-то под влиянием идей Ленина заставлял себя переоценивать многое в своих взглядах и в практической деятельности своих партий, и потом все эти десять лет искали своего, правильного пути, жили под чужими именами, сидели в тюрьмах и, вырвавшись на волю, вновь отдавались партийной работе. Эти жестокие десять лет породнили их и придали родству по борьбе прочность, большую, чем у родства по крови.

Они проговорили долго. Провожая Димитрова, Тольятти заверил, что все его время будет отдано подготовке конгресса и что он уже просил в библиотеке подобрать ему ленинские произведения о единстве рабочего движения и хочет заново перечитать их, вдуматься в ленинскую мысль, оценить в ее свете современную обстановку и недавние события.

Димитров кивком молча согласился с ним. Он сам перечитывал сейчас некоторые сочинения Ленина.

Дискуссии в подготовительных комиссиях продолжались. Стало ясно, что созыв конгресса придется перенести на середину следующего года. Вынужденная задержка не огорчала Димитрова: многие его поддержали. На его стороне были Тольятти, Мануильский, Куусинен, представители французской, чехословацкой, польской и других коммунистических

партий. Димитров понял, что путь новым идеям открыт.

Всю свою сознательную жизнь вместе с партией он шел к этим идеям. Ошибки, горькие разочарования и терзания, победы и прозрения шаг за шагом вели к практическому воплощению идеи о массовых союзниках, высказанной Лениным еще в «Детской болезни «левизны»»... Много лет назад па медном руднике «Плакалница» Георгию удалось убедить рабочих, находившихся под влиянием оппортунистов, создать революционный профсоюз и добиться единства действий. В тюрьме в восемнадцатом году под влиянием Октябрьской революции он стал приходить к мысли о неизбежности союза пролетариата с крестьянством. Тогда партия не смогла осознать необходимости борьбы за крестьянство и понесла тяжелые утраты. Опыт классовых боев в Болгарии, встречи с Лениным, изучение его идей о единстве действий пролетариата помогли Георгию стать борцом за единый фронт. В роковом 1923 году — в августе и сентябре, уже после фашистского переворота,— Георгий призывал в своих статьях к созданию единого фронта. Еще тогда он сформулировал многие мысли о широком единении всех антифашистских сил.

Готовясь к докладу на VII конгрессе Комитерна, Димитров вновь и вновь вчитывался в работы Ленина о союзниках пролетариата, об единстве действий рабочего класса, о формах подхода к пролетарской революции.

В конспекте своего доклада он записал:

«Ленин призывал нас 15 лет назад сосредоточить все внимание на «отыскании формы *перехода* или *подхода* к пролетарской революции». Быть может, *правительство единого фронта* в ряде стран окажется *одной* из важнейших переходных форм...»

В начале следующего лета, незадолго до открытия конгресса, Георгий, весь захваченный ожиданием неизбежных перемен, отправился к Горькому, у которого гостил в то время недавно приехавший в Москву Ромен Роллан.

С волнением всматривался Димитров в похудевшее восковое от болезни остроносое лицо Роллана и хорошо знакомую ему сутулую фигуру Горького. Роллан устало склонил голову. Горький ответил долгим взглядом, в котором были смешаны и радость и слезы.

Едва поздоровавшись, Георгий спросил:

— Что делать: массы не должны оставаться равнодушными к жестокостям фашизма?

Складка над горбиной носа Роллана стала глубже, строже стало лицо. Он молча, жестом руки предложил садиться. И сам, опустившись в кресло, подпер тонкими, длинными пальцами высокий лоб.

Горький глуховато, по-нижегородски напирая на «о», сказал:

— Нетерпимое положение! Надо остановить варварство. Думаю, Георгий Михайлович, думаю... Никому нельзя оставаться в стороне.

— Вот именно,— с живостью подхватил Георгий,— никому нельзя оставаться в стороне! Мы все дышим идеей единства.

— Мне трудно сейчас судить об этом,— промолвил Роллан.— Ах, если бы мне было только сорок, а не семьдесят или почти семьдесят! — добавил он с горькой усмешкой.— К тому же я болен. Но я выполню все, что от меня ждут...

Георгий спросил:

— Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы привлечь на нашу сторону колеблющуюся мелкую буржуазию?

Роллан развел руками. А Горький, щурясь, с улыбкой поглядывая на Георгия, сказал:

— Ваш ум, Георгий Михайлович, никогда не остается в покое. Хорошо! Нет, право, хорошо! Ищите, смелее ищите...

Ко мне попала запись об этой встрече Димитрова, Горького и Ромена Роллана, и вот каким образом.

Еще до войны, в мае 1939 года, Георгий Димитров удочерил семилетнюю девочку Фаню, дочь одного из руководящих работников Коминтерна. Тогда Димитров говорил, что он сделал это в знак интернациональной дружбы, ибо отец Фани должен отдать себя, а может быть, и жизнь исполнению партийного долга. Девочка вошла в семью Димитровых, Георгий Михайлович заботился о ней и воспитывал, как родную дочь. (Может быть, небезынтересно добавить, что позднее Димитров принял в свою семью и усыновил еще и болгарского мальчика Бойко, сына погибшего партизана. Бойко Димитров — болгарский гражданин, дипломатический работник.)

Фаина Георгиевна, наша соотечественница, кандидат наук, живет сейчас вместе с медицинской сестрой, следившей за здоровьем Георгия Димитрова, Галиной Николаевной Великолюд, кстати сказать, родной сестрой поэта Николая Асеева.

Однажды, когда я был у них в гостях, Фаина Георгиевна показала мне тетрадь с записями на немецком языке жены Георгия Димитрова Розы Юльевны. Вначале там говорилось, что во время войны было утеряно несколько тетрадей, в которых Роза Юльевна записывала события из жизни Георгия Димитрова.

А на следующих страничках Роза Юльевна рассказывала о том, как встретились Димитров, Горький и Ромен Роллан...

Подготовка к докладу на конгрессе отнимала теперь у Димитрова все время. Он испытывал физическое недомогание — по-прежнему продолжали сказываться тяжелые последствия Лейпцигского процесса, но все-таки заставлял себя работать с утра до вечера, а иной раз прихватывал и ночные часы. Даже уезжая с Розой и ближайшими сотрудниками в подмосковный санаторий Барвиху, он продолжал и там подготовку доклада, отказываясь подчиняться предписаниям врачей. Машинисткам приходилось за ночь перепечатывать написанное им днем, а утром он принимался за машинописный текст и переделывал то, что, казалось, было уже готово. И опять ночью в соседней комнате стучала машинка... Он мучился этой своей постоянной неудовлетворенностью, ожесточался на самого себя и все-таки, едва присев за стол, переделывал уже сделанное, убеждая себя, что сказал не все и не с той убедительностью и глубиной, с какой необходимо было сказать.

Однажды в Барвиху приехал Тольятти, как и Георгий, увлеченный работой над текстом своего доклада. Его доклад о задачах Коминтерна в связи с подготовкой империалистами новой мировой войны был также чрезвычайно важен для понимания сложившейся международной обстановки и для успеха самого конгресса, и они, отправившись на прогулку по парку, принялись обсуждать схему доклада.

Неторопливо шагая, они вышли на светлую опушку березовой рощи. Тольятти внезапно остановился и, кивнув в сторону поляны, воскликнул:

— Смотри, как красив!

Димитров, весь захваченный только что высказанными Тольятти соображениями, тоже остановился и с недоумением взглянул на спутника. Проследив его взгляд, он увидел стебель лесного колокольчика, высоко взметнувшийся над травой. Цветы с тонко вырезанными лепестками против солнца отливали синевой вороненой стали. Застывший в безветрии стебель цветка словно вобрал в себя и красоту берез, спустивших почти до земли девичьи косы гибких ветвей, и тепло летнего дня, и яркость солнца, и пропитанные свежестью лесные ароматы. Они оба стояли и в безмолвии смотрели на этот цветок, и Георгий с удивлением спрашивал себя, почему прежде, проходя здесь много раз, он не замечал этого лесного колокольчика?

Тольятти подошел к цветку и у самого корня сорвал его.

— Их здесь много,— сказал он, как бы оправдываясь и взглядывая на Димитрова.

Они пошли дальше и опять заговорили о том, что Европа все быстрее катится к войне. Слушая своего спутника, Димитров невольно следил за тем, с какой бережностью несет он цветок.

Они проговорили часа три и расстались лишь перед самым обедом.

XXXIV

Почти вплоть до самого конгресса Димитров готовил свой доклад, выверял у товарищей высказанные в нем мысли, искал и искал наиболее точные политические формулы...

 И когда он наконец вышел на трибуну в сверкаю-

щем огнями люстр Колонном зале Дома союзов и оглядел обращенные к нему полные внимания и ожидания чего-то важного освещенные теплом радости и дружбы лица в большинстве знакомых ему людей, он вдруг понял, что всего того огромного и неимоверно трудного, что было сделано во время подготовки к конгрессу, еще мало. Надо собрать остаток сил, напрячь всю волю и ум, чтобы совершить самое главное, к чему они готовились так долго.

Он начал доклад негромко, расчетливо сберегая силы, давая понять как бы затаившимся в зале, внимательно слушавшим его людям, что предстоит трудная работа, требующая от всех напряжения мысли. Заставляя себя сохранять спокойствие и выдержку, он обнажал сущность фашизма: его природу, происхождение и цели. И то, что несет массам победивший фашизм. Он начал говорить о жертвах фашизма — убитых, раненых, арестованных, искалеченных и замученных в Германии, Польше, Италии, Австрии, Болгарии, Югославии... Волнение, как он ни сдерживался, охватило его и передалось залу. И когда он стал называть всем известные имена заточенных в фашистских тюрьмах, голос его звучал уже во всю силу.

— Мы приветствуем с этой трибуны,— воскликнул он, взмахнув крепко сжатым кулаком и тряхнув прядями волос,— вождя германского пролетариата и почетного председателя нашего конгресса товарища Тельмана!

Зал, грохочущий от аплодисментов, как бы накренился на него всей огромной массой вставших со своих мест людей. Димитров стоял на трибуне, оторвавшись от листов своего доклада, и также аплодировал. Тельман! Где ты, в какой фашистской тюрьме сейчас? Жив ли? И думаешь ли в эти минуты о нас,

узнав из случайно полученной газеты о созыве конгресса?

Стихли аплодисменты, словно общий вздох пронесся по залу — все опустились на свои места, и зал опять как бы занял свое обычное положение, простершись в перспективе.

— Мы приветствуем товарищей Грамши, Антикайнена, Йонко Панова...— продолжал Димитров, и аплодисменты, на мгновение стихнув, вновь заполнили все пространство зала до сверкающего белизной высокого потолка.— Мы приветствуем Тома Муни, уже восемнадцать лет томящегося в тюрьме, и тысячи других узников капитала и фашизма. И мы говорим им: «Братья по борьбе, по оружию! Вы не забыты. Мы с вами. Каждый час нашей жизни, каждую каплю нашей крови отдадим за ваше освобождение и освобождение всех трудящихся от позорного фашистского режима»...

Зал все еще как бы давил на Димитрова всей своей массой стоящих людей, грохотом аплодисментов, яркостью сотен лиц...

Он поднял руку.

— Товарищи!..

Магическая сила единения людей была в этом простом слове: зал затих в напряженном внимании. Димитров вдруг ощутил, что его силы, воля, ум сливаются с силами, умом, волей сотен слушавших его людей. Он продолжал свой доклад:

— Еще Ленин предупреждал нас, что буржуазии, возможно, удастся обрушиться свирепым террором на трудящихся и дать отпор на те или иные короткие промежутки времени растущим силам революции, но что ей все равно не спастись от гибели...

Димитров говорил о том, что победа фашизма не неизбежна, что германский рабочий класс мог ее

предотвратить, если бы добился установления единого антифашистского пролетарского фронта. Он сказал и о «нейтралитете» болгарских коммунистов 9 июня 1923 года, облегчившем фашистам захват власти в Болгарии. Но он говорил также и о том, какой прекрасный пример борьбы против фашизма дает всему международному пролетариату рабочий класс Франции и как поистине огромно значение полумиллионной антифашистской демонстрации в Париже, состоявшейся всего за десять дней до открытия конгресса, и многочисленных демонстраций в других городах Франции. Это уже не только движение единого рабочего фронта, это — начало широкого общенародного фронта против фашизма. Французская компартия показывает всем секциям Коминтерна пример того, как нужно проводить тактику единого фронта, а социалистические рабочие — пример того, что нужно делать сейчас социалистическим рабочим других капиталистических стран в борьбе с фашизмом...

Одну за другой переворачивал Димитров страницы своего доклада. Он все более углублял мысль о едином фронте, о его формах, о методах борьбы в разной обстановке. Он рассматривал условия возникновения единого фронта в Соединенных Штатах Америки, в Англии, в странах континентальной Европы, в странах, где у власти были правительства буржуазные, и в странах, где в правительствах находились социал-демократы... Он говорил об антиимпериалистическом едином фронте в Бразилии, Индии, Китае, о борьбе за профсоюзное единство, о едином фронте и молодежи, о едином фронте и женщинах... И о правительстве единого фронта, в котором должны были воплотиться мысли Ленина, высказанные им 15 лет назад, о формах перехода к пролетарской революции...

Дойдя до последнего раздела доклада об укреплении компартий и борьбе за политическое единство пролетариата, он как бы отвлекся от самого себя и представил себе состояние тех, кто сидел сейчас в зале и слушал его. Он по-новому ощутил грандиозность работы, которую они все проделали перед конгрессом, обобщая мировой опыт революционной борьбы...

Он произнес заключительные слова доклада и аплодировал вместе со всеми и вместе со всеми запел «Интернационал». Только теперь, когда трудное дело было сделано, почувствовал себя легко и хорошо.

Торжественная мелодия на разных языках обняла и соединила всех. И едва последние протяжные аккорды «Интернационала» как бы растворились под сводами зала, в разных концах его делегации запели каждая свою революционную песню: итальянская — «Бандьера Росса», польская — «На баррикады», французская — «Карманьолу», немецкая — «Красный веддинг», китайская — «Марш китайской Красной армии»...

Все дни, пока шел конгресс, в зале и в кулуарах во время перерывов было как-то по-особенному радостно и торжественно. Чувствовалось, что делегаты понимают главное: происходит решающий поворот в политике Коминтерна.

Конгресс впервые избрал в Секретариат Исполкома Коминтерна Димитрова и Тольятти. В Секретариат были избраны Мануильский, Готвальд, Куусинен, Пик. Генеральным секретарем Исполкома Коминтерна стал Димитров.

В своих выступлениях после конгресса Димитров настойчиво повторял, что решения, принятые конгрессом,— это важный поворот, постановка по-новому

вопроса о едином фронте пролетариата, о единстве профдвижения, о борьбе с сектантством в рядах компартий. Он хотел, чтобы эта важная мысль была понята всеми и чтобы те, кто не сумел отказаться от старых представлений, скорее ощутили перспективу борьбы.

XXXV

Осенью следующего, 1936 года, спустя год после конгресса, Георгий поехал отдыхать на берег Черного моря. Один, без семьи. У него уже был сын Митенька; с мальчиком на юг ехать врачи не рекомендовали, и потому Роза осталась дома. Георгий бродил в окрестностях санатория, не зная, что с собой делать. Весь этот год он трудился и трудился — ровно и в то же время напряженно, как работает мощный генератор электрического тока под полной нагрузкой. Но так же как и генератор выходит из строя, если внезапно выключить рубильники нагруженной линии, так и он в первые дни у Черного моря почувствовал себя разбитым и лишенным организующего начала. Отправляясь на прогулку, он принимался перебирать в памяти события недавнего прошлого, вдумывался в то, что происходило на конгрессе и после него, и лишь тогда немного успокаивался.

Он еще и еще раз говорил себе, что в решениях конгресса нашли воплощение мысли Ленина, утверждавшего, что коммунисты должны постоянно учиться искусству с помощью системы блоков и союзов завоевывать массы и привлекать союзников в неимоверно трудной революционной борьбе пролетариата. А решения конгресса звали именно к поискам союзников,

к единению рабочего класса — в этом и был сокровенный смысл поворота в политике Коминтерна.

Да, это было действительно так!

В решениях первых четырех конгрессов Коминтерна, проходивших под руководством Ленина, были разработаны основы тактики за единый пролетарский фронт. Позднее, в конце двадцатых и начале тридцатых годов, «левые» сектанты в Коминтерне, переоценивая степень революционности масс, отказываясь работать в различных массовых реформистских и других организациях, лишь еще более усугубили ошибки, с которыми не мирился Ленин. VII конгресс все поставил на свои места.

Димитров вспомнил, как вскоре после конгресса, почти уже год назад, в сентябре 1935 года, суждено было испытать горечь тяжкой неудачи. Более, чем когда-либо прежде, стало ясно, что вот-вот разразится война. Итальянские фашисты очевидно для всех готовились к нападению на Абиссинию. Отдаленность места назревавшего конфликта — Африка — не могла обмануть: война стояла у порога. Тогда от имени Исполкома Коминтерна Димитров обратился к руководству Социалистического Интернационала с предложением о совместном выступлении для предотвращения итало-абиссинской войны. Но даже несмотря на последующие предложения, руководители социалистов сорвали единый фронт, и война вспыхнула...

Странное чувство охватило меня, когда довелось уже в наши дни, спустя много лет после роспуска Коминтерна и разгрома фашистской Германии, ознакомиться с некоторыми работами буржуазных историков о Коминтерне. В них искажается роль Димит-

рова в Исполкоме, фальсифицируются документы. Например, Королевский институт Англии выпустил два тома умышленно сокращенных и извращенных документов Коминтерна, пытаясь опорочить таким образом всю его деятельность. Буржуазные фальсификаторы истории обвиняют Коминтерн в том, что он якобы наносил ущерб делу мира, не борясь против фашизма и войны, что компартии, будто бы выполняя указания Коминтерна, проводили политику, чуждую интересам их стран и народов. Читаешь все это, и с особенной отчетливостью понимаешь, что и в наши дни надо неустанно расчищать путь единству, путь великой правде истории...

Шагая под тенистыми деревьями, Димитров вспоминал, с каким негодованием было встречено предательство руководителей Социалистического Интернационала, и не только среди рабочих-коммунистов, но и среди масс рабочих-социалистов. В этой реакции рядовых членов партий II Интернационала было подтверждение правильности решений VII конгресса. Почти в то же время, в разгар лета, мир облетели лицемерные слова пароля, переданного по радио франкистами,— «Над Испанией безоблачное небо» — сигнал начать мятеж против республиканской Испании. Мир бился в тяжком недуге, имя которому было фашизм...

Дорожка парка вывела в лес, к набитой тропе, взбиравшейся в гору. Осень на Черноморском побережье стояла, как всегда, теплая, затяжная, раскрашенная почти теми же красками, что и лето. Склоны гор курчавились фруктовыми садами, а выше — древесными зарослями, среди которых пробиралась тропа. Георгий подумал о том, что здесь — как в Бол-

гарии. И как в Болгарии, деревья в садах сгибались под тяжестью плодов.

Георгий медленно шел, поглядывая на выпиравшие из земли известковые камни на тропе и глинистые залысины, оставшиеся от множества следов человеческих ног. Он поднимался все выше и выше, и на самом верху горы, выйдя из леса на поляну, увидел море. Оно стояло перед ним затуманенной стеной, упираясь в небо. На одном краю моря клубились тучи, похожие вверху на снеговые горы, и море под ним было темным и таинственным. С другой стороны синева тонула в сиянии солнца. Море!.. «Огромное, как жизнь»,— подумал Георгий, но тотчас отверг это банальное сравнение. Море — это море. А жизнь — это жизнь. Море разделило две половины его жизни: то, что было там, в далекой Болгарии, лежавшей за морем, и то, что было здесь, у этого края моря,— напряженная работа, новые друзья, и Роза, и малыш Митенька — сынишка... И тревожный и полный скрытого напряжения мир осени 1936 года...

Постояв над морем, Георгий начал спускаться той же тропой вниз. Море вернуло и тоску по родине, и волнение, и привычные раздумья о том, что ждало их всех. Он почему-то подумал о Любе. Он не сможет забыть ее никогда...

Спустившись на асфальт шоссе, Георгий сказал сам себе интонацией Любы: «Работать! Работать!»

Он едва дотянул последние дни в санатории и, вернувшись в Москву, снова вошел в рабочую колею.

То, что происходило в Испании, отдавалось тревогой в сердце Димитрова. Во многих странах люди разных сословий и разных классов, люди разных возрастов, даже дети жили победами и поражениями республиканцев, как живут тем, что близко и глубоко лично. Мятеж франкистов против республиканского

правительства Испании превратился в интервенцию немецких и итальянских фашистов. В Лондоне заседал «комитет по невмешательству», лишь облегчая действия интервентов: капиталистические страны отказывались продавать законному правительству Испанской республики оружие, а Германия и Италия беспрепятственно перебрасывали в лагерь мятежников новейшее вооружение и войска.

Политика единства, провозглашенная VII конгрессом, получила блестящее подтверждение в победе Народного фронта во Франции и Испании. Эта политика нашла в Испании проверку огнем и мечом: все здоровые силы нации объединились в борьбе против наступающего испанского и международного фашизма. Антифашисты из многих стран приехали в Испанию сражаться плечом к плечу с республиканцами.

Да, политика единства приносила свои реальные плоды!

Но долго ли продержится республиканская Испания в обстановке капитуляции западных правительств перед Гитлером и Муссолини, в обстановке «невмешательства» некоторых лидеров социал-демократии?

Оставалось одно: еще раз попытаться договориться о единстве действий с руководством II Интернационала.

Кому можно было доверить подготовку встречи? Тольятти уже обладал опытом переговоров с руководителями испанских социалистов. Можно было рассчитывать на трезвость его суждений.

Димитров переговорил с ним, и Тольятти согласился принять новое поручение Исполкома Коминтерна.

XXXVI

Перед отъездом Тольятти они еще раз встретились и обсудили, как лучше искать контакта с вождями II Интернационала.

Во время разговора Димитров не раз ловил себя на том, что невольно присматривается к Тольятти, ищет в его лице следов озабоченности предстоящей поездкой. С тех пор, как Тольятти появился для подготовки VII конгресса и был избран в Секретариат Исполкома, ему пришлось оставаться в Москве дольше, чем бывало прежде. Димитров поручил ему наблюдение за деятельностью коммунистических партий Центральной Европы. Конечно, это было ответственное поручение, Тольятти должен был заниматься делами не только одной Итальянской компартии, но и компартий ряда других стран. И все-таки жизнь его в Москве была совсем иной, чем на нелегальном положении во Франции или Швейцарии в заграничном центре Итальянской компартии. Да и с Альдо приходилось опять расставаться. Испытывает ли Тольятти теперь, перед новым боем, волнение или возбуждение?

Тольятти был совершенно таким, как и обычно,— спокойным, неторопливо-обстоятельным в своих суждениях, деловитым и в то же время, как и всегда, дружески настроенным. Димитров знал, что где-то глубоко в его душе живет горечь расставания с сыном, но внешне Тольятти ничем не выдавал ее.

Тольятти сказал, что прежде всего намеревается приехать во Францию и там приступить к подготовке встречи, которую лучше было, как он считал, провести где-нибудь в Швейцарии. Димитров согласился с разумностью плана: в этих странах у Тольятти были наиболее прочные конспиративные связи.

Договорившись о главном, они перешли к испанским делам. Димитров сказал, что Испанская компартия и ее Генеральный секретарь Хосе Диас ежедневно сталкиваются с необходимостью вырабатывать верные решения в противоречивой обстановке.

Тольятти подтвердил: положение в Испании запутанное, политическая обстановка все время меняется, требует от компартии гибкости.

— Болезнь Хосе Диаса еще более осложняет обстановку,— заметил Димитров.— Нельзя терять времени.

— Да,— сказал Тольятти,— время в данном случае работает не на нас. Кому-то надо ехать в Испанию. Я считаю этот вопрос предрешенным.

— Может быть и так,— согласился Димитров.— Я уже думал об этом. Видимо, придется ехать...

Когда они расставались, Димитров подумал о том, что, наверное, не скоро увидит Тольятти. Это не было предчувствием, скорее — логическим выводом из трезвой оценки создавшейся обстановки. Это сознавал и Тольятти, но во взгляде его не было ни тревоги, ни сентиментальной грусти, скорее — сознание их общей ответственности и решимость.

XXXVII

Димитров оказался прав: они увиделись лишь через три года. Время от времени по каналам нелегальной связи к Димитрову доходили короткие сообщения о деятельности Тольятти во Франции, Швейцарии, а затем в объятой огнем сражений с франкистами и немецкими и итальянскими интервентами Испании.

Летом, когда они беседовали в последний раз,

Тольятти благополучно прибыл во Францию для подготовки встречи с руководителями II Интернационала. Совещание состоялось около Женевы. Принять в нем участие Тольятти не удалось. Представителем Коминтерна там был Марсель Кашен. Руководители II Интернационала вновь отказались от сотрудничества. Тольятти и Кашен вернулись в Париж.

Сюда с надежным курьером Димитров направил Тольятти поручение отправиться в Испанию.

Вскоре от него стали поступать сообщения. Он прибыл в Испанию в июле того же, 1937 года и тотчас принялся помогать наводить порядок в централизации командования интернациональными бригадами. Он выступал на съездах партии, среди рабочих, на фронте. Его знали в Испании под именем Альфредо.

Димитров каждый раз с тревогой изучал приходившие из Испании сообщения о Тольятти, понимая, какой опасности подвергается его посланец. Но можно ли было в Испании в это трудное и жестокое время, когда тысячи и тысячи рядовых взявшихся за оружие бойцов-антифашистов каждый день и каждый час добровольно подвергали свою жизнь опасности, думать лишь о собственной безопасности?

...Фашизм в Испании одерживал верх. В испанских событиях Димитрову виделась не только трагичность поражения антифашистов — он видел и те силы, которые рано или поздно должны будут привести к победе над фашизмом...

Когда-то давно, в те годы, о которых идет речь в этой главе, мне, студенту и пионервожатому подшефной нашему Литературному институту школы на
 Красной Пресне, пришлось вместе со всеми моими

пионерами ощутить и горечь поражения республиканцев и гордость за тех, кто сражался в Испании. К пионерам приехал сын Долорес Ибаррури Рубен. Ему было почти столько же лет, как и моим пионерам, он был весел и по-дружески общителен, как и все ребята в тот вечер. И все-таки иной раз в его глазах проскальзывало что-то не свойственное подростку... Мы понимали, что это было. Мы все видели фотографии боев за Мадрид и Барселону, мы видели фотографии испанских детей, вывезенных из объятых огнем городов в Советский Союз... Так мы впервые начали познавать человеческий героизм и человеческое горе — героизм и горе трудовой Испании. Спустя несколько лет, в годы Отечественной войны, Рубен Ибаррури погиб в боях с фашистскими захватчиками под Сталинградом, а многие бывшие пионеры нашего отряда пали смертью храбрых в боях с гитлеровцами на подступах к Москве...

В то время, когда пионеры встречались с Рубеном, мне трудно было искать в испанских событиях широких политических обобщений. Лишь спустя много лет, работая над этой книгой, я увидел еще одно свидетельство точности ленинских прогнозов. В истории Коммунистической партии Испании отмечается, что Испанская республика тех лет в известной степени была прообразом современных народно-демократических государств Европы на первом этапе их развития. Но Димитров и в те годы не мог не понимать этого. Он не мог не видеть, что образование широкого национального фронта было характерным для некоторых других стран Европы. По разным причинам не везде удалось создать единство в рабочем движении, но все же в ряде стран, и прежде всего во Франции, Народный фронт преградил путь силам фашизма и реакции.

Перечитывая его статьи и выступления, я обнаруживал плоды этой политики и в Болгарии в годы войны против фашистской Германии и после победы над фашистскими ордами.

В 1942 году Болгарская коммунистическая партия развернула борьбу за создание в Болгарии широкого единого фронта, в который, помимо компартии, вошли три партии, а впоследствии (в 1945 году) присоединилась к ним и четвертая.

Создание Отечественного фронта в Болгарии уже после победы над фашистской Германией воспрепятствовало американскому и английскому империализму подчинить страну своему влиянию.

После референдума в сентябре 1946 года, согласно которому в Болгарии была ликвидирована монархия и провозглашена народная республика, во время выборов в Великое Народное собрание кандидаты Отечественного фронта собрали абсолютное большинство голосов. Георгий Димитров сформировал новое правительство Отечественного фронта, став министром-председателем.

Широким и глубоким обобщением прозвучали слова Георгия Димитрова, сказанные им на II конгрессе Отечественного фронта.

— Горькие уроки нашей собственной истории — уроки владайских событий 1918 года, транспортной и общеполитической стачки в конце 1919 и в начале 1920 года, фашистского переворота 9 июня и славного Сентябрьского восстания 1923 года — уроки суровой, продолжительной и полной героизма и самопожертвования борьбы трудящихся против монархии и фашизма привели к созданию боевого единства нашего народа...

Удивительными оказались плоды идей единства,
 впервые высказанных Лениным, развитых в реше-

ниях первых четырех и VII конгрессов Коминтерна, а затем обогащенных в практической деятельности коммунистических партий в ряде стран.

Позднее жизнь выдвинула важнейшую идею единства социалистических стран. Георгий Димитров писал вскоре после всенародного референдума, ликвидировавшего монархию и провозгласившего народную республику:

«Болгаро-советская дружба имеет решающее историческое значение для Народной Республики Болгарии в настоящем и в будущем...

Дружба с Советским Союзом является органической потребностью нашего народа, проявлением его законного чувства благодарности своему старшему брату — великому русскому народу, Советскому Союзу.

Для болгарского народа дружба с Советским Союзом так же жизненно необходима, как солнце и воздух для всякого живого существа...»

Димитров встретился с Тольятти лишь в 1940 году, через целых три года после того, как они расстались, перед его отъездом во Францию. Тольятти возмужал, черты его лица стали резче, как бы строже. Он оставался все таким же доброжелательным, «легким» в личных отношениях, внешне подвижным.

В первую же встречу они, конечно, заговорили о политической ситуации в странах Западной Европы. Этот вопрос сейчас больше всего занимал их обоих. Потом Димитров спросил Тольятти, как ему удалось выбраться из Испании и вернуться в Советский Союз. Тольятти был краток, лишь иногда он принимался со своей иронической усмешкой рассказывать немного подробнее. Димитров слушал скупой рассказ своего

товарища и понимал, что в событиях его жизни за эти три года есть что-то важное, требующее размышлений, и потому слушал его с особенным интересом.

Испанию Тольятти покинул одним из последних коммунистических руководителей, когда все уже рушилось. В поисках небольшого аэродрома, где их ждали самолеты, он и двое испанских товарищей целый день пробирались по безжизненному плоскогорью Ла-Манча. Вечером они заночевали в крестьянской хижине. Крестьяне поняли, что перед ними коммунистические руководители, подняли половицы и достали из потайного погреба ветчину и вино. Испанские крестьяне хорошо знали, что коммунисты дали им землю...

По пути к аэродрому посетили несколько местных организаций и разъяснили, как теперь следует действовать. Аэродром охраняли жандармы. Пришлось захватить его внезапным нападением. Жандармов заперли в склад. Тольятти сел на самолет, улетавший последним. Едва завелся мотор, как жандармы выскочили из склада, видимо выломав дверь, и открыли стрельбу. Маленький самолетик медленно поднялся и взял курс к побережью Средиземного моря. Карты у летчика не было, летели, глядя лишь на компас и отчетливо определявшуюся в ясный день линию побережья.

Через два часа перелетели Средиземное море и оказались над Африкой. Ветер отнес самолетик в сторону от намеченного курса. Некоторое время, не узнавая местности, летели вдоль побережья над полями и виноградниками. Поднявшийся местный самолет указал район посадки на берегу моря.

Оказалось, что они приземлились в небольшом местечке Мостаганеме. На пляже около самолета со-
 бралась толпа. Когда жители поселка узнали, что

самолет вырвался из Испании, они принесли хлеба, жареной козлятины, молока...

Потом — путешествие под чужим именем во Францию и возвращение к работе в заграничном центре Итальянской компартии в Париже. Здесь его арестовали из-за роковой случайности. Он не назвал следователю своего настоящего имени, заявил, что бежал из фашистской Италии, остался без родины. Находившиеся в той же тюрьме французские депутаты-коммунисты узнали его во время прогулки. Он успел сделать им предостерегающий жест рукой.

Однажды, когда тюремщики приказали заключенным стать лицом к стене в коридоре тюрьмы, он оказался перед глазком в двери какой-то камеры. Через глазок из камеры на него внимательно смотрел бывший секретарь Французской коммунистической партии Пьер Семар, с которым он дружил в течение многих лет. Несколько секунд они в волнении, молча, не двигаясь, боясь выдать себя, смотрели друг на друга.

Судьи, не подозревая, что перед ними второй секретарь Коминтерна, вынесли мягкий приговор за нарушение паспортного режима.

Вскоре Тольятти был освобожден и вновь перешел на нелегальное положение. Он наладил деятельность заграничного центра Итальянской компартии, а затем по решению партийного руководства сел на пароход в Бельгии и через Балтику вернулся в Советский Союз. Как раз в те дни войска фашистской Германии вторглись в Бельгию и во Францию...

Димитров слушал товарища, плотно сжав губы, думая о том, что всем им скоро предстоит неизбежное и самое трудное испытание. И никто из них не уйдет в сторону, ибо удел их, судьба их — вечный бой...

Вместо эпилога

Прошло семь лет... Для пожившего на свете человека семь лет — и много и мало. Много для сердца, одолевающего с боем каждый год. Мало для памяти: оставшиеся позади годы кажутся короткими, как недели. Работа в Коминтерне... Война... Разгром фашистской Германии... В сорок пятом Георгий вернулся в Болгарию, освобожденную советскими войсками плечом к плечу с болгарскими партизанами и болгарской армией, повернувшей оружие против гитлеровцев...

Вечером 4 ноября 1945 года специальный самолет из Москвы опустился на софийском аэродроме, и Георгий Димитров после двадцати двух лет вынужденного отсутствия вступил на землю своей родины. Через день, вечером 6 ноября, он приехал в Софийский театр, где шло торжественное заседание в ознаменование Великой Октябрьской революции. Появление Димитрова в президиуме тотчас было замечено, зал поднялся, началась долго не смолкавшая овация. По просьбе собравшихся Димитров взошел на трибуну.

Растроганный и немного растерянный, Димитров поблагодарил за товарищескую встречу, сказал, что где бы он ни был в эти годы, он все время думал о своей родине. Прерванный новой овацией, он опустил глаза, задумался на несколько секунд и вдруг, наклонившись с трибуны в зал, заговорил о том, что больше всего разволновало его за эти два дня пребывания на родине:

— Может быть, не лишним будет напомнить вам о моменте, когда закончился известный Лейпцигский процесс; и во время процесса и в особенности после него я официально направил несколько телеграмм премьер-министру Болгарии Николе Мушанову и тогдашнему болгарскому правительству, прося разрешения мне, болгарину, оправданному германским судом, вернуться на родину и посвятить свои силы и способности работе и борьбе в своей родной стране. Ответ был тоже официальным. «Георгий Димитров не является болгарским подданным...»

Кто-то в зале крикнул:

— Позор!

— Николай Мушанов и его тогдашний министр внутренних дел Гиргинов,— продолжал Димитров,— теперь кричат о демократии, пытаясь предать забвению тот позорный факт, что они закрыли двери родины перед болгарским подданным, перед болгарином, который старался, насколько у него хватало сил, защищать честь болгарского народа... Я напомнил вам об этом потому, что, когда я сошел с самолета на родную землю, я первым делом просмотрел болгарские газеты. Я раскрыл и прочитал зеленое «Земледелско знаме» [1], «Свободен народ», другое «Знаме». Скажите,

[1] Зеленое «Земледелско знаме» — орган отколовшейся от Земледельческого союза правой оппозиции Николы Петкова.

товарищи, в какой другой стране так бессовестно лгут и клевещут на свой собственный народ, на свою страну и ее правительство, пользующееся доверием огромного большинства народа? Эти люди совершенно распоясались. Они строят все на клевете, интригах, лжи. Тогда как в это время на долгие годы решается судьба Болгарии, судьба болгарского народа...

Изучая это и другие выступления Димитрова и собираясь писать заключительные страницы книги, я понял, что вновь встретился с теми самыми заклятыми врагами болгарского народа, которые уже действовали в первых главах моей повести,— с Николой Мушановым и его политическими союзниками. Сама логика классовой борьбы помогала мне строить сюжет, ибо она вновь столкнула Георгия Димитрова лицом к лицу с его противниками, теперь уже в освобожденной Болгарии. И тем беспощаднее и драматичнее была политическая схватка, что представители Англии и Соединенных Штатов Америки в то время всячески пытались вмешиваться в дела Болгарии. Димитров не мог не почувствовать этого с первых же дней возвращения на родину.

Вскоре Димитров стал Председателем Совета Министров в правительстве Отечественного фронта. К тому времени всенародный референдум провозгласил Болгарию народной республикой.

Органы государственной безопасности раскрыли заговор некоторых главарей оппозиции против народной республики. Один из них, Никола Петков, уличенный в связях с иностранными представителями и в подготовке переворота, был предан суду.

Но бой, который принял на себя Димитров, так же как и его товарищи по партии, по Отечественному фронту, продолжался.

В начале января 1948 года Димитров выступил в Народном собрании. Обращаясь к оппозиции, он назвал ее иностранной граммофонной пластинкой. Одно за другим он зло высмеял «предсказания» оппозиции о том, что англичане и американцы разгромят Болгарию, если она не пойдет в своей политике за ними и будет действовать самостоятельно.

Стойкостью, мужеством, верой в силы болгарского народа, в правоту партии надо было обладать, чтобы оставаться твердым в острых политических ситуациях. Но таким и был Георгий Димитров...

...Как-то после трудного дня, никем не замеченный, Георгий Димитров вышел на улицу. Просто так, без всякого дела. Прохожие не обращали внимания на пожилого человека с откинутыми со лба поредевшими волосами. Равнодушными взглядами скользили они по его лицу или вовсе не смотрели на него. Никто не узнавал его в этот вечер, и он наслаждался свободой и прохладой. Шагая по улицам, знакомым с юности, он вспоминал друзей — и тех, кого уже не было, и тех, кто оставался в строю,— вспоминал Любу, сгоревшую в борьбе, но не отступившую, и ее верную подругу Елену Кырклийскую, с которой встретился недавно, спустя двадцать с лишним лет...

Можно представить себе радость, охватившую меня, когда я наткнулся на сцену этой последней встречи Елены Кырклийской с Георгием Димитровым в ее рукописных воспоминаниях. У меня было такое чувство, как будто я снова, через много лет, встретился со старым своим другом.

Елена писала:

«Мне позвонили и сообщили, что Георгий Димитров хочет видеть меня во дворце, где помещался теперь Совет Министров. Я приняла приглашение.

Вечером перед моим домом остановилась машина. Я попросила шофера заехать за Магдалиной, и вместе с ней мы приехали во дворец.

Как только Георгий Димитров увидел меня, он оставил группу людей, подошел ко мне, обнял, с силой сжал мои руки и, обращаясь к Розе, сказал:

— Познакомься с женщиной, которой ты многим обязана...»

Георгий неторопливо шагал в толпе, приглядываясь к оживленным улицам родного города. Все было, как прежде, в те далекие и близкие годы жизни с Любой, и совсем не так. Но вот именно в этом «совсем не так» и заключалась частица судьбы Любы, и его собственной судьбы, и тысяч других человеческих судеб. Страдания и борьба не пропадают бесследно... Болгария становилась форпостом социалистического мира на Балканах. Ей, этой новой Болгарии, отдавал он теперь все свои силы и все мысли.

Он перешел через улицу и остановился у киоска купить сигарет. На другой стороне улицы скрипнула тормозами машина, хлопнула дверца. К Георгию спешил немолодой военный.

— Бай[1] Георгий, — сказал он,— разве так можно? Тебя везде ищут.

Димитров пожал плечами.

— Могу же я отдохнуть после работы? — спросил он.— Скажи, пожалуйста...— глаза его оживились,— сквер около храма святого Николы до сих пор существует?

— На Ополченской? — военный мягко покачал го-

[1] Народное уважительное обращение.

ловой.— Да, бай Георгий, скверу ничего не сделалось, он на месте.

— Давай съездим туда,— попросил Димитров.

— Если ты хочешь, бай Георгий...

Они перешли шумную, уже погружавшуюся в сумерки улицу и сели в машину. У сквера святого Николы вышли. Сумерки совсем поглотили затихшие и немного таинственные в этот час деревья. Два немолодых человека неторопливо пошли по дорожке, углубляясь в темноту. Георгий издали увидел скамейку под платаном. Кто-то сидел на ней.

— Жалко,— негромко сказал Георгий и остановился,— скамейка занята...

Его спутник тоже остановился. Что-то в голосе Георгия заставило его подойти к тем, что сидели на скамейке, и сказать:

— Старый человек хочет здесь отдохнуть. Вы разрешите?

— Конечно,— послышался юный женский голос,— хотя это наша скамейка...

Молодые люди вскочили и со смехом убежали.

— Как похож этот голос...— промолвил Георгий, подходя к скамейке. Он не закончил мысли и, опустившись рядом со своим спутником, долго сидел, не произнося ни слова и глядя в темную листву платана, словно прислушиваясь к чему-то.

Спутник не тревожил его.

Георгий встал, тронув за плечо своего задумавшегося соседа.

— Поехали,— сказал Георгий.— Так еще много дела. Работать, работать!..

Содержание

В 1968 году в серии «Пламенные революционеры» вышли следующие книги:

Алексей Шеметов
«Вальдшнепы над тюрьмой».
Повесть о Николае Федосееве

Владимир Красильщиков
«Интендант революции».
Повесть об Александре Цюрупе

Готовятся к выходу в свет:

Лев Славин
«За нашу и вашу свободу!»
Повесть о Ярославе Домбровском

Лодонгийн Тудэв
«За Полярной звездой».
Повесть о Сухэ Баторе

Давид Хаит
«Осенний гром».
Повесть о Петре Шмидте

Тотырбек Джатиев,
Лидия Либединская
«За вас отдам я жизнь».
Повесть о Коста Хетагурове

Болдырев Сергей Николаевич

ТРИЖДЫ ПРИГОВОРЕННЫЙ... Повесть о Георгии Димитрове. М., Политиздат, 1968.

414 с. с илл. (Пламенные революционеры).

3КИ(092)

Редактор *И. Ф. Винниченко*

Иллюстрации художника *И. П. Незнайкина*

Художественный редактор *С. И. Сергеев*

Технический редактор *Е. И. Каржавина*

Сдано в набор 16 мая 1968 г. Подписано в печать 12 сентября 1968 г. Формат 70×108$^{1}/_{32}$. Бумага типографская № 1. Условн. печ. л. 18,64. Учетно-изд. л. 17,15. Тираж 195 тыс. (50 001—195 000) экз. А 09821. Заказ № 2004. Цена 73 коп.

Политиздат, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Типография «Красный пролетарий». Москва, Краснопролетарская, 16.



